Эдуард Бульвер-Литтон

Последние дни Помпей

Сокр. пер. с англ. Виктора Хинкиса, прим. Симона Маркиша.

КНИГА ПЕРВАЯ

ГЛАВА I

Два благородных помпеянина

— А, Диомед! Какая встреча! Ты будешь сегодня вечером на пиру у Главка? — сказал невысокий молодой человек в тунике, надетой с небрежным изяществом, на женский манер, как носили благородные прожигатели жизни.

— Увы, дорогой Клодий, он меня не пригласил, — ответил Диомед, полный и уже немолодой мужчина. — Клянусь Поллуксом, это обидно! Говорят, он задает лучшие пиры в Помпеях.

— Да, у него славно, только, по мне, вина всегда мало. Какой же он эллин, если жалуется, что наутро у него с похмелья болит голова!

— Боюсь, что у него есть другая причина экономить, — сказал Диомед, поднимая брови. — При всем своем тщеславии и расточительности он, мне кажется, вовсе не так богат, как хочет казаться, и, скорее, бережет амфоры с вином, чем голову.

— Тем более надо пользоваться его щедростью, пока у него есть сестерции. А в будущем году, Диомед, найдется новый Главк.

— Говорят, он не прочь и в кости сыграть.

— Он не прочь доставить себе любое удовольствие, и, пока ему доставляет удовольствие давать пиры, мы его любим.

— Ха-ха-ха! Хорошо сказано, Клодий! Кстати, видел ты мои винные погреба?

— Как будто нет, друг мой Диомед.

— Непременно приходи как-нибудь ужинать. У меня в садке недурные мурены, и я познакомлю тебя с эдилом Пансой.

— Только, пожалуйста, без церемоний. «Персов роскошь мне ненавистна»,¹ я человек скромный. Но уже поздно; я иду в термы. А ты куда?

— К квестору — по общественным делам, а потом в храм Исиды. Прощай!

— Хвастун, бездельник, невежа! — пробормотал Клодий, ленивой походкой двигаясь дальше. — Думает, его пиры и винные погреба заставят нас забыть, что он сын вольноотпущенника! Ладно, мы так и сделаем, окажем ему честь, выигрывая у него деньги. Эта разбогатевшая чернь — золотое дно для нас, веселой знати!

С этими словами Клодий вышел на Домицианову улицу, запруженную колесницами и полную веселого, шумного оживления, какое в наши дни можно увидеть на улицах Неаполя.

Колокольчики быстро обгонявших друг друга экипажей весело и мелодично звенели, и Клодий то и дело кивал или улыбался знакомым, ехавшим в красивых, роскошных экипажах; ни один бездельник не был так известен в Помпеях, как он.

— А, Клодий! Как тебе спалось после вчерашнего выигрыша? — окликнул его

¹ Строка из стихотворения знаменитого римского поэта Квинта Горация Флакка (вторая половина I века до н. э.). Персидская (и вообще восточная) роскошь вошла в пословицу и противопоставлялась древнеримской суровости и простоте нравов.

звонким, приятным голосом молодой человек с самой красивой и элегантной колесницы.

Она была украшена бронзовыми рельефами в греческом духе—сценами Олимпийских игр; везли ее кони редчайших парфянских кровей; их стройные ноги, едва касаясь земли, словно неслись по воздуху, но одно прикосновение колесничего, который стоял позади молодого хозяина, и они остановились как вкопанные, будто внезапно обратились в камень — живые изваяния, подобные одному из животрепещущих чудес Праксителя.

Хозяин их был строен, красив и имел то правильное телосложение, которое некогда служило образцом для афинских скульпторов; светлые, спадающие густыми прядями волосы и совершенная гармония черт выдавали его греческое происхождение.

Он не носил тоги, которая во времена императоров перестала быть национальной римской одеждой и вызывала насмешки модников, а его туника была из лучшего тирского пурпура, и застежка, которая скрепляла ее на плече, сверкала изумрудами; на шее у него была золотая цепь, оканчивавшаяся на груди головой змеи; изо рта у змеи свисало большое кольцо с печатью тончайшей работы; широкие рукава туники были оторочены златотканой материей; пояс из той же материи с вытканными на нем причудливыми узорами заменял карманы, и за него были заткнуты носовой платок, кошелек, стиль и навощенные таблички.

— А, мой милый Главк! — приветствовал его Клодий. — Рад видеть, что проигрыш так мало тебя опечалил. Право, кажется, будто тебя одушевляет сам Аполлон: лицо твое так и светится счастьем. Можно подумать, что ты выиграл, а не проиграл.

— Не все ли равно — выиграть или проиграть эти презренные металлические кружки! Разве должно это влиять на наше настроение, любезный Клодий? Клянусь Венерой, пока мы молоды и можем увенчать себя цветами, пока кифара ласкает нам слух и волнует нашу кровь, которая так быстро бежит по жилам, до тех пор будем мы наслаждаться солнечным теплом и светом и заставим само седое время быть лишь казначеем наших радостей. Не забудь же, сегодня вечером ты мой гость.

— Возможно ли забыть приглашение Главка!

— А куда ты теперь?

— Собираюсь зайти в термы; но еще целый час до открытия.

— Я отпущу колесницу и пройду с тобой. Ну, ну, Филий! — И он погладил одного из коней, который прижал уши и тихо заржал, отвечая на ласку. — Сегодня ты можешь отдохнуть. Не правда ли, он красив, Клодий?

— Достоин Аполлона или Главка, — отвечал благородный прихлебатель.

ГЛАВА II

Слепая цветочница и модная красавица. Признание афинянина. Читатель знакомится с египтянином Арбаком.

Болтая о всякой всячине, молодые люди неторопливо шли по улицам. Они очутились теперь в квартале самых роскошных лавок, сверкавших внутри яркими, но гармоничными фресками, которые поражали своим разнообразием и прихотливостью.

Повсеместно, искрясь в солнечных лучах, били фонтаны, смягчая летний зной; всюду виднелись прохожие или, вернее, празднующиеся, почти все одетые в тирский пурпур; оживленные толпы собирались вокруг самых богатых лавок; сновали рабы, неся на головах бронзовые ведра самой изящной формы; у стен длинными рядами стояли молодые крестьянки с корзинами спелых плодов и цветов, пленявших древних итальянцев больше,

нежели их потомков (для которых поистине *latet anguis in herba*,² отравы таится в каждой фиалке и розе); часто попадались таверны, заменявшие праздным людям современные кафе и клубы. На мраморных полках рядами стояли сосуды с вином и маслом, а возле них были лежа, защищенные от солнца тентами из пурпура и манившие усталого отдохнуть, а ленивого предаться безделью. Весь этот блеск и волнующее оживление оправдывали афинское пристрастие Главка к земным радостям.

— Не говори мне о Риме! — сказал он Клодию. — Наслаждения за его несокрушимыми стенами утомляют своей пышностью и великолепием; даже при императорском дворе, даже в Золотом доме Нерона³ и в блеске нового дворца Тита великолепие кажется скучным — глаз устает, душа изнывает; и, кроме того, любезный Клодий, видя чужую пышность и богатство, тяжело вспоминать оскудение своего отечества. Здесь же мы беззаботно предаемся наслаждению и пользуемся всеми преимуществами роскоши без утомительной пышности.

— Поэтому ты и избрал Помпеи для своего летнего дома?

— Да. Я предпочитаю их Байям. Слов нет, они очаровательны, но мне не по душе ученые педанты, которые приезжают туда и собирают жалкие крохи удовольствий.

— Но ведь ты любишь ученых. Я уж не говорю о поэзии — твой дом буквально дышит Эсхилом и Гомером, драмой и эпосом.

— Да, но римляне слишком слепо подражают моим афинским предкам. Даже на охоту рабы тащат за ними Платона, и, упустив кабана, они углубляются в книги и папирусы, чтобы не терять времени. Когда танцовщицы услаждают их персидским изяществом, какой-нибудь лоботряс из вольноотпущенников с каменным лицом читает им Цицероновы «Об обязанностях». О жалкие крохоборы! Наслаждение и познание нельзя смешивать, они несовместимы. Из-за этого педантизма римляне теряют все и доказывают равнодушие и к тому и к другому. Ах мой милый Клодий, как мало знают твои соотечественники истинную гибкость Перикла, истинное очарование Аспасии! На днях я посетил Плиния: он сидел в беседке и писал, а несчастный раб играл на флейте. Его племянник (ох, избавь меня от таких философствующих шутов!) читал описание чумы из Фукидида и самодовольно кивал в такт музыке, тогда как его губы произносили омерзительные подробности этого ужасного описания. Этому щенку не претило одновременно слушать любовную песню и читать описание чумы.

— Да ведь любовь и чума — это почти одно и то, — заметил Клодий.

— Я так и сказал ему, чтобы как-то оправдать его шутовство, но юнец не понял иронии и с укоризненным видом ответил, что музыка ласкает лишь ухо, тогда как книга (заметь, описание чумы!) возвышает сердце. «Ах! — прохрипел его толстый дядюшка, отдуваясь, — мой мальчик истый афинянин, он всегда сочетает приятное с полезным». О Минерва, я едва удержался от смеха! А потом этот желторотый софист получил при мне известие о смерти своего любимца вольноотпущенника. «Неумолимая смерть! — вскричал он. — Раб, дай мне томик Горация. Этот дивный поэт прекрасно утешает нас в подобных несчастьях!» Ну скажи сам, любезный Клодий, способны ли эти люди любить? Даже рассудочная любовь едва ли им доступна. А как редко у римлянина бывает сердце! Он — только хитро устроенная машина, а не существо из плоти и крови.

Хотя Клодий втайне был уязвлен этими словами в адрес своего соотечественника, он притворился, будто сочувствует Главку, отчасти потому, что он по натуре был

² В траве прячется змея (лат.) — слова, принадлежащие одному из крупнейших поэтов Рима — Публию Вергилию Марону (вторая половина I века до н. э.). Они сделались пословицей, предупреждающей о скрытой опасности, но здесь шутивно употреблены в прямом значении, чтобы посмеяться над равнодушием современных итальянцев к аромату цветов.

³ Золотым домом называлась гигантская императорская резиденция, которую задумал воздвигнуть Нерон, правивший Римом в 54–58 годах н. э. Замысел этот остался незавершенным.

прихлебателем, отчасти потому, что среди беспутных молодых римлян принято было относиться с некоторым презрением к колыбели собственной славы; в моде было подражать грекам и в то же время смеяться над своей неловкостью в подражании.

Беседуя, они остановились перед толпой, которая собралась посреди площади, на пересечении трех улиц. В тени портиков красивого и легкого храма стояла девушка; на правой руке у нее висела корзинка с цветами, в левой был маленький трехструнный музыкальный инструмент, под тихий и нежный аккомпанемент которого она пела какую-то странную, почти варварскую песню. После каждого куплета она грациозно покачивала корзинкой, предлагая слушателям купить цветов, и сестерции сыпались к ней в корзину — то ли в похвалу пению, то ли из сочувствия к певице, потому что она была слепая.

— Я знаю эту бедняжку, она из Фессалии, — сказал Главк. — Я еще не видел ее после возвращения в Помпеи. Давай послушаем.

Люди, купите цветы!
Я слепая, издалёка родом.
На земле и пыль — сестра красоты,
А цветы на ней — пестрым хороводом.

Цветы хранят земной аромат,
В них голубая роса, как на золотом блюде.
Я срезала их час тому назад.
Купите мои цветы, люди!

Час назад, всего лишь час!
И светило солнце, и, может, летали пчелы...
Люди, я срезала их для вас —
И легкий лист, и бутон тяжелый.

Ваш мир — клубок солнечных дорог.
Там растут деревья с зелеными волосами.
Если бы кто-нибудь в мире мог
Заглянуть во тьму перед моими глазами!..

Я хочу видеть тех, кого люблю,
Навстречу шагам их я протягиваю руки —
И только звук бездонный ловлю.
Мир вокруг меня — звуки!

Купите, купите цветы!
Не хотят они, чтоб ими владела
Ночи дочь, исчадьё темноты,
И до моей боли нет им дела.

Мне ли, незрячей, их краса?
Пусть на них смотрят зоркие глаза.
Зеленые стрелы, оранжевые нити...
Купите цветы, купите!⁴

⁴ Здесь и дальше переводы стихов Давида Маркиша.

— Дай-ка мне букетик фиалок, милая Нидия, — сказал Главк, протиснувшись сквозь толпу и бросив в корзину горсть мелких монет. — Ты поешь еще лучше, чем раньше!

Услышав голос афинянина, слепая девушка подалась было вперед, но вдруг замерла и густо покраснела.

— Ты вернулся, — сказала она тихо и повторила, как бы про себя: — Главк вернулся!

— Да, дитя, меня не было в Помпеях довольно долго. Мой сад, как и раньше, ждет твоей заботы. Надеюсь, ты завтра же побываешь там. И помни, ни одну гирлянду в моем доме не сплетут ничьи руки, кроме рук прелестной Нидии.

Девушка радостно улыбнулась, но ничего не ответила, а Главк, небрежно приколов к груди букетик фиалок, выбрался из толпы.

— Я вижу, ты даешь этой девочке работу, — сказал Клодий.

— Да. Правда, она мило поет? Мне жаль эту бедную рабыню! К тому же она родом из той страны, где высится обитель богов, — Олимп хмурился над ее колыбелью. Она из Фессалии.

— Но ведь это страна ведьм.

— Ты прав. Но я-то всех женщин считаю ведьмами, а в Помпеях, клянусь Венерой, самый воздух словно напоен любовным зельем: таким хорошеньким кажется мне каждое женское личико.

— Кстати, вон личико, с которым немногие могут соперничать в Помпеях, — это Юлия, дочь старого богача Диомеда! — сказал Клодий, когда к ним приблизилась молодая женщина под густым покрывалом, направлявшаяся в сопровождении двух рабынь к термам. — Привет тебе, прекрасная Юлия! — воскликнул Клодий.

Юлия не без кокетства приоткрыла гордый римский профиль, и из-под покрывала ярко блеснул темный глаз; природная смуглота ее лица была искусно смягчена румянами.

— Что я вижу — Главк вернулся! — сказала она, бросив на афинянина многозначительный взгляд, и добавила, понизив голос: — Неужели он забыл прежних друзей?

— Прекрасная Юлия, даже сама Лета, исчезая в одном месте, вновь выходит на поверхность в другом. Зевс запрещает нам забывать более чем на миг, но Венера еще строже: она не позволяет даже столь краткого забвения.

— У Главка всегда находятся красивые слова.

— И не мудрено, если его слушает такая красивая женщина.

— Надеюсь скоро увидеть вас обоих у моего отца, — сказала Юлия, поворачиваясь к Клодию.

— Этот счастливый день мы отметим белым камешком,⁵ — отозвался Клодий.

Юлия медленно опустила покрывало, бросив робкий и в то же время вызывающий взгляд на афинянина; в этом взгляде были нежность и упрек.

Друзья пошли дальше.

— Да, Юлия действительно очень хороша, — сказал Главк.

— Но в прошлом году ты не сказал бы это так равнодушно.

— Ты прав. Я был ослеплен и принял искусную подделку за истинную драгоценность.

— Пустяки! — возразил Клодий. — В сущности, все женщины одинаковы. Счастлив тот, кто женится на хорошенькой и возьмет за ней богатое приданое. Чего еще желать?

Главк вздохнул.

Они вышли на менее оживленную улицу, откуда перед ними открылся прекрасный простор моря, которое у этих благодатных берегов словно отрекается от своей грозной славы — так кротки и ласковы ветры, овевающие его грудь, такими яркими и богатыми красками

⁵ Камешками голосовали судьи, вынося приговор: кто высказывался за оправдание, клал в урну белый камешек, кто за осуждение — черный. Отсюда и поговорка, которой Клодий ответил на приглашение Юлии.

расцветивают его розовые облака, так благоуханно дыхание суши над его пучиной. Глядя на это море, легко поверить, что Афродита вышла из него, чтобы владычествовать над землей.⁶

— Еще рано идти в термы, — сказал грек, чья поэтическая натура была необычайно восприимчива к красоте. — Давай оставим ненадолго людный город и полюбуемся на море, пока полуденное солнце улыбается в его волнах.

— С радостью, — сказал Клодий. — Но, кстати сказать, берег залива — самое оживленное место нашего города.

Помпеи являли собой миниатюрное воплощение цивилизации того времени. В тесном пространстве, ограниченном городскими стенами, были сосредоточены, так сказать, образцы всех даров, какие роскошь может предложить могуществу. В маленьких, но богатых лавках, в крошечных дворцах, в термах, на форуме, в театре и цирке, в кипучей жизни, уже носившей, однако, печать упадка, в утонченности и пороках людей отразилась вся Римская империя. Это был как бы игрушечный город в стеклянном ларце, где, словно по прихоти богов, была представлена величайшая империя земли, который они затем скрыли от времени, чтобы вновь явить потомкам как чудо. Вот подтверждение того, что нет ничего нового под солнцем.

Прозрачный залив был весь усеян торговыми кораблями и раззолоченными прогулочными лодками богатых горожан. Рыбачьи челны быстро сновали взад и вперед, а вдали виднелись высокие мачты флота, которым командовал Плиний. На берегу какой-то сицилиец, неистово размахивая руками и корча невероятные гримасы, рассказывал кучке рыбаков и крестьян невероятную историю о потерпевших крушение моряках и добрых дельфинах, — точно такую же можно услышать и в наши дни по соседству, в порту Неаполя.

Выведя приятеля из толпы, грек нашел уединенное местечко, и они, пройдя по гладко окатанной гальке, присели на выступ скалы, наслаждаясь прохладным ветерком, который носился над водой, приплясывая тысячами невидимых ног. Все вокруг располагало к молчанию и задумчивости. Клодий, прикрыв глаза ладонью от палящего солнца, подсчитывал выигрыши прошлой недели; а грек, опершись на локоть и не прячась от солнца — этого божества, которое покровительствовало его народу и светом поэзии, радости или любви наполняло жилы, — смотрел вдаль и, быть может, завидовал ветерку, который уносился к берегам Греции.

— Скажи, Клодий, — заговорил наконец грек, — ты когда-нибудь влюблен?

— Да, много раз.

— Тот, кто любил много раз, не любил никогда, — сказал Главк. — Есть лишь один настоящий Эрот, хотя поддельных сколько угодно.

— Эти подделки — тоже неплохие божки, — заметил Клодий.

— Согласен, — отвечал грек. — Я благоговею даже перед тенью Любви, но еще больше — перед ней самой.

— Значит, ты всерьез влюбился? Тебя посетило то чувство, которое описывают поэты, — когда лишаешься аппетита, забываешь про театр и пишешь элегии? Вот никогда не подумал бы! Ловко же ты умеешь притворяться.

— Ну нет, до этого не дошло, — сказал Главк с улыбкой. — Или, вернее, я могу повторить вслед за Тибуллом:

Кто во власти любви, ступай куда пожелает,
И безопасен и чист...

Я не влюблен; но мог бы влюбиться, если б судьба не разлучила меня с ней. Эрос

⁶ Греческий миф рассказывает, что богиня любви и красоты Афродита родилась из морской пены.

возжег бы свой светильник, но жрецы не налили туда масла.

— Но кто же она? Попробую догадаться. Не дочь ли Диомеда? Клянусь Гераклом, она в тебя влюблена и даже не скрывает этого. Она и собой хороша и богата! Она увьет двери своего мужа лентами из чистого золота.⁷

— Нет, я не хочу продавать себя. Дочь Диомеда красива, это так, и, не будь она внучкой вольноотпущенника, я мог бы даже... но нет... у нее только и есть, что красивое лицо; она совсем не женственна, и на уме у нее одни удовольствия.

— Ты неблагодарен. Но скажи, кто же тогда эта счастливица?

— Сейчас ты все узнаешь, милый Клодий. Несколько месяцев назад я был в Неаполе, городе, который люблю, потому что он до сих пор сохранил греческий дух и следы своего происхождения и все еще заслуживает имени «Партенопея» за свой благоуханный воздух и живописные берега.⁸ Я зашел в храм Минервы, чтобы вознести молитвы, не за себя, а за тот город, которому больше не улыбается Паллада.⁹ Храм был пуст. Воспоминания об Афинах нахлынули на меня. Думая, что я один в храме, преисполненный благоговением, я не заметил, как мои молитвы хлынули из сердца и сорвались с уст. Я молился со слезами, и вдруг молитвы мои были прерваны глубоким вздохом. Я быстро обернулся — позади меня стояла женщина. Она тоже молилась, подняв покрывало; и, когда взгляды наши встретились, мне показалось, что небесный свет, который излучали эти темные ласковые глаза, осветил мне душу. Никогда, милый Клодий, не видел я такого чудного лица: какая-то грусть смягчала и в то же время возвышала его черты, нечто неизреченное, что изливается из глубин души, придавало ей неземную и благородную красоту — такой наши скульпторы изображали Психею. Слезы катились у нее из глаз. Я сразу догадался, что она тоже родом из Афин и моя молитва за Афины тронула ее сердце. Я обратился к ней дрогнувшим голосом. «Ты тоже из Афин, прекрасная дева?» — спросил я. Услышав мой вопрос, она покраснела и приспустила покрывало. «Прах моих отцов, — ответила она, — покоится на берегах Иллиса; сама я родилась в Неаполе, но сердце мое принадлежит Афинам, городу моих предков». — «Давай же вместе принесем жертвы», — сказал я. Вошел жрец, и мы, стоя рядом, вместе совершили священный обряд, вместе коснулись колен богини, вместе возложили на алтарь гирлянды из оливковых ветвей. Не знаю почему, но я испытывал к ней удивительное чувство, какую-то почти благоговейную нежность. Мы, пришельцы из далекой, поверженной страны, стояли вдвоем в этом храме божества нашей родины, и удивительно ли, что сердце мое устремилось к моей соотечественнице — ведь я с полным правом могу называть ее так. Мне казалось, что я знаю ее уже много лет; и простой обряд чудесным образом повлиял на наши чувства и заставил нас забыть о времени. Молча покинули мы храм, и я хотел уже спросить, где она живет и могу я посетить ее, но тут на ступенях храма к ней покипел юноша, похожий на нее лицом, и взял ее за руку. Обернувшись, она простилась со мной. Толпа разделила, и больше я ее не видел. Дома меня ждали письма, и я вынужден был уехать в Афины: родственники угрожали мне тяжбой из-за наследства. Когда дело было улажено, я снова вернулся в Неаполь. Я обошел весь город, но не отыскал своей соотечественницы и, надеясь рассеяться и забыть это чудесное видение, поспешил в Помпеи, чтобы окунуться в веселье и роскошь. Вот и все. Я не влюблен, но не могу ее забыть и жалею о разлуке.

Клодий хотел что-то сказать, но тут галька зашуршала под медленными и

⁷ По римскому свадебному обряду, невеста, подойдя к дому своего будущего мужа, обвивала дверные косяки шерстяной повязкой.

⁸ Неаполь (то есть Новый город) был основан греческими колонистами в VIII веке до н. э. на месте небольшого поселения Партенопеи; это название можно приблизительно перевести как «Девичий лик».

⁹ Афина Паллада (у римлян Минерва) была вообще покровительницей городов, но особой ее любовью, как считали греки, пользовались Афины. За Афины, потерявшие свое былое величие, и молился Главк.

величественными шагами. Приятели обернулись и сразу узнали подошедшего.

Это был высокий, худощавый, но крепкий и мускулистый человек лет сорока. Бронзовая кожа выдавала его восточное происхождение, но в чертах лица было что-то греческое (особенно в подбородке, в губах и во лбу), и только крючковатый, орлиный нос и твердые, торчащие скулы отличали его от греков, чьи лица даже в зрелом возрасте сохраняют красивую юношескую округлость. Глаза, большие и черные, как ночь, ярко блестели. Глубокое, задумчивое и слегка печальное спокойствие, казалось, застыло в его гордом и повелительном взгляде. Его осанка и выражение лица были невозмутимы и надменны, а что-то диковинное в покрое и неяркой расцветке широких одежд еще больше усиливало впечатление от этого равнодушия и надменности. Клодий и Главк, приветствуя его, украдкой невольно скрестили пальцы: они слышали, что у египтянина Арбака дурной глаз.

— Видно, это зрелище и в самом деле очень красиво, — сказал Арбак с холодной, но любезной улыбкой, — если веселый Клодий и общий любимец Главк покинули ради него оживленный город.

— А разве вообще природа так непривлекательна? — спросил грек.

— Для любителей развлечений — да.

— Ты судишь сурово, но едва ли справедливо. Удовольствия хороши, когда они разнообразны; шумные развлечения учат нас ценить одиночество, а одиночество — развлечения.

— Так рассуждают молодые философы Сада,¹⁰ — сказал египтянин. — Они принимают бессилие за мудрость и, пресытившись всеми другими радостями, воображают, будто познали радость одиночества. Но не в таких пресыщенных душах будит природа восторги, через которые только и открывается вся ее чистая и несказанная красота: природу нужно обожать со всем пылом страсти, которая не должна угаснуть, а вам это в тягость, для вас это непосильное бремя. Да, молодой афинянин, сияющая Селена¹¹ явилась Эндимиону не среди шумных и многолюдных увеселений, а в тишине, среди гор и пустынных долин.

— Прекрасное сравнение! — вскричал Главк. — Но здесь оно вовсе не к месту. Угаснуть! Это слово пригодно для стариков, но не для юных. Я, во всяком случае, ни на миг не знал пресыщения!

Арбак снова улыбнулся, но такой холодной и отталкивающей была эта улыбка, что даже равнодушному Клодию стало не по себе. Не отвечая на горячие слова Главка, египтянин сказал тихо и печально:

— Что ж, в конце концов, ты прав, наслаждаясь минутой, пока жизнь тебе улыбается: розы быстро вянут, аромат исчезает. Главк, мы чужие здесь, вдалеке от праха отцов, — что же остается нам, кроме наслаждений или тоски? Для тебя — одно, а для меня, пожалуй, — другое.

Блестящие глаза грека вдруг затуманились слезами.

— Ах, не говори, Арбак! — вскричал он. — Не говори о наших предках! Забудем о том, что были иные свободы, кроме римских! И иная слава! Напрасно стали бы мы призывать ее призрак с полей Марафона и из фермопильских теснин!¹²

— Твое сердце протестует, когда ты говоришь это, — сказал египтянин. — Прощай!

¹⁰ Философы Сада — эпикурейцы, последователи материалиста Эпикура (342–270 годы до н. э.) Его школа находилась в Афинах, в саду, на воротах которого значилось: «Путник, здесь будет тебе хорошо: здесь высшее благо — наслаждение»

¹¹ Селена — богиня Луны, влюбленная в прекрасного, но погруженного в вечный сон юношу Эндимиона.

¹² Битвы при Марафоне (490 год до н. э.) и в Фермопильском ущелье (480 год до н. э.) — два знаменитых сражения эпохи греко-персидских войн. Победа в этих тяжелых и мучительных войнах привела к расцвету всей Греции, в особенности Афин.

Сказав это, он подобрал полы своих одежд и медленно удалился.

— Сразу стало легче дышать, — сказал Клодий. — Подражая египтянам, мы иногда приносим череп на наши пиры. Право, в присутствии такого вот мрачного египтянина самое лучшее фалернское покажется кислятиной.

— Странный человек! — задумчиво сказал Главк. — Он словно умер для удовольствий и безразличен ко всему. Про него ходит столько сплетен, но он ведет таинственную жизнь, и никто не может заглянуть к нему в душу.

— Ах! Говорят, в его мрачном доме бывают тайные празднества, не имеющие никакого отношения к культу Осириса. К тому же, я слышал, он очень богат. Нельзя ли залучить его к нам и приохотить к игре в кости? Вот уж поистине развлечение из развлечений! Лихорадка надежд и разочарований! Вечная, неисчерпаемая страсть! Как ты прекрасна, о игра!

— Я вижу, на Клодия снизошло вдохновение! — воскликнул Главк со смехом. — Оракул в нем заговорил голосом поэта, ну и чудеса!

ГЛАВА III

Происхождение Главка. Описание домов в Помпеях. Классический пир

Небеса благословили Главка всем, кроме одного: они дали ему красоту, здоровье, богатство, ум, благородное происхождение, горячее сердце, поэтическую натуру, но лишили его наследия отцов — свободы. Он родился в Афинах римским подданным. Еще в юности, унаследовав крупное состояние, он предался страсти к путешествиям, столь естественной для молодости, и испил до дна пьянящий напиток наслаждений среди пышности и роскоши императорского двора.

Он был второй Алкивиад, но не знал честолюбия. Таков обычно удел человека, наделенного живым воображением, молодостью, богатством, талантами, если отнять у него стремление к славе. Про его дом в Риме говорили все кутилы, но им интересовались и любители искусств; скульпторы Греции с радостью отдавали весь свой талант, украшая портики и экседры в доме молодого афинянина. Его жилище в Помпеях — увы, яркие краски теперь поблекли, фрески осыпались! — утратило главную свою красоту, исчезло его изящество, его чудесные украшения, и все же, когда оно снова увидало свет дня, какие восторги, какое восхищение вызвали мельчайшие детали его убранства, роспись, мозаика! Страстно влюбленный в поэзию и драматургию, которые напоминали ему о мудрости и героизме его народа, Главк украсил свое жилище картинами, на которых были изображены сцены из Эсхила и Гомера. Археологи, приняв вкусы хозяина дома за его призвание, сочли его поэтом, и, хотя ошибка давно обнаружена, традиция все еще живет, и дом афинянина Главка по-прежнему называют «Домом трагического поэта», как его называли при раскопках.

Прежде чем описывать этот дом, необходимо дать читателю общее представление о домах в Помпеях. Как мы увидим, их планировка очень похожа на то, что описано Витрувием, хотя, разумеется, различие вкусов сказалось во многих мелочах, что всегда вызывало недоумение у археологов. Мы постараемся сделать свое описание возможно более живым и ясным.

Входящий обычно попадал через узкий вестибул в зал, иногда украшенный колоннами, но чаще без них; с трех сторон было по двери, которые вели в спальни (одна предназначалась для привратника, другая, самая лучшая, для гостей). В конце зала, по обе его стороны, если дом был просторный, находились два небольших помещения, скорее, ниши, чем комнаты, — здесь обычно жили женщины; а посреди, в цветном, в шахматную клетку полу непременно был неглубокий квадратный бассейн для дождевой воды, именуемый имплювием, куда вода стекала сквозь отверстие в крыше; это отверстие по желанию можно было закрывать тентом. Около имплювия, особо почитаемого древними, иногда (но в Помпеях реже, чем в Риме) стояли изображения богов — хранителей дома;

гостеприимный очаг, столь часто упоминаемый римскими поэтами и посвященный Ларам,¹³ в Помпеях почти всегда представлял собой переносную жаровню, а у стены, чаще всего на самом видном месте, стоял огромный деревянный сундук, украшенный бронзовыми или железными полосами и прикрепленный надежными скобами к каменной плите так прочно, что никакому грабителю не под силу было сдвинуть его с места. Предполагают, что в этом сундуке хозяин хранил деньги; однако ни в одном из таких сундуков, раскопанных в Помпеях, денег не нашли, так что, возможно, их иногда ставили просто для красоты.

В этом зале (или, выражаясь языком древних, атрии) обычно принимали деловых посетителей и незнатных гостей. В «приличных» домах при атрии был особый раб-служитель, занимавший привилегированное положение среди других рабов. В бассейн ничего не стоило свалиться, но ходить посередине атрия запрещалось, точь-в-точь как у нас по газонам, — достаточно было места по краям. Напротив входа, в противоположном конце атрия, было помещение, называемое «таблин», — с полом, выложенным богатой мозаикой, и красиво расписанными стенами. Здесь обычно хранились семейные записи или документы, связанные с общественными обязанностями хозяина; по одну сторону таблина нередко помещалась столовая, или триклиний, по другую — своего рода хранилище для драгоценностей, где держали всякие редкости и дорогие украшения; здесь же непременно был узкий коридор для рабов, чтобы они могли пробираться в дальнюю часть дома, не появляясь в хозяйских покоях. Двери всех этих покоев выходили на квадратную или прямоугольную колоннаду, которую принято называть перистилем. Если дом был небольшой, он заканчивался этой колоннадой; и тогда, как бы ни был он мал, в середине дворика непременно разбивали сад, где на постаментах устанавливали вазы с цветами; под колоннадой, справа и слева, были двери, которые вели в спальни, а также во второй триклиний (у древних для еды обычно отводилось не меньше двух комнат; одна летняя, а другая зимняя, или, возможно, одна для будничных трапез, другая — для торжественных пиров), и, если хозяин любил литературу, — в кабинет, громко именовавшийся библиотекой, ибо крохотной комнатки было достаточно, чтобы вместить несколько свитков папируса: у древних это считалось изрядной коллекцией книг.

В конце перистилия обычно помещалась кухня. Если дом был большой, он не заканчивался перистилем, и посередине был тогда не сад, а, скажем, фонтан или бассейн с рыбами, в конце же, прямо напротив таблина, обыкновенно помещалась вторая столовая, по обе стороны которой шли спальни, а иногда тут же была картинная галерея, или пинакотека. Все эти помещения, в свою очередь, сообщались с квадратным или прямоугольным пространством, обычно с трех сторон огражденным колоннадой, как перистиль, и очень на него похожим, только подлиннее. Это и был, собственно, сад, или виридарий, почти всегда украшенный фонтаном или статуями и пестревший яркими цветами: в дальнем его конце стоял домик садовника; если семья была большая, по обе стороны колоннады помещались еще комнаты.

В Помпеях второй или третий этаж редко служил жильем для хозяев, он строился лишь над небольшой частью дома, и там были комнаты для рабов — в этом отличие помпейской планировки от планировки более великолепных римских домов, где главная столовая, ценакул, помещалась во втором этаже. Сами комнаты обычно были небольшие; в этом теплом климате гостей чаще всего принимали в перистиле (или портике), в атрии или в саду, и даже банкетные залы, изысканно украшенные и убранные, были невелики, потому что в древности люди искусства, любившие общество, но не толпу, редко приглашали на пир более девяти человек сразу, так что в просторных комнатах не было нужды. Но вся анфилада, если смотреть от входа, вероятно, производила большое впечатление: можно было сразу окинуть взглядом атрий с богатой мозаикой и росписью, таблин и изящный перистиль,

¹³ Лары — римские боги — покровители дома и семьи. Считалось, что они прочно связаны с местом, где стоял дом, и, если семья покидала свое старое пепелище, Лары, по верованию древних, не следовали за нею, в отличие от Пенатов — богов-хранителей дома.

а если дом распространялся дальше — банкетный зал на противоположной стороне перистиля и, наконец, сад с фонтаном или мраморной статуей посредине.

Теперь читатель имеет представление о домах в Помпеях; в некоторых отношениях они напоминали греческие, но в основном были построены по римскому образцу. Почти каждый дом в чем-нибудь отличался от остальных, но общая планировка была одинакова. Всюду непрменный атрий, таблин и перистиль, сообщающиеся между собой; всюду стены красиво расписаны; и всюду видно, что обитатели этих домов любили утонченные радости жизни. Однако вкус их представляется нам сомнительным: они любили броские, кричащие цвета, фантастические рисунки; основания колонн часто красили в ярко-красный цвет, а верх оставляли некрашеным; если сад был маленький, стены его нередко разрисовывали, чтобы он казался больше, деревьями, птицами, храмами — дешевая уловка, к которой, однако, прибег и сам Плиний, непримиримо строгий во всем, что касалось изящества, и самодовольно гордившийся своим садом.

Дом Главка был одним из самых маленьких и в то же время одним из самых красивых и совершенных среди частных домов в Помпеях.

За дверью начинался длинный и узкий вестибул, где на полу была выложена мозаичная собака и обычная надпись: «*Save canem*», что значит «Берегись собаки». По обе его стороны помещались две довольно большие комнаты; поскольку в жилой части дома не хватало места для деловых встреч, эти две комнаты предназначались для приема посетителей, которые ни по своему положению, ни по праву близкой дружбы с хозяином не имели доступа во внутренние покои.

Вестибул вел в атрий, где при раскопках нашли потрясающей силы роспись, которой не постыдился бы и Рафаэль. Теперь плиты с росписью перенесены в Неаполитанский музей; знатоки и сейчас восхищаются ими — на них изображено расставание Ахилла и Брисеиды.¹⁴ Все считают, что фигуры и лица Ахилла и бессмертной рабыни написаны с большой силой, страстью и выразительностью.

В конце атрия узенькая лестница вела наверх, в помещение для рабов; кроме того, там помещались две или три маленькие спальни, на стенах которых были изображены похищение Европы, битва амазонок¹⁵ и тому подобные сюжеты.

Дальше был таблин, в обоих концах которого висели великолепные занавеси из тирского пурпура, обычно неплотно задернутые. На одной из стен был изображен поэт, читающий стихи друзьям, а на полу выложена на редкость изящная мозаичная картина: режиссер дает наставление актерам.

За этим залом был перистиль, которым дом (как и все небольшие дома в Помпеях) заканчивался. Каждая из семи колонн перистиля была увита гирляндами; посредине, в саду, в белых мраморных вазах на высоких цоколях цвели редчайшие цветы. В левой половине сада была небольшая, посвященная Пенатам часовенка, вроде тех, какие можно увидеть при дороге в католических странах; перед ней стоял бронзовый треножник; по левую сторону колоннады были две небольшие спальни, по правую — триклиний, где уже собрались гости.

Этот покой неаполитанские археологи обычно называют «комнатой Леды». В прекрасной книге сэра Уильяма Джелла читатель найдет гравюру с пленительного изображения Леды, протягивающей малютку своему супругу, благодаря чему комната и получила свое название. Комната выходила прямо в благоухающий сад. Вокруг стола кипарисового дерева, идеально отполированного и инкрустированного причудливыми

¹⁴ В «Илиаде» Гомера рассказывается, как верховный вождь греков, осаждавших Трои, отнял у главного греческого героя Ахилла его любимую рабыню Брисеиду.

¹⁵ Согласно мифу, Зевс влюбился в финикийскую царевну Европу. Обернувшись быком, он похитил ее и на своей спине перевез через море, на остров Крит. Мифическое племя женщин-воительниц, амазонок, участвовало во многих битвах. Самые знаменитые (и самые несчастливые) из их воинских предприятий — вторжение в Аттику и поход под Трои на подмогу осажденным.

серебряными узорами, стояли три ложа, которые в Помпеях предпочитали полукруглым сиденьям, только-только входившим тогда в моду в Риме; на этих бронзовых ложах, украшенных золотом и серебром, лежали роскошные вышитые покрывала, которые мягко опускались под тяжестью тела.

— Скажу по чести, — заметил эдил Панса, — твой дом, Главк, хоть он немногим больше шкатулки для застёжек, — настоящая драгоценность. Как прекрасно нарисовано расставание Ахилла и Бризеиды! Какой стиль! Какие лица!

— Похвала Пансы — большая честь, — серьёзно сказал Клодий. — Как чудесно расписаны стены в его собственном доме! Вот уж поистине кисть Зевксида...

— Право, ты льстишь мне, любезный Клодий, — промолвил Панса, чей дом был знаменит в Помпеях скверной росписью, ибо эдил был патриотом своего города и покровительствовал только местным художникам. — Ты льстишь мне; но, клянусь Поллуксом, там, конечно, есть неплохие краски, не говоря уж о рисунке, а на кухне, друзья... Ах! Это все я придумал..

— Что же там изображено? — спросил Главк. — Я еще не видел твоей кухни, хотя часто отведывал яства, там приготовленные.

— Повар, любезный мой афинянин, повар, возлагающий плоды своего искусства на алтарь Весты, а на заднем плане — превосходная мурина на вертеле, писанная с натуры. Тут потребовалась выдумка!

В этот миг появились рабы, неся большой поднос с закусками. Среди блюд с аппетитными фидами, свежими травами, охлажденными снегом, анчоусами и яйцами были поставлены в ряд небольшие чаши с вином, разведенным водой и слегка приправленным медом. Когда все это очутилось на столе, молодые рабы поднесли каждому из пяти гостей (ибо их было только пятеро) серебряный таз с благовонной водой и салфетки с пурпуровой каемкой. Но кичливый эдил вынул собственную салфетку, которая, правда, была не из такого тонкого полотна, но зато с каймой вдвое шире, и вытер руки с самодовольством человека, который привык к общему восхищению.

— Какая у тебя прекрасная салфетка! — сказал Клодий. — Кайма широкая, как пояс!

— Пустое, мой Клодий, пустое! Говорят, что широкая кайма — последняя римская мода. Но Главк более моего сведущ в таких вещах.

— Будь благосклонен к нам, о Вакх! — сказал Главк, благоговейно склоняясь перед прекрасным изваянием этого бога, возвышавшимся посреди стола, по углам которого стояли Лары и солонки.

Гости присоединились к молитве, а потом, окропив стол вином, совершили обычное возлияние. Все снова опустились на ложа, и пир начался.

— Пусть эта чаша будет последней в моей жизни, если я лгу! — сказал молодой Саллюстий, когда после первых чаш на столе появились богатые яства и раб выплеснул в его кубок полный до краев киаф. — Пусть эта чаша будет последней, но лучшего вина я не пил в Помпеях!

— Принеси сюда амфору, — сказал Главк рабу, — и прочти, что на ней написано.

Раб поспешно развернул свиток, привязанный к амфоре, и прочел, что вино хиосское, пятидесятилетней выдержки.

— Как приятно охладил его снег! — сказал Панса. — В самую меру.

— Совсем как человек, который охлаждает свой пыл как раз настолько, чтобы потом вспылать двойным жаром! — воскликнул Саллюстий.

— Когда будет травля диких зверей? — спросил Клодий у Пансы.

— Она назначена на девятый день после августовских ид, — ответил Панса. — На другой день после Вулканалий. У нас есть прекрасный молодой лев.

— Но кого же он растерзает? — спросил Клодий. — Увы, сейчас так мало преступников! Боюсь, Панса, что тебе придется бросить на растерзание льву какого-нибудь невинного!

— Я много думал об этом, — серьёзно ответил эдил. — Позорный закон запрещает нам

бросать хищным зверям наших собственных рабов. Мы не можем делать что хотим со своей собственностью, а это, скажу вам, все равно что лишить нас ее.

— Не так было в добрые времена республики! — вздохнул Саллюстий.

— К тому же мнимое милосердие к рабам приносит столько разочарований бедноте: ведь эти люди так любят жестокие зрелища вроде поединка между человеком и зверем! И вот из-за проклятого закона они теряют невинное удовольствие — разве что боги пошлют нам хорошего преступника.

— Только очень недалководный правитель станет мешать мужественным развлечениям народа, — сказал Клодий.

— Ну, благодарение Юпитеру и Паркам, у нас теперь нет Нерона, — сказал Саллюстий.

— Вот уж действительно был тиран: на десять лет закрыл наш амфитеатр!

— Удивительно еще, что не начался бунт, — сказал Саллюстий.

— Дело было близко к этому, — промямлил Панса: его рот был набит мясом дикого кабана.

Беседа на миг была прервана звуками флейты, и два раба внесли большое блюдо.

— Ага! Какое еще лакомство припас ты для нас, Главк? — вскричал молодой Саллюстий, и глаза его заблестели.

Саллюстию было всего двадцать четыре года, но в жизни он знал только одно наслаждение — хорошо поесть; должно быть, всеми остальными удовольствиями он уже пресытился; и все же сердце у него было доброе.

— Я узнал его, клянусь Поллуксом! — воскликнул Панса. — Это амбракийский¹⁶ козленок. Эй! — Он щелкнул пальцами — так обычно подзывали рабов. — Мы должны совершить возлияние в честь нового гостя!

— Я надеялся, — сказал Главк со вздохом, — предложить вам устрицы из Британии, но те же ветры, что когда-то были беспощадны к Цезарю, лишили нас устриц.¹⁷

— А они и впрямь так вкусны, эти устрицы? — спросил Лепид, для удобства еще больше распуская на животе свою тунику.

— Ну, признаться, я подозреваю, что именно дальность расстояния делает их столь лакомыми; им недостает сочности устриц из Брундизия. Но в Римени один ужин без них не обходится.

— Бедные бритты! В конце концов, и от них есть какая-то польза, — сказал Саллюстий, — они доставляют нам устриц.

— Лучше бы они доставили нам гладиатора, — сказал эдил, человек практический, который все время думал об амфитеатре.

— Клянусь Палладой! — воскликнул Главк, когда любимый раб венчал его густые волосы новым венком. — Я люблю дикие зрелища, когда зверь дерется со зверем. Но, когда человека, такое же существо из плоти и крови, как и мы, безжалостно гонят на арену, на растерзание, это ужасно: меня тошнит, я задыхаюсь, готов сам броситься на арену и защитить его. Крики толпы для меня ужаснее голосов эринний, преследующих Ореста. Я рад, что на этот раз, вероятно, не будет кровавого зрелища!

Эдил пожал плечами. Молодой Саллюстий, самый добродушный человек в Помпеях, широко раскрыл глаза от удивления. Красавец Лепид, который мало говорил, боясь, что от этого у него на лице появятся морщины, воскликнул: «Клянусь Геркулесом!» Прихлебатель Клодий пробормотал: «Клянусь Поллуксом!», и шестой из пирующих, который был «тенью»

¹⁶ Амбракия — город в северо-западной части Греции.

¹⁷ В 54 году до н. э. римляне под командой Гая Юлия Цезаря, в то время наместника Галлии (охватывавшей территорию нынешней Франции, Бельгии и Швейцарии), впервые высадились в Британии. При переправе через Ла-Манш флот и войско жестоко пострадали от бури.

Клодия, во всем обязанный вторить своему более богатому приятелю, когда не мог превозносить его — прихлебатель у прихлебателя, — тоже пробормотал: «Клянусь Поллуксом!»

— Вы, италийцы, привыкли к таким зрелищам, а мы, греки, более милосердны, — продолжал Главк. — О тень Пиндара! До чего прекрасна истинно греческая игра — состязание человека с человеком, честный поединок, радостный и вместе с тем печальный триумф: так радостно бороться с благородным врагом, и так печально видеть его поверженным!.. Но вам меня не понять.

— Козленок удивительно вкусный, — сказал Саллюстий.

Раб, который резал мясо и очень гордился своим искусством, только что разрезал козленка в такт музыке, которая начала играть тихо и медленно, а потом зазвучала все быстрее и быстрее.

— Повар у тебя, конечно, из Сицилии? — спросил Панса..

— Да, из Сиракуз.

— Не хочешь ли поставить его на кон? — предложил Клодий. — Сыграем между двумя переменами блюд.

— Что ж, лучше кости, чем травля дикими зверями; но я не буду играть на моего сицилийца — что можешь ты поставить против него?

— Мою Филлиду, красавицу танцовщицу!

— Я не покупаю женщин, — сказал грек, небрежно поправляя венок.

Музыканты, сидевшие в атрии, закончили аккомпанемент к разрезанию козленка; теперь мелодия зазвучала тише, веселей и в то же время осмысленней, и музыканты запели оду Горация, которая начинается словами: «Персов роскошь мне ненавистна», столь трудную для перевода: она считалась подходящей для пира, который, хоть и кажется нам теперь таким изысканным, был довольно скромным для того времени, когда так любили пышность и великолепие. Ведь это был пир в частном доме, а не при дворе; правда, у благородного мужа, но не у императора или сенатора.

— Эх, старик Гораций! — сказал Саллюстий с сожалением. — Он неплохо воспевал пиры и женщин, но ему далеко до наших нынешних поэтов.

— Например, до бессмертного Фульвия, — сказал Клодий.

— Да, до бессмертного Фульвия, — подхватила его тень.

— А Спурена, а Гай Мутий, который пишет по три поэмы в год, — разве способны были на это Гораций или же Вергилий? — сказал Лепид. — Все старые поэты делали одну ошибку: брали за образец скульптуру, а не живопись. Простота и невозмутимость — вот к чему они стремились. Но мы, нынешние люди, полны огня, страсти, энергии. Мы не знаем покоя, мы хотим быть подобными краскам живописи, ее стремительности, ее движению. О бессмертный Фульвий!

— Между прочим, — сказал Саллюстий, — вы читали новую оду Спурены в честь Исиды? Она великолепна — в ней столько истового благочестия!

— Мне кажется, Исида — самое почитаемое божество в Помпеях, — сказал Главк.

— Да, — отозвался Панса. — Перед ней сейчас все преклоняются; ее статуя изрекает самые поразительные оракулы. Я не суеверен, но должен сознаться, что она не раз серьезно помогала мне своими советами. И жрецы ее так благочестивы! Не то что великолепные и гордые жрецы Юпитера и Фортуны! Они ходят босиком, не едят мяса и почти всю ночь молятся в уединении!

— Жрецы Исиды действительно пример для всех! Увы, в храме Юпитера многое нужно изменить, — сказал Лепид, который готов был изменить все, кроме самого себя.

— Говорят, египтянин Арбак посвятил жрецов Исиды в какие-то глубокие таинства, — сказал Саллюстий. — Он кичливо объявил себя потомком Рамсесов и утверждает, что в его роду с незапамятных времен сохраняются священные и сокровенные знания.

— Без сомнения, у него дурной глаз, — сказал Клодий. — Стоит мне взглянуть на этот лик Медузы, не произнеся заклинания, и я непременно лишаюсь любимой лошади или же в

кости мне пять раз кряду выпадают «псы». ¹⁸

— Вот уж это поистине чудо, — сказал Саллюстий хмуро.

— Ты про что, Саллюстий? — воскликнул игрок, краснея.

— Про то, что я разорился бы, если б часто играл с тобой.

Клодий только презрительно улыбнулся.

— Не будь Арбак так богат, — сказал Панса важно, я бы воспользовался своей властью и учинил следствие по доносу, в котором его называют астрологом и колдуном. Агриппа, ¹⁹ когда был эдилом Рима, изгнал из города всех этих злодеев. Но он богат, а ведь долг эдила — охранять богатых!

— А что ты думаешь о новой секте, у которой, говорят, есть прозелиты даже в Помпеях, об этих приверженцах еврейского бога — Христа?

— Ах, они просто пустые мечтатели! — сказал Клодий. — Среди них нет ни одного благородного мужа; их прозелиты — жалкие и невежественные бедняки!

— Все равно их следовало бы распять за богохульство, — сказал Панса с горячностью. — Они не признают Венеры и Юпитера! Назарейнин ²⁰ — ведь это все равно что безбожник. Вот погодите, я до них доберусь!

Вторая перемена блюд была убрана, пирующие поудобнее возлегли на ложах — начался перерыв, во время которого их услаждали пение и звуки аркадской свирели. ²¹ Главк, поглощенный музыкой, меньше всех был расположен прервать молчание, но Клодий решил, что они попусту теряют время.

— За твоё здоровье, любезный Главк, — провозгласил он с ловкостью опытного пьяницы, делая по глотку после каждого слова. — Вчера тебе не повезло в игре — сегодня ты должен быть вознагражден. Вели подать кости.

— Как хочешь, — отвечал Главк.

— Играть в кости летом? Я же все-таки эдил, — сказал Панса начальственным тоном. ²²

— Но ведь мы будем играть в твоём присутствии, почтенный Панса, — возразил Клодий, встряхивая стаканчик с костями. — Твоё присутствие отменяет все запреты. Ведь пагубна не сама игра, а злоупотребление ею.

— Какая мудрость! — пробормотала его тень.

— Так уж и быть, я отвернусь, — сказал эдил.

— Подожди, любезный Панса, сначала выпьем, — сказал Главк.

Клодий неохотно согласился и зевнул, скрывая свою досаду.

— «Пасть раскрыл на золото», — прошептал Лепид, цитируя «Клад» Плавта.

— «Знаю я полипов этих: тронут чуть и держат уж», — подхватил Саллюстий словами из той же комедии.

На столе появилась третья перемена блюд — всевозможные фрукты, орехи, сласти,

¹⁸ «Пес» — самый неудачный бросок при игре в кости: каждая из четырех костей падает вверх единицею.

¹⁹ Марк Випсаний Агриппа — друг и соратник пер-ного римского императора Октавиана Августа. Панса вспоминает его потому, что он был образцовым эдилом и его имя сделалось нарицательным для всякого, кто хорошо исполнял эту должность.

²⁰ Назарейми (или назарейнами) называли христиан в первые века существования новой религии.

²¹ Аркадия — гористая область южной Греции (на Пелопоннесском полуострове), страна пастухов и музыкантов.

²² Закон разрешал играть в азартные игры только в дни веселого зимнего праздника Сатурналий. В остальное время они были строго запрещены. Наблюдать за исполнением этого закона входило в обязанности эдила.

пироги и всякие лакомства в самых разнообразных и причудливых формах; вино, которое рабы до сих пор разливали, обходя гостей, теперь поставили на стол в больших стеклянных кувшинах, и на каждом была наклейка, свидетельствующая о возрасте и качестве содержимого.

— Отведай лесбосского, мой милый Панса, — сказал Саллюстий. — Отличное вино.

— Это вино не очень старое, — сказал Главк, — зато созревает быстро благодаря пламени Вулкана.

— Замечательно! — сказал Панса. — Но, пожалуй, его букет слишком пряный.

— Какая красивая чаша! — воскликнул Клодий, беря одну из хрустальных чаш, ручки которой, выгнутые в виде змей, по излюбленной в Помпеях моде, были усыпаны драгоценными камнями.

— Не откажи принять ее, — сказал Главк, снимая с пальца дорогое кольцо и вешая его на ручку чаши, — вместе вот с этим кольцом, мой милый Клодий, да ниспошлют тебе боги здоровье и благополучие, чтобы ты мог долго и часто наполнять ее до краев!

— Ты так щедр, Главк! — сказал игрок, передавая чашу своему рабу. — Твоя любовь ко мне придает этой чаше двойную цену.

— Пью за Граций! — провозгласил Панса, трижды осушая свою чашу.

Гости последовали его примеру.

— Мы не избрали симпозиарха! — воскликнул Саллюстий.

— Что ж, бросим кости, — сказал Клодий, тряхнув стаканчик.

— Нет! — воскликнул Главк. — Нам не нужен холодный и всем надоевший симпозиарх, этот царь на пиру. Разве римляне не отреклись от повиновения царям? Неужели мы поступимся свободой предков? Эй, музыканты, сыграйте песню, которую я недавно сочинил, там есть стих про это.

Музыканты заиграли бурную ионийскую мелодию, и молодые голоса запели по-гречески...

Выслушав песню, все громко захлопали. Ведь в гостях у автора стихи всегда кажутся изумительными.

— Это в истинно греческом духе, — сказал Лепид. — Со звучностью и силой греческого языка не может соперничать римская поэзия.

— И в самом деле, как это не похоже на смиренную простоту оды Горация, которую мы только что слышали! — сказал Клодий, пряча усмешку. — Ионийская мелодия прекрасна. Кстати, это слово напомнило мне тост, который я хотел вам предложить. Друзья, выпьем за прекрасную Иону!

— Иона — греческое имя, — сказал Главк тихо. — Я с радостью пью за нее. Но кто она?

— Ах да! Ты ведь только что вернулся в Помпеи, а не то заслуживал бы остракизма за свое невежество! — горячо воскликнул Лепид. — Не знать Иону, самую очаровательную женщину в нашем городе!

— Да, она на редкость красива, — сказал Панса. — А какой голос!

— Должно быть, она питается только соловьиными языками, — сказал Клодий.

— Соловьиными языками — какая прекрасная мысль! — прошептала его тень.

— Расскажите мне о ней, — попросил Главк.

— Так знай же... — начал было Лепид.

— Погоди, дай лучше я! — воскликнул Клодий. — Твоя речь медлительна, как черепаха.

— Зато ты трещишь как сорока! — пробормотал любитель развлечений и с презрительным видом откинулся на ложе.

— Так знай же, мой любезный Главк, — сказал Клодий, — что Иона лишь недавно приехала в Помпеи. Она поет, как Сапфо, и сама сочиняет свои песни, а в игре на флейте, кифаре и лире она превосходит муз. Красота ее ослепительна. Дом ее — само совершенство: какой вкус... какие драгоценности... какие статуи! Она богата, и щедрость ее не уступает

богатству.

— Ее поклонники, разумеется, не скупятся, — сказал Главк. — А деньги, которые легко достаются, легко и теряются.

— Поклонники! В этом как раз главная загвоздка. У Ионы есть лишь один недостаток — она неприступна. Весь наш город у ее ног, но она никого не одарила благосклонностью и даже не хочет выходить замуж.

— Никого! — повторил Главк.

— Да. У нее душа Весты и пояс Венеры,²³ — сказал Клодий.

— Какая изысканность выражений! — подхватила его тень.

Это просто чудо! — воскликнул Главк. — А нельзя ли ее увидеть?

— Я отведу вас туда сегодня вечером, — сказал Клодий. — А пока... — И он снова встряхнул стаканчик с костями.

— Я к твоим услугам, — сказал Главк любезно. — Панса, отвернись!

Лепид и Саллюстий играли в чет или нечет, прихлебатель Клодия смотрел на игру, а Главк и Клодий, бросая кости, постепенно входили в азарт.

— Клянусь Поллуксом! — воскликнул Главк. — Мне во второй раз выпали «псы»!

— А теперь помогай мне, Венера! — сказал Клодий и долго тряс стаканчик. — О мать Венера, вот она! — и он выкинул самое большое число очков, называемое именем этой богини. — Она покровительствует счастливым.

— Венера неблагодарна, — беззаботно сказал Главк. — Я всегда приносил жертвы на ее алтарь.

— Кто играет с Клодием, скоро, подобно Куркулиону у Плавта, поставит на кон свой плащ, — прошептал Лепид.

— Бедный Главк, он слеп, как сама Фортуна,²⁴ — отозвался Саллюстий ему в тон.

— Ну, хватит, — сказал Главк. — Я уже проиграл тридцать тысяч сестерциев.

— Ах, как жаль... — начал Клодий.

— О воплощение доброты! — воскликнула его тень.

— Не нужно сожалений! — сказал Главк. — Удовольствие, которое я получаю от игры с тобой, Клодий, вознаграждает за проигрыш.

Разговор оживился и стал общим, чаши наполнялись все усерднее, и гости Главка снова начали восхвалять Иону.

— Чем дожидаться, пока погаснут звезды, давайте посетим ту, перед чьей красотой они меркнут, — сказал Лепид.

Клодий, видя, что игру уже не возобновить, поддержал его, и Главк, хоть и уговаривал гостей остаться и продолжать пир, не мог скрыть своего любопытства, возбужденного похвалами Ионе: поэтому все (кроме Пансы и тени Клодия) решили отправиться к прекрасной гречанке. Они выпили за здоровье Главка и императора Тита, совершили последнее омовение, после чего надели обувь и, спустившись с лестницы, прошли через ярко освещенный атрий, и злая собака, выложенная мозаикой у порога, их не тронула. Луна только что взошла и озарила еще оживленные улицы города.

Они прошли квартал ювелиров, весь залитый огнями, которые отражались, играя, в драгоценных камнях, выставленных в лавках, и очутились у дверей Ионы. В вестибule рядами горели светильники, по обоим концам таблица висели пурпуровые занавеси, расшитые красивыми узорами, стены и мозаичный пол сверкали ярчайшими красками, а в портике, окружавшем благоухающий сад, они нашли Иону, вокруг которой уже толпились,

²³ Греческая богиня Гестия (соответствующая римской Весте) поклялась священной клятвой, что никогда не выйдет замуж, и наотрез отказала богам Посейдону и Аполлону, искавшим ее руки. Древние верили, что вся прелесть и все обаяние богини любви Афродиты (у римлян Венеры) заключено в ее волшебном поясе.

²⁴ Богиню судьбы Фортуну римляне представляли себе слепой — в знак того, что дары ее достаются не честным, справедливым и достойным, а кому придется.

аплодируя ей, восхищенные гости.

— Ты, кажется, сказал, что она афинянка? — прошептал Главк, когда они шли через перистиль.

— Нет, она из Неаполя.

— Из Неаполя! — повторил Главк.

В этот миг толпа, окружавшая Иону, расступилась и открыла его взору светлую красоту нимфы, которую его память хранила так долго.

ГЛАВА IV

Храм Исиды. Ее жрец. Характер Арбака

А теперь вернемся к египтянину. Мы расстались с Арбаком в полдень на берегу залива, когда он покинул Главка и его приятеля. Очутившись в более оживленном месте, он остановился и поглядел на эту толпу с горькой улыбкой на смуглом лице, скрестив на груди руки.

— Болваны, ничтожества, идиоты — вот вы кто! — пробормотал он тихо. — В наслаждениях, в торговле, в религии вас равно обманывают страсти, с которыми вы не в силах совладать! Вы для меня пустое место, вы не будите во мне никаких чувств, даже ненависти. Греки и римляне, у нас, у древней мудрости Египта, украли вы огонь, который одушевляет вас. Ваши знания, ваша поэзия, ваше искусство, ваше варварское умение вести войны (все это так ничтожно и искажено и сравнении с великим образцом!) вы украли у нас, как раб крадет объедки после пира. Презренные обезьяны! Римляне, шайка воров! Подумать только — вы наши господа! Пирамиды больше не взирают со своей высоты на народ Рамсесов — римский орел торчит над нильским змеем. Наши господа... Нет, только не надо мной! Моя воля держит в повиновении и сковывает вас, хотя оковы эти невидимы. До тех пор, пока хитрость могущественнее силы, пока есть храмы, в которых оракулы могут дурачить людей, мудрые владеют над миром. Даже ваши пороки для Арбака — источник радостей, радостей, не оскверняемых глазами черни, беспредельных, щедрых, неисчерпаемых, которых ваши им осиленные умы не могут ни постичь, ни вообразить. Бредите же дальше, жадные и тщеславные глупцы! Ваши ничтожные мечты о ликторских связках и квесторской должности и вся эта комедия рабской власти вызывают у меня смех и презрение. Я властвую повсюду, где верят в богов. Я правлю душами, сокрытыми под покровом пурпура. Пусть пали Фивы,²⁵ но Египет пребудет вовек. Арбак покорит мир.

С этими словами египтянин медленно пошел к городу, пересек форум, возвышаясь над шумной толпой, и направился к небольшому, но красивому храму, посвященному Исиде.

Храм в то время был лишь недавно построен на месте старого, за шестнадцать лет перед тем разрушенного землетрясением, и стал таким же модным в непостоянных и легкомысленных жителей Помпеи, как у нас иногда становится модной новая церковь или новый священник. И таинственные слова, в которые были облечены пророчества, и слепая вера, с которой их принимали, были поистине поразительны. И если они не были гласом божества, то, во всяком случае, обнаруживали глубокое знание человеческой природы: они точно соответствовали обстоятельствам в жизни каждого из верующих и выгодно отличались от туманных и неопределенных предсказаний, которые можно было услышать в храмах других богов, соперников Исиды. Когда Арбак подошел к ограде, отделявшей непосвященных от святилища, толпа, в которой были люди всех сословий, но большинство составляли торговцы, затаив дыхание и благоговей, замерла перед множеством алтарей, стоявших на открытом дворе. Семь ступеней из паросского мрамора вели в самый храм, по

²⁵ Фивы — значительнейший из городов Древнего Египта, о столетий бывший столицей египетского государства.

стенам которого, в нишах, стояли статуи, а сами стены были украшены орнаментом в виде плодов граната, священного дерева Исида. Посреди храма был большой пьедестал, а на нем — две статуи: Исида и ее всегдашнего спутника, безмолвного, таинственного Гора. Но в храме было и много других божеств, составлявших свиту египетской богини: родственный ей много именной Вакх, Киприда — одно из греческих воплощений Исида, Анубис с собачьей головой, бык Апис и всякие египетские идолы, грубые и безымянные.

Но не следует думать, что в городах Великой Греции сохранялись в чистоте древние египетские обряды культа Исида. Южные народы, в которых смешалась различная кровь, высокомерные и невежественные, соединили обряды всех стран и веков, и глубокие таинства Нила исказились до неузнаваемости из-за множества бесцеремонных, наглых новшеств, привнесенных из чуждых вер, которые процветали на берегах Кефиса и Тибра. В храме Исида в Помпеях служили римские и греческие жрецы, не знавшие ни языка, ни обычаев древнего народа, который ей поклонялся когда-то; и потомок грозных фараонов Египта, делая вид, будто благоговейно склоняется перед ее алтарем, втайне презрительно смеялся над ничтожными обрядами, над жалкими попытками подражать торжественному и неповторимому культу его знойной страны.

Теперь на ступенях храма, по обе стороны от входа, стояли в белых одеждах те, кто готовился принести жертвы, а на самом верху встали двое жрецов низшего ранга: один держал ветвь, другой — небольшой снопок колосьев пшеницы. Посредине, в узком проходе, толпились зрители.

— Что привело вас сегодня к алтарям священной Исида? — шепотом спросил Арбак у одного человека, торговавшего с Александрией (благодаря этой торговле, вероятно, в Помпеях и распространился культ египетской богини). — Судя по белым одеждам этих людей, сейчас будет принесена жертва; а поскольку собрались все жрецы, вы, как видно, приготовились выслушать вещания оракула. На какой же вопрос будет дан ответ?

— Мы все здесь торговцы, — также шепотом ответил этот человек (который был не кто иной, как Диомед), — и хотим узнать судьбу наших судов, которые завтра отплывают в Александрию. Сейчас мы принесем жертву и будем молить богиню ответить нам. Как ты видишь по моим одеждам, сам я не в числе тех, которые испросили у жрецов позволения принести жертву, но и я, клянусь Юпитером, очень даже заинтересован в удачном плавании! Торговля у меня идет бойко, иначе как мог бы я прожить в эти суровые времена?

Египтянин сказал серьезно:

— Хотя Исида всегда была богиней земледелия, она тем не менее покровительствует и торговле.

И, обернувшись к востоку, Арбак, казалось, погрузился в молитву.

Теперь на ступенях появился жрец, с головы до ног одетый в белое; поверх венка у него на голове было накинуто прозрачное покрывало. Двое жрецов сменили тех, что стояли по бокам от входа, — обнаженные по пояс, они снизу были закутаны в свободные белые одеяния. Тем временем еще один жрец, сев на нижней ступени, начал играть что-то торжественное на длинном духовом инструменте. На половине лестницы стоял еще один жрец, держа в одной руке венок, а в другой — белый скипетр. Величественный ибис (священная птица в египетской религии) делал эту восточную церемонию еще более живописной, безмолвно взирая со стены на обряд или расхаживая возле алтаря у подножия лестницы.

У этого алтаря стоял теперь жрец, готовившийся принести жертву.

Когда гаруспики стали осматривать внутренности жертвенных животных, лицо Арбака утратило свое суровое спокойствие и преисполнилось благочестивого ожидания — оно озарилось радостью, как только знаки были сочтены благоприятными и огонь начал быстро поглощать жертвы, а вокруг распространилось благоухание мирры и ладана. Тут мертвая тишина воцарилась в толпе, люди перестали перешептываться, жрецы собрались на верху лестницы, а один из них, обнаженный, не считая повязки на бедрах, выбежал вперед и, приплясывая, с дикими жестами, стал молить богиню ответить на вопрос. Наконец он умолк

в изнеможении, и тогда тихий журчащий звук послышался внутри статуи; голова ее трижды качнулась, губы раскрылись, и глухой голос произнес таинственные слова:

Волны есть, что блестят, как доспехи бойцов.
Есть могилы на дне — они ждут мертвецов.
Злая буря приходит затишью взамен,
Но судов ваших путь будет благословен.

Голос смолк, и толпа вздохнула свободнее. Торговцы переглянулись.

— Все яснее ясного, — пробормотал Диомед. — На море будет шторм, как часто бывает ранней осенью, но наши суда уцелеют! О благая Исида!

— Хвала богине во веки веков! — воскликнули торговцы. — Ее предсказание не могло быть яснее.

Верховный жрец поднял руку, призывая к тишине (служение Исиде требовало от шумных жителей города почти невозможного — молчания), окропил алтарь, сотворил короткую заключительную молитву, и толпа разошлась. Однако египтянин задержался на храмовом дворе, и, когда народу стало поменьше, один из жрецов, подойдя к ограде, почтительно его приветствовал.

Лицо у жреца было удивительно бесстрастное — бритая голова с низким и узким лбом, как у африканского дикаря, а на висках, которые последователи науки, отлично известной древним, несмотря на свое новое название,²⁶ считают центрами стяжания, были огромные, почти противоестественные выпуклости, которые делали его голову еще уродливее. Лоб был весь изрезан сетью глубоких морщин, глаза были темные, с мутными белками, короткий, но широкий нос с раздувающимися, как у сатира, ноздрями, толстые бледные губы, высокие скулы, пятнистая пергаментная кожа довершали черты этого лица, на которое никто не мог взглянуть без отвращения, и лишь немногие — без страха и недоверия: что бы ни было на уме у этого человека, его звериное обличье заставляло предполагать худшее; жилистая шея, широкая грудь, **трвные пальцы** и тонкие руки, обнаженные до локтей, изобличали в нем человека крепкого и выносливого.

— Кален, — сказал египтянин этому «красавцу», — ты заметно улучшил голос статуи, последовав моему совету. И стихи твои превосходны. Всегда предсказывай счастливую судьбу, разве только она никак уж не может свершиться.

— К тому же, — добавил Кален, — если буря и потопит проклятые суда, разве мы этого не предсказали? И разве не благословен их груз, если обретает вечный покой? Ведь именно о покое молит мореплаватель в Эгейском море, — во всяком случае, так говорит Гораций. Но есть ли в море место покойнее морского дна!

— Ты прав, мой милый Кален. Хотел бы я, чтобы Апекид перенял у тебя твою мудрость. Но мне нужно подробнее поговорить с тобой о нем и кое о чем еще. Можешь ты провести меня в какое-нибудь не очень священное место?

— Конечно, — отвечал жрец, вводя его в одну из маленьких пристроек возле отворенных ворот.

Здесь они сели за столик, на котором стояли блюда с фруктами, яйцами и холодным мясом, а также сосуды с превосходным вином, и стали пить и закусывать, задернув занавеси, которые скрывали их от чужих взглядов, но были такие тонкие, что приходилось либо не говорить ничего, не предназначенного для чужих ушей, либо говорить тихо. Они избрали последнее.

²⁶ Речь идет о френологии — умении определять способности и характер человека по форме его черепа. Френология появилась в конце XVIII века и ныне считается лженаукой.

— Ты знаешь мое правило, — сказал Арбак едва слышным шепотом, — всегда отдавать предпочтение молодым. Из их податливых, незрелых умов я могу делать все, что хочу. Я изменяю, преображаю, леплю их по своей воле. Но довольно об этом, перейдем к делу. Тебе известно, что некоторое время назад я встретил в Неаполе Иону и Апекида, брата и сестру. Их родители некогда переселились из Афин в Неаполь. После смерти родителей, которые знали и уважали меня, я стал опекуном Ионы и Апекида. Я не забыл своего долга. Мягкий и доверчивый юноша легко поддался моему влиянию. Мне дорого наследие моих предков; я люблю возрождать и проповедовать на дальних берегах (где, быть может, еще живут потомки моего народа) их темную и мистическую веру. Может быть, мне потому и доставляет удовольствие обманывать людей, что этим я служу богам. Я посвятил Апекида в таинства торжественного культа Исиды. Я раскрыл перед ним некоторые из возвышенных символов, возникших при развитии этого культа. Я разбудил в его душе, склонной к религии, тот пыл, который порождает воображение, когда им движет вера. Я поместил его сюда, и теперь он жрец твоего храма.

— Это так, — сказал Кален. — Но, разжигая в нем веру, ты лишил его благоразумия. Когда ему открылась истина, он пришел в ужас; наш мудрый обман, наши говорящие статуи и потайные лестницы пугают и возмущают его. Он тоскует, чахнет, все время что-то бормочет про себя. Он отказывается участвовать в наших обрядах. Кроме того, мне известно, что он часто бывает среди людей, подозреваемых в приверженности к новой, безбожной вере, которая отрицает всех наших богов и называет наших оракулов порождением того злобного духа, о котором гласят восточные предания. Наши оракулы — увы, мы хорошо знаем, чье это порождение!

— Этого я и боялся, — задумчиво сказал Арбак. — Когда мы виделись в последний раз, он осыпал меня упреками. А теперь он меня избегает. Я должен его найти, должен преподать ему новый урок, ввести его в преддверие Мудрости. Должен внушить ему, что есть две ступени святости: первая — Вера и вторая — Обман; одна — для черни, другая — для избранных.

— Я никогда не стоял на первой ступени, — сказал Кален, — и думаю, ты тоже, мой милый Арбак.

— Ты ошибаешься, — серьезно отозвался египтянин. — Я и сейчас верую, но, конечно, совсем не в то, чему учу, ибо в природе есть святость, против которой я не могу и не хочу ожесточать свое сердце. Я верю в свои знания, и они открыли мне... Но это неважно. Поговорим о вещах, более земных и приятных. Судьба Апекида тебе известна, но чего хочу я от Ионы? Ты уже знаешь: я хочу сделать ее своей повелительницей, своей невестой, Исидой моего сердца. Я и не подозревал до встречи с ней, что способен на такую любовь.

— Из тысячи уст я слышу, что она — вторая Елена Прекрасная, — сказал Кален и причмокнул губами, то ли одобряя вкус вина, то ли при мысли о красоте Ионы.

— Да, ей нет и не было равных даже в Греции, — продолжал Арбак. — Но это еще не все: у нее душа, достойная моей. Она обладает не женским умом — острым, блестящим, смелым. Поэзия сама льется с ее губ. Как бы ни была глубока и сложна истина, ум Ионы сразу овладевает ею. Ее воображение и разум не мешают друг другу, они согласно влекут ее вперед, подобно тому как ветры и волны согласно влекут вперед прекрасное судно. И с этим сочетаются смелость и независимость мысли. Она может жить в гордом одиночестве, может быть столь же смелой, как и нежной. Именно такую женщину я тщетно искал всю жизнь. Иона должна быть моей!

— Значит, она еще не твоя? — спросил жрец.

— Нет. Она любит меня, но только как друга, любит лишь разумом. Она ценит во мне ничтожные добродетели, которые я презираю, а презирать добродетель — в этом и есть высшая добродетель. Но послушай, я расскажу тебе про нее. Брат и сестра молоды и богаты. Иона горда и честолюбива, она гордится своим умом, своим поэтическим даром, своим очарованием. Когда ее брат покинул мой дом и переселился сюда, в ваш храм, она, чтобы не расставаться с ним, тоже переехала в Помпеи. Ее таланты сразу привлекли здесь внимание.

Она приглашает к себе на пиры множество гостей, которых очаровывает ее пение, пленяют стихи. Ей льстит, что ее считают наследницей Эринны.

— Или Сапфо?

— Но Сапфо, не знающей любви! Я поощрял в ней смелую общительность, поощрял тщеславие. Пусть окунется с головой в роскошь нашего веселого города. Слушай, Кален! Я хотел затуманить ее ум, и тогда она готова будет принять дыхание, которым я намерен даже не овеять, а наполнить ее душу, чистую, как зеркало. Я хочу, чтобы ее окружали поклонники, пустые, суетные, легкомысленные (которых она неизбежно будет презирать), чтобы она почувствовала потребность любви. А потом, когда она будет отдыхать, устав от шума и волнений, я стану плести свои сети — разжигать ее любопытство, будить в ней страсть, овладевать ее сердцем. Потому что не молодым, блестящим красавцам суждено пленить Иону. Нужно покорить ее воображение, а жизнь Арбака вся состоит из торжества над человеческим воображением.

— Значит, ты не боишься соперников? А ведь италийские юноши умеют нравиться женщинам.

— Нет. Греческая душа Ионы презирает римских варваров. Она перестала бы уважать себя, если б допустила хоть мысль о любви к кому-нибудь из этого племени выскочек.

— Но ведь ты египтянин, а не грек.

— Египет, — отвечал Арбак, — это мать Афин. Богиня-хранительница этого города — наше божество, а основатель Афин, Кекроп, бежал из египетского Саиса. Все это я ей уже внушил. Во мне она чтит древнейшую из царских династий на земле, но, признаюсь, все же у меня есть на этот счет неприятные подозрения! Она стала молчаливее прежнего, предпочитает печальную и тихую музыку, вздыхает без видимой причины. В ней уже зарождается любовь или же только потребность в любви. Но все равно пора воздействовать на ее воображение и сердце. В первом случае — занять место того, кого она любит, а во втором — вызвать в ней любовь к себе. Для этого я и пришел сюда.

— Чем же я могу тебе помочь?

— Я хочу пригласить ее к себе на пир: хочу ослепить, поразить ее, разжечь ее чувства. Я применю все искусство, с помощью которого Египет посвящал в таинства молодых жрецов, и под покровом религиозных тайн открою ей тайны любви.

— А! Теперь понимаю — это будет один из тех соблазнительных пиров, на которых мы, жрецы Исиды, несмотря на свои клятвы в умерщвлении плоти, не раз бывали.

— Нет, нет! Что ты! Неужели ты думаешь, что ее чистый взор подготовлен к такому зрелищу? Сначала нужно подумать о том, чтобы заманить в ловушку ее брата, а это гораздо легче. Выслушай же мои указания.

ГЛАВА V

Снова о слепой цветочнице. Рождение любви.

Солнце весело заглядывало в красивую комнату Главка, которая, как мы уже говорили, называлась «комната Леды». Утренние лучи вливались в нее через ряды маленьких окон под потолком и через дверь, и ходившую в сад, которым жители южных городов пользовались примерно так, как мы оранжереей. Размеры сада не позволяли гулять в нем, но зато там можно было отдыхать среди благоухающих цветов и великолепной праздности, которая столь мила жителям солнечного юга. И теперь легкий ветерок с моря приносил сладкие ароматы в эту комнату, где роспись на стенах яркостью красок соперничала с самыми красивыми цветами. Кроме великолепного изображения Леды и Тиндара, на стенах были и другие редкостные картины. На одной Купидон склонил голову на колени Венеры; на другой Ариадна уснула на морском берегу, не подозревая, что ее бросил Тесей.²⁷ Солнечные лучи

²⁷ Т е с е й — афинский герой, который победил чудовище Минотавра, обитавшее в Лабиринте — дворце

весело играли на мозаичном полу и ярких стенах, но еще веселее играла радость в молодом сердце Главка.

— Я видел ее! — говорил он, расхаживая по комнате. — Я слышал ее голос и даже разговаривал с ней, внимал ее дивному пению — она пела о славе и о Греции. Я нашел свой кумир, который так долго искал, и, как кипрский скульптор,²⁸ вдохнул жизнь в свое творение.

Возможно, монолог влюбленного Главка был бы гораздо длиннее, но в этот миг чья-то тень упала на порог, и молодая девушка, почти еще ребенок, нарушила его одиночество. На ней была простая белая туника, закрытая у шеи и ниспадавшая до щиколоток; в одной руке она держала корзинку с цветами, а в другой — бронзовый кувшин; она выглядела старше своих лет и была мягкая, женственная, хоть и не красавица в обычном смысле этого слова, но не лишенная очарования; сквозила какая-то кроткая нежность во всем ее облике. Печаль и смирение согнали с ее губ улыбку, но не отняли у них прелести; двигалась она робко и осторожно, в глазах застыло горестное удивление, показывавшее, как страдает эта девушка, слепая с первого дня жизни; но глаза были совсем как зрячие, они блестели хоть и не ярко, зато безмятежно.

— Мне сказали, что Главк здесь, — проговорила девушка. — Можно войти?

— А, милая Нидия, это ты? — сказал грек. — Я знал, что ты не откажешь мне.

— Мог ли Главк сомневаться! — отвечала Нидия, покраснев. — Он всегда так добр к бедной слепой девушке!

— Разве может кто-нибудь относиться к ней иначе? — сказал Главк с братской нежностью.

Нидия вздохнула и после недолгого молчания спросила, не отвечая на его слова:

— Ты вернулся недавно?

— Сегодня я в шестой раз видел восход солнца в Помпеях.

— Здоров ли ты? Ах, мне незачем и спрашивать... Разве человек, видящий землю, которая, говорит, так прекрасна, может быть болен?

— Я здоров. А ты, Нидия... как ты выросла! В будущем году у тебя уже не будет отбоя от поклонников.

Нидия опять покраснела, но при этом слегка нахмурилась.

— Я принесла тебе цветов, — сказала она, снова не ответив на его слова, которые, видимо, ей не понравились, и, ощупью найдя стол, у которого стоял Главк, поставила туда корзину. — Это скромные цветы, но я только что их сорвала.

— Их не постыдилась бы принести сама Флора, — сказал Главк ласково. — И я вновь повторяю свою клятву Грациям, что, пока ты здесь, я не надену венка, сплетенного другими руками.

— Как находишь ты цветы в своем саду? Хороши ли они?

— Они прекрасны, как будто за ними ухаживали сами Лары.

— Как мне приятны твои слова! Ведь это я, когда случалась свободная минутка, приходила сюда, поливала их и ухаживала за ними в твое отсутствие.

— Как мне благодарить тебя, прекрасная Нидия? — сказал грек. — Главк и не подозревал, что его друзья в Помпеях помнят о нем.

Руки девушки дрогнули, грудь заволновалась под туникой. В смущении она отвернулась.

— Сегодня слишком жаркое солнце, бедные цветы ждут меня, — сказала она. — Ведь я была больна и вот уже девять дней не приходила к ним.

критского царя Миноса. Победить Минотавра и найти выход из Лабиринта ему помогла дочь царя Ариадна. Тесей покинул Крит и увез Ариадну, но затем бросил ее на одном из островов Эгейского моря.

²⁸ Кипрский скульптор — Пигмалион, легендарный царь острова Кипр. Он влюбился в статую, изваянную им самим. Афродита услышала молитвы Пигмалиона и оживила статую.

— Больна? Но твои щеки еще румянее, чем в прошлом году!

— Я часто хвораю, — сказала слепая девушка печально. — И, чем старше я становлюсь, тем тяжелее мне моя слепота... А теперь я пойду к цветам!

Сказав это, она слегка наклонила голову и, пройдя в сад, принялась поливать цветы.

«Бедная Нидия! — подумал Главк, глядя на нее. — Нелегкая у тебя судьба: ты не видишь ни земли, ни солнца, ни моря, ни звезд... И главное — ты не можешь увидеть Иону».

И он снова стал вспоминать минувший вечер. Но его приятные воспоминания были прерваны приходом Клодия. И если накануне Главк рассказал Клодию про свою первую встречу с Ионой и про то впечатление, которое она на его произвела, то теперь и мысли не мог допустить, чтобы хоть упомянуть при нем ее имя — так окрепла и выросла за один-единственный вечер его любовь. Он видел Иону, веселую, чистую, беззаботную, среди самых блестящих и развязных кавалеров в Помпеях, и очарование этой женщины заставляло самых дерзких уважать ее, а самых беспутных преображало до неузнаваемости. Чарующей силой своего ума и чистоты она, подобно Цирцее, совершила чудо, только наоборот, превратила скотов в людей. Тот, кто не мог понять ее душу, становится чище сердцем под воздействием ее красоты; тот, кто не понимал поэзии, по крайней мере имел уши, чтобы слышать ее чудесный голос. Видя ее в таком окружении, видя, как она все очищает и озаряет своим присутствием, Главк чуть ли не впервые осознал благородство собственной души и понял, как недостойны этой богини все его мечты, его интересы, его друзья. Он словно вдруг прозрел и увидел огромную пропасть, которая отделяла его от друзей. Он осознал очищающую силу своего чувства к Ионе. Он понял, что отныне его удел — стремиться ввысь. Он не мог больше произнести ее имя, которое представлялось ему священным и божественным, в присутствии этого грубого и пошлого человека. Иона уже была не просто красивая девушка, которую он увидел однажды и не мог забыть, — она была теперь повелительницей, кумиром его души. Кто не знал этого чувства? Только тот, кто никогда не любил.

Поэтому, когда Клодий заговорил с восторгом о красоте Ионы, Главк лишь возмутился, что такие уста смеют ее хвалить. Он отвечал холодно, и римлянин решил, что страсть Главка угасла. Это едва ли огорчило Клодия, которому хотелось, чтобы Главк женился на еще более богатой наследнице — Юлии, дочери Диомеда, надеясь, что тогда золото этого богача быстро переключит в собственные его сундуки. Разговор их был лишен обычной легкости, и, едва Клодий ушел, Главк решил пойти к Ионе. Выйдя за порог, он снова встретил Нидию, которая кончила свою работу. Девушка сразу узнала его шаги.

— Ты уходишь так рано? — спросила она.

— Да. Только безнадежный лентяй может сидеть дома, когда небо Кампании сияет.

— Ах, если б я могла его видеть! — прошептала слепая девушка, но до того тихо, что Главк не услышал этой жалобы.

Она помедлила на пороге, а потом, ловко нащупывая дорогу длинной палкой, пошла домой. Скоро она оставила позади оживленные улицы и очутилась в том квартале города, куда редко заходили благопристойные и трезвые люди. Но слепота спасала ее от грубых и порочных зрелищ. В этот час улицы были тихи, и слух не оскорбляли бесстыдные крики, так часто раздававшиеся возле темных притонов, мимо которых лежал ее путь.

Она постучалась в заднюю дверь таверны. Дверь отворилась, и грубый голос сразу же потребовал отчета в деньгах.

Прежде чем она успела ответить, другой, менее грубый голос сказал:

— Не говори об этих жалких деньгах, мой милый Бурдон. Она скоро опять должна будет петь на празднике у нашего богатого друга, а ты знаешь, он щедро платит.

— Нет, нет, только не это! — воскликнула Нидия, дрожа. — Я готова с утра до ночи просить милостыню, но не посылайте меня туда.

— Это еще почему? — спросил тот же голос.

— Потому... потому, что я еще маленькая и слабая от рождения, а среди женщин, которые там бывают, совсем не место для...

— ... для рабыни Бурдона! — насмешливо закончил за нее голос, и раздался хриплый смех.

Девушка поставила корзинку на пол и, закрыв лицо руками, тихо заплакала.

Тем временем Главк шел к дому прекрасной неаполитанки. Он застал Иону, окруженной рабынями, которые сидели с рукоделием подле своей госпожи. Около Ионы стояла арфа, ибо сама она проводила этот день в необычной праздности и была задумчива.

Главку она показалась еще красивее при свете дня, в простом платье, чем накануне вечером, вся в драгоценностях, среди сверкающих огней; прозрачная бледность, которая, едва он приблизился, сменилась ярким румянцем, только украшала ее. Главк привык говорить любезные слова, но, когда он обратился к Ионе, они замерли у него на губах. Ему казалось, что будет недостойно высказать вслух то восхищение, которое таил в себе каждый его взгляд. Они заговорили о Греции. Тут Иона предпочитала слушать, нежели говорить, а Главк готов был говорить вечно. Он говорил ей о серебристых оливковых рощах, которые покрывают берега Илуса, о храмах, не сохранивших и половины прежнего величия, — но как прекрасны они даже в своем запустении! Он вспомнил печальный город свободолюбивого Гармония и великого Перикла, и за далью времени все грубые и мрачные тени растворились в светлой дымке. Он видел эту страну поэзии в ранней юности — в самом поэтическом возрасте, и любовь к родине смешалась с радостными воспоминаниями зари его жизни. Иона молча внимала ему, и эти речи, эти видения были ей дороже, чем самая щедрая лесть ее бесчисленных обожателей. Разве грешно любить своего соотечественника? Она любила в нем Афины, богов своего народа, и страна, о которой она мечтала, говорила с ней его устами!

С тех пор они стали видеться каждый день. В прохладные вечера они совершали далекие морские прогулки, а попозже снова встречались в портиках или внутренних покоях ее дома. Их любовь была внезапной, но сильной; она целиком заполняла их жизнь.

Сердце, мозг, воображение, чувства стали ее служителями и жрецами. Если убрать препятствие, разделяющее двоих, которые стремятся друг к другу, они сразу соединяются; Иона и Главк удивлялись, как могли они так долго жить вдали друг от друга. И странно ли, что любовь их была так сильна? Молодые, красивые, щедро одаренные природой, они были детьми одного народа; самый их союз был исполнен поэзии. Им казалось, что их любви улыбается даже небо.

Как гонимые ищут убежища в храме, так и они и алтаре своей любви находили защиту от земных горестей; они усыпали свое убежище цветами, не подозревая о змеях, которые притаились меж этих цветов.

Как-то вечером, на пятый день после их первой встречи в Помпеях, Главк и Иона в обществе нескольких друзей возвращались с прогулки по заливу. Их лодка легко скользила по прозрачной воде, зеркальную гладь которой разбивали удары весел. Все оживленно разговаривали, а Главк лежал у ног Ионы — ему хотелось взглянуть ей в лицо, но он чувствовал какую-то странную робость. Потом Иона нарушила молчание.

— Бедный мой брат! — сказала она, вздыхая. — Ему понравилось бы здесь в этот час.

— Твой брат! — сказал Главк. — Я ни разу не видел его в Помпеях, я не мог думать ни о ком, кроме тебя, а мне давно надо было спросить, кто тот юноша, с которым ты ушла тогда в Неаполе от храма Минервы, не брат ли он тебе?

— Да, брат.

— А он здесь?

— Здесь.

— В Помпеях! И не возле тебя! Возможно ли это?

— У него есть другие обязанности, — печально сказала Иона. — Он жрец Исиды.

— Такой молодой! А жизнь жрецов сурова или, по крайней мере, суровы их правила! — сказал добрый, отзывчивый грек с удивлением и жалостью. — Что же заставило его стать жрецом?

— Он всегда чувствовал влечение к религии, и красноречие одного египтянина — нашего друга и опекуна — зажгло в нем благочестивое желание посвятить свою жизнь самому мистическому из божеств. Быть может, служение этой богине привлекло его пылкую душу именно своей суровостью.

— И ему не пришлось пожалеть? Надеюсь, он счастлив?

Иона глубоко вздохнула и опустила вуаль.

— К сожалению, он слишком спешит, — сказала она, помолчав. — Как все, кто ожидает слишком многого, он может легко разочароваться.

— Тогда он едва ли счастлив в своем новом звании. А кто этот египтянин? Тоже жрец? Он хотел приобрести еще одного прозелита?

— Нет. Больше всего он заботился о нашем благополучии. Он думал, что устроил судьбу моего брата. Мы ведь еще в детстве остались сиротами.

— Как и я, — сказал Главк многозначительно.

Иона продолжала, потупившись:

— И Арбак старался заменить нам родителей. Ты, наверно, его знаешь. Он любит незаурядных людей.

— Арбак! Да, знаю. Во всяком случае, мы с ним здороваемся при встречах. Ты похвалила его, и я не стану пытаться узнать о нем побольше. Мое сердце охотно открывается людям. Но этот смуглый египтянин с хмурым лицом и холодной, как лед улыбкой, кажется, способен омрачить само солнце. Можно подумать, будто он, как критянин Эпименид, провел сорок лет в пещере и с тех пор дневной свет ему тягостен.

— Но зато он добр, умен и мягок, как Эпименид, — сказала Иона.

— О счастливце, он удостоился твоих похвал! Ему не нужны больше никакие добродетели, чтобы стать мне другом.

— Его равнодушие и холодность, — сказала Иона сдержанно, — это, быть может, лишь следы пережитых страданий. Он — как вон та гора, — и она указала на Везувий, — которая сейчас так спокойно темнеет вдаль, а некогда пылала пламенем, угасшим навеки.

И они посмотрели на гору. Все небо было залито нежным розовым сиянием, но над сумрачной вершиной вулкана, высившейся среди зелени лесов и виноградников, которые покрывали в то время половину его склона, висело черное, зловещее облако, омрачавшее пейзаж. Внезапная и непонятная тоска охватила их обоих, и они, наученные любовью при всяком волнении, при малейшем дурном предчувствии искать защиты друг у друга, в тот же миг отвели глаза от горы и обменялись нежными взглядами. Нужны ли были им слова, чтобы признаться в любви?

ГЛАВА VI

Птицелов ловит птичку, которая едва не упорхнула, и расставляет силки для новой добычи.

В моем повествовании события теснят друг друга и развиваются быстро, как на сцене. Ведь в ту эпоху за несколько дней успевали созреть плоды, которые обычно зреют годами.

Арбак с некоторых пор редко бывал у Ионы; и когда он в последний раз пришел к ней, то не застал там Главка и ничего еще не знал о той любви, которая так неожиданно встала на его пути. Кроме того, занятый братом Ионы, он на время перестал следить за ней. Внезапная перемена в душе юноши задела его гордость и самолюбие. Он боялся, что потеряет способного ученика, а Исида — преданного служителя. Апекид стал избегать встреч с Арбаком, перестал советоваться с ним. Его теперь нелегко было найти. Он совсем отвернулся от египтянина и даже бежал, увидев его издали. Арбак принадлежал к числу тех упрямых и сильных натур, которые привыкли повелевать; он выходил из себя при мысли, что может хоть раз упустить добычу. Он поклялся, что Апекид от него не уйдет.

С этим решением он шел через густую рощу, отделявшую его дом от дома Ионы, и там

неожиданно повстречался с молодым жрецом Исида, который стоял, прислонившись к дереву.

— Апекид! — сказал он и дружески положил руку на плечо юноши.

Жрец вздрогнул; как видно, первым его побуждением было уйти.

— Сын мой, — сказал египтянин. — Что случилось? Отчего ты меня избегаешь?

Апекид угрюмо молчал, глядя в землю, и губы его дрожали, а грудь вздымалась от волнения.

— Говори же, друг мой, — продолжал египтянин. — Что гнетет твою душу? Откройся мне.

— Тебе — нет.

— Почему же ты не хочешь поделиться со мной?

— Потому что ты мой враг.

— Давай поговорим, — сказал Арбак тихо и, взяв упирающегося жреца за руку, повел его к одной из скамей, которые были расставлены по всей роще.

Они сели, и в их темных фигурах было что-то созвучное пустынному сумраку этого места.

Апекид был еще очень юн, но казался опустошенным даже больше, чем египтянин; его нежное и правильное лицо было бледным и бесцветным; лихорадочно блестящие глаза смотрели как бы в пустоту; спина согнулась раньше времени, а вздувшиеся голубые вены на маленьких, почти девических руках говорили о крайней душевной усталости. Он был очень похож на Иону, но выражение его лица было совсем иное: в нем не было того величественного и одухотворенного спокойствия, которое придавало красоте его сестры такую неземную и строгую безмятежность. Она умела подавлять и сдерживать свои порывы, в этом и заключалось ее очарование; хотелось пробудить ее дух, который отдышал, но, очевидно, не спал. У Апекида все его черты выдавали пыл и страстность характера, и разум его, судя по лихорадочному огню в глазах и беспокойному дрожанию губ, был подчинен воображению и измучен раздумьями. Фантазия сестры остановилась у золотого предела поэзии; а у брата, менее счастливого и уравновешенного, она унеслась в сферы неосознанные и туманные, и то, что дало талант одной, другому угрожало безумием.

— Ты говоришь, я враг тебе, — сказал Арбак. — Догадываюсь о причине этого несправедливого обвинения. Я ввел тебя в храм Исида, и ты возмущен уловками жрецов и обманом, думаешь, что и я тебя обманул; твой чистый ум оскорблен, ты воображаешь, будто я — один из тех лживых...

— Ты знал гнусность этого нечестивого ремесла, — сказал Апекид, — зачем же ты скрыл это от меня? Когда ты вселил в мою душу желание посвятить себя служению Исиде и надеть это облачение, ты говорил о чистой жизни тех, кто целиком посвятил себя знанию, — а окружил меня невежественными и похотливыми скотами, у которых нет иного знания, кроме чудовищного обмана; ты говорил о людях, жертвующих земными благами ради высшей добродетели, — и ввел меня к негодяям, погрязшим в грехе; ты говорил о друзьях, которые несут людям свет, — а я вижу лишь обман и мошенничество. О, какая низость! Ты украл у меня счастье молодости, веру в добродетель, священную жажду мудрости. Я был молод, богат, страстен, все земные удовольствия были мне доступны, я всем пожертвовал без единого вздоха, мало того — с радостью и ликованием, в надежде, что эта жертва — во имя глубочайших тайн божественной мудрости, во имя общения с богами и небесного откровения, а теперь... теперь...

Рыдания заглушили слова жреца. Он закрыл лицо руками, и крупные слезы, просочившись меж тонких пальцев, закапали на его одежды.

— Я исполню все, что обещал тебе, друг мой, мой ученик: это было испытание твоей добродетели, которая теперь засияла лишь ярче. Не думай больше о глупых уловках жрецов, не равняй себя с жалкими слугами богини, привратниками у ее порога, — ты достоин войти в святилище. Отныне я сам буду твоим жрецом, твоим проводником, и ты, который сейчас проклинаешь мою дружбу, всю жизнь будешь ее благословлять.

Юноша поднял голову и бросил на египтянина отсутствующий, блуждающий взгляд.

— Послушай меня, — продолжал Арбак серьезным и торжественным тоном и, быстро оглядевшись, убедился, что они одни. — Из Египта идет все знание мира. Из Египта идет мудрость Афин и искусство государственного правления Крита, из Египта вышли те древние и загадочные племена, которые (задолго до того как орды Ромула наводнили равнины Италии и вечный круговорот событий снова привел цивилизацию к варварству и тьме) владели всеми знаниями и плодами человеческой мысли. Из Египта вышли величественные обряды священных Цер,²⁹ жители которых научили своих поработителей, римлян, всему, что они и поныне знают о возвышенном в религии и в служении богам. Как думаешь, юноша, благодаря чему грозный Египет, колыбель многих народов, достиг своего величия и поднялся до заоблачных высот мудрости? Благодаря глубокому и священному искусству руководить людьми. Все ваши нынешние народы обязаны своим величием Египту, а Египет — своим жрецам. Замкнутые в себе, стремящиеся овладеть самым благородным в человеке — его душой и его верой, эти древние служители божества вдохновлялись самой великой мыслью, до какой когда-либо возвышались смертные. Наблюдая движение звезд, смену времен года, замкнутый неизменный круговорот человеческих судеб, они создали величественный символ. Они облекли его плотью для толпы, представив его в образах богов и богинь, и то, что в действительности было Владычеством, назвали Религией. Исида — это миф — не пугайся! — лишь благодаря этому она стала реальной и бессмертной, Исида ничто. Природа, которую она олицетворяет, — мать всего сущего, таинственная, древняя, постижимая лишь для избранных. «Никому из смертных не дано приподнять мое покрывало», — говорит Исида, которой вы поклоняетесь. Но пред мудрыми оно упало, и мы оказались лицом к лицу с торжественной красотой Природы. Жрецы были благодетелями человечества, они несли ему культуру; правда, они были также лгунами, обманщиками, если угодно. Но неужели ты думаешь, юноша, что без этого обмана они могли бы служить людям? Неужественных и покорных простолюдинов нужно ослепить ради их собственного блага; они не поверили бы обычным словам, но преклоняются перед оракулом. Римский император владычествует над многочисленными племенами, соединяя враждебные и разрозненные части воедино; это несет людям мир, порядок, закон, все блага жизни. Ты думаешь, владычествует человек, император? Нет, пышность, благоговение, величие, его окружающие, — это его обман, его ложь. Наши оракулы и пророчества, наши обряды и ритуалы — это средства нашей власти, орудия нашего могущества. Те же средства для достижения той же цели — блага и гармонии человечества. Я вижу, ты слушаешь меня со вниманием, ловишь каждое слово — свет начинает озарять тебя.

Апекид молчал, но его выразительное лицо быстро менялось, выдавая впечатление, произведенное словами египтянина, словами, которые голос, внешность и манеры этого человека делали еще во сто крат убедительнее.

— И когда наши предки на берегах Нила, — продолжал Арбак, — постигли первый принцип, с помощью которого возможно устранить хаос, а именно — принцип покорности и преклонения большинства перед немногими, — их величественные, вдохновленные звездами размышления открыли им истину, которая не была призрачной. Они установили основы закона, выявили подлинные ценности жизни. Они требовали веры и воздавали за нее развитием цивилизации. Разве этот обман не был благородным? Поверь мне, кто бы, божественный и благосклонный, ни взирал на мир с высоты небес, он с улыбкой одобряет мудрость, которая ведет к таким целям. Но ты хочешь, конечно, чтобы я от этих общих понятий перешел к твоей судьбе. Спешу исполнить твое желание. Алтарям нашей древней богини нужно служить, и служить ей должны не грубые и бездушные люди, подобные колышкам и крючкам, на которых болтаются одежды. Вспомни два изречения,

²⁹ Ц е р ы — один из двенадцати городов древнего народа этрусков, занимавшего земли к северо-западу от Рима. Отсюда, как считалось, заимствовали римляне многие из своих религиозных обрядов.

заимствованные из египетской мудрости. Первое: «Не говори толпе о боге». Второе: «Человек, достойный бога, — бог среди людей». Гений дал жрецам Египта их религию, но, поскольку ее могущество за последние века так ослабело, оно может быть восстановлено опять-таки лишь с помощью Гения. Я видел в тебе, Апекид, ученика, достойного перенять мои знания, служителя, достойного великих целей, которых еще возможно достичь. Твоя неутомимость, твои способности, чистота веры, пылкость — все это делало тебя достойным призвания, которое требует возвышенного самоотречения. Поэтому я разжигал в тебе священные порывы, я побудил тебя к этому шагу. Ты винишь меня в том, что я не раскрыл тебе мелочность душ твоих собратьев и хитрости, к которым они прибегают. Но если б я сделал это, Апекид, то сам обрек бы себя на неудачу. Твоя благородная душа сразу возмутилась бы, и Исида потеряла бы своего жреца.

Апекид громко застонал. Египтянин продолжал, словно не замечая этого:

— Вот почему я привел тебя в храм, не предупредив ни о чем. Я предоставил тебе самому все узнать и проникнуться отвращением к этим спектаклям, которые ослепляют толпу. Я хотел, чтобы ты понял, как действует механизм, благодаря которому бьет фонтан, освежающий мир. Это было испытание, какому издревле подвергаются все жрецы. Тем, кто привыкает обманывать чернь, предоставляют заниматься этим всю жизнь, а для людей, подобных тебе, чья возвышенная натура требует возвышенного служения, религия открывает высшие тайны. Я рад, что не ошибся в тебе. Ты принес жреческие обеты; возврата нет. Вперед! Я буду твоим поводырем.

— Но чему же ты научишь меня, о загадочный и страшный человек? Новым обманам? Новым...

— Нет. Я бросил тебя в бездну неверия, теперь я поведу тебя к вершинам веры. Ты видел ложь — ты узнаешь теперь истину, выражением которой она служит. Нет тени, Апекид, которая существовала бы сама по себе. Приходи ко мне сегодня вечером. А теперь дай руку.

Потрясенный, взволнованный, пораженный до глубины души словами египтянина, Апекид протянул ему руку, и учитель с учеником расстались.

Арбак сказал правду — возврата для Апекида не было. Он дал обет безбрачия; он обрек себя на жизнь, исполненную, как теперь кажется, фанатичной суровости, и был лишен последней возможности найти утешение в вере. Неудивительно, что он все еще страстно желал хоть как-то примириться с непреложным своим жребием. Сильный и глубокий ум египтянина вновь покорило его юношеское воображение, он был взволнован туманными намеками, колебался между надеждой и страхом.

Тем временем Арбак медленно и с достоинством шествовал к дому Ионы. Войдя в таблин, он вдруг услышал из перистилия голос, хотя и мелодичный, но неприятный для его уха, — это был голос молодого красавца Главка, и в первый раз египтянин ощутил в груди укол ревности. Войдя в перистиль, он увидел Главка, сидевшего рядом с Ионой. В благоухающем саду серебристой струей бил фонтан, приятно смягчая полуденный зной. Рабыни, неизменно находившиеся при своей госпоже, которая хоть и вела свободный образ жизни, но соблюдала при этом самую строгую скромность, сидели поодаль; у ног Главка лежала лира, на которой он только что играл Ионе лесбосскую песню.³⁰ В этой группе, представшей перед взором Арбака, была та своеобразная и утонченная поэтическая гармония, которую мы и сейчас справедливо считаем отличительной чертой древних: мраморные колонны, вазы с цветами, статуи, белые и недвижимые, и главное — два живых существа, которые могли либо вдохновить, либо привести в отчаяние скульптора.

Арбак остановился, глядя на эту пару, и обычное спокойствие исчезло с его лица.

³⁰ Остров Лесбос (в Эгейском море) вырастил многих знаменитых поэтов; самые известные среди них — Сапфо и ее современник Алкей.

Усилием воли он овладел собой и медленно подошел к ним, так тихо и бесшумно, что даже рабыни не услышали его шагов, а тем более — Иона и влюбленный Главк.

— И все же, — говорил афинянин, — только не изведав любви, мы воображаем, будто наши поэты правдиво ее описали; в то мгновение, когда встает солнце, все звезды, ярко сиявшие на небе, меркнут. Поэты пленяют лишь тех, у кого в сердце царит ночь; они ничто, когда мы видим божество во всей его славе.

— Какой возвышенный и блестящий образ, благородный Главк!

Оба они вздрогнули и, обернувшись, увидели холодное и насмешливое лицо египтянина.

— Ты пришел неожиданно, — сказал Главк, вставая с принужденной улыбкой.

— Так всегда приходит тот, кто знает, что он желанный гость, — отозвался Арбак, садясь и жестом приглашая сестр Главка.

— Я рада наконец видеть вас вместе, — сказала Иона. — Вы словно созданы друг для друга и должны стать друзьями.

— Будь я лет на пятнадцать помоложе, ты могла бы равнять меня с Главком, — сказал египтянин. — И я, можешь мне поверить, был бы счастлив его дружбой. Но что могу я дать ему взамен? Могу ли я сделать ему те же признания, что он мне: рассказать о пирах и венках, о парфянских конях и превратностях игры в кости? Эти развлечения подобают его возрасту, его характеру, его образу жизни, но они не для меня.

Сказав это, хитрый египтянин вздохнул и опустил глаза; но украдкой он поглядел на Иону, чтобы увидеть, как она воспримет эти намеки на обычное времяпрепровождение ее гостя. Выражение ее лица ему не понравилось.

Главк, слегка покраснев, поспешил ответить. Быть может, и он в свою очередь хотел смутить и сконфузить египтянина.

— Ты прав, мудрый Арбак, — сказал он. — Мы можем уважать друг друга, но не можем быть друзьями. Я обхожусь без той тайной приправы, которая, как говорят, придает особый вкус твоим пирам. Но, клянусь Геркулесом, когда я доживу до твоих лет, то, пожелав, подобно тебе, радостей зрелого возраста, я, без сомнения, буду с насмешкой говорить о развлечениях молодости.

Египтянин поднял глаза и бросил на Главка быстрый, пронизывающий взгляд.

— Я тебя не понимаю, — сказал он холодно. — Но, говорят, остроумие тем тоньше, чем непонятней. — Он отвернулся от Главка с едва заметной презрительной усмешкой и, помолчав, обратился к Ионе: — Мне не посчастливилось, прекрасная Иона, застать тебя дома, когда последние два или три раза я приходил к твоему порогу.

— На море было так тихо, что не хотелось сидеть дома, — отвечала Иона с легким смущением.

Ее смущение не укрылось от Арбака. Не показывая виду, что он это заметил, египтянин сказал с улыбкой:

— Ты знаешь, что говорит старинный поэт:³¹ «Женщины должны сидеть взаперти и наслаждаться беседой».

— Сказавший это был циник, — вмешался Главк, — и ненавидел женщин.

— Он говорил в соответствии с обычаями своей страны, а страна эта — твоя хваленая Греция.

— В разные времена — разные обычаи. Если б наши предки знали Иону, они рассудили бы по-иному.

— Это ты в Риме выучился говорить любезности? — спросил Арбак с плохо скрытым раздражением.

— Уж конечно, за этим никто не поедет в Египет, — отозвался Главк, небрежно играя

³¹ Имеется в виду один из трех крупнейших драматургов Древней Греции — Эврипид (480–406 годы до н. э.).

своей цепью.

— Ну, будет вам, — сказала Иона, торопясь прервать этот разговор, к ее огорчению мало способствовавший сближению, которого она желала. — Арбак не должен быть так суров к своей бедной ученице. Сироту, не знавшую материнской заботы, нельзя винить за независимый характер и почти мужскую свободу, которую она избрала. Притом она позволяет себе не больше того, что в обычае у римских женщин и, вероятно, у греческих. Увы! Неужели только мужчинам дано сочетать свободу и добродетель? Почему лишь пагубное рабство считается единственным способом охранить нас? Поверь мне, мужчины совершили величайшую ошибку, которая дорого им стоила, вообразив, что женщина — не скажу, ниже их, что, может быть, и так — совершенно иное существо, и издав законы, мешающие умственному развитию женщин. Разве эти законы не обратились против них самих? Ведь жены должны быть им друзьями, а иногда и советчицами!

Иона вдруг замолчала, и лицо ее залил нежный румянец. Она испугалась, что увлеклась и зашла слишком далеко; и все же сурового Арбака она боялась меньше, чем доброго Главка, потому что Главка она любила, а не в обычае греков было предоставлять женщинам (или, по крайней мере, наиболее уважаемым из женщин) ту же свободу, какой они пользовались в Италии. Поэтому она обрадовалась, когда Главк сказал серьезно:

— Всегда так думай, Иона, и слушайся своего чистого сердца! Ни одно государство не может пасть от свободы или знания, а женщины любят лишь свободных и поощряют лишь мудрых.

Арбак молчал, потому что не в его интересах было хвалить Главка или порицать Иону. Разговор никак не клеился, и Главк скоро простился.

Когда он ушел, Арбак, придвинувшись ближе к прекрасной неаполитанке, кротко сказал, искусно пряча свою хитрость и злобу:

— Не думай, моя милая ученица, если ты позволишь мне так тебя называть, что я хочу как-то стеснить ту свободу, которую ты можешь только украсить. Хотя, как ты справедливо сказала, она не больше той свободы, которой пользуются римлянки, но ты, незамужняя девушка, все же должна быть осмотрительней. Пусть у ног твоих по-прежнему будут самые веселые, блестящие, умные молодые люди, очаровывай их беседой, **достойной Аспасии**, музыкой Эринны, но помни о злых языках, которые так легко могут опорочить твое доброе имя. Молю тебя: покоряя сердца, не дай восторжествовать завистникам.

— О чем ты говоришь, Арбак? — спросила Иона с тревогой, и голос ее задрожал. — Я знаю, ты мой друг, ты заботаешься о моей чести, о моем благе. Как мне понять тебя?

— Да, я самый искренний твой друг! Позволь же мне говорить как другу, откровенно, не боясь тебя обидеть.

— Я прошу тебя об этом.

— Этот юный повеса Главк... как ты с ним познакомилась? И часто ли вы видитесь?

Сказав это, Арбак пристально посмотрел на Иону, словно хотел заглянуть ей прямо в душу.

Съездившись под этим взглядом, охваченная необъяснимым страхом, девушка ответила смущенно и неуверенно:

— Его представили мне как соотечественника моего отца, а значит, и моего. Мы знакомы всего неделю. Но что значат эти расспросы?

— Прости меня, — сказал Арбак. — Я-то думал, ты знаешь его давно. Так вот, он низкий лгун.

— Как! Что ты говоришь? Какое ужасное слово!

— Оставим это. Я не хочу, чтобы ты возмущалась этим человеком, слишком много для него чести.

— Умоляю тебя, говори. Кого же оболгал Главк? Или, вернее, в чем, тебе кажется, он повинен?

Скрывая свою досаду, Арбак продолжал:

— Ты знаешь, как он проводит время, кто его друзья, какие у него привычки? Кости и

пиры — вот чем он увлечен, а среди этих спутников порока, как может он мечтать о добродетели?

— Ты все еще говоришь загадками. Во имя богов, молю тебя, скажи все, я готова к худшему.

— Хорошо, будь по-твоему. Знай же, моя Иона, что не далее как вчера Главк при всех, в общественных банях, хвастался твоей любовью к нему. Он сказал, что его это забавляет. Правда, надо отдать ему справедливость, он хвалил твою красоту. Кто мог бы ее отрицать? Но он презрительно рассмеялся, когда один из его приятелей, кажется Клодий или Лепид, спросил его, любит ли он тебя настолько, чтобы жениться, и скоро ли он намерен украсить свои двери гирляндами.

— Не может быть! Где слышал ты эту низкую ложь?

— Уж не хочешь ли ты, чтобы я пересказал тебе все насмешки наглых повес по поводу этой истории, которая обошла город? Клянусь, я сам сначала не поверил этому, но, увы, люди, слышавшие все своими ушами, убедили меня, что это правда, хоть мне и не хотелось говорить ее тебе.

Иона откинулась назад, и ее лицо стало блее мраморной колонны, к которой она прислонилась, чтобы не упасть.

— Я негодовал, мне было невыносимо, что твое имя у всех на устах, как имя какой-нибудь простой танцовщицы. И сегодня я поспешил прийти и предупредить тебя. Я застал Главка здесь. Это до того возмутило меня, что я потерял самообладание. Я не мог скрыть свои чувства; да, я был невежлив в твоём присутствии. Простишь ли ты своего друга, Иона?

Иона взяла его за руку, но ничего не ответила.

— Не думай об этом больше, — сказал он. — Но пусть это послужит тебе предостережением: помни, ты должна быть благоразумна. Я знаю, это ни на миг не может задеть тебя. На такое легкомысленное хвастовство Иона не может обратить внимания. Эти оскорбления ранят только тогда, когда исходят от человека, которого мы любим, но не его гордая Иона удостоит своей любви.

— Любви! — пробормотала Иона с судорожным смехом. — Да, конечно.

Любопытно, как в те отдаленные времена, при общественном строе, столь не похожем на современный, любви препятствовали те же мелочные уловки, какие так распространены в наше время: та же изобретательная ревность, та же подлая клевета, та же передача мелких сплетен, которых и теперь так часто бывает достаточно, чтобы разорвать узы самой искренней любви, даже если ей все благоприятствует. Когда корабль плывет по тихому морю, крошечная рыбешка может прилипнуть к килю и остановить его — так гласит предание. То же бывает и с самыми сильными человеческими страстями, и картина была бы неполной, если бы даже в наши времена, богатые любовными увлечениями, мы не описали те тайные и зловещие пружины, которые каждый день действуют и в наших домах, у наших очагов. Именно благодаря этим мелким интригам мы лучше понимаем прошлое.

Египтянин с необычайной хитростью задел самую слабую струну Ионы — он ловко поразил отравленной стрелой ее гордость. Он воображал, что пресек чувство, которое, как он надеялся, за столь краткое время осталось лишь в зародыше, и, спеша переменить разговор, завел речь о брате Ионы. Беседа их продолжалась недолго. Арбак ушел, решившись не предоставлять больше Иону самой себе, но каждый день посещать ее и следить за ней.

Едва он вышел за порог, как Иона, чья женская гордость уже не требовала от нее больше притворства, горько зарыдала.

ГЛАВА VII

Развлечения в Помпеях. Миниатюрное подобие римских терм

Главк был на седьмом небе от счастья. Из разговора, которым удостоила его Иона, он в

первый раз ясно понял, что его любовь не будет отвергнута. Эта надежда наполняла его восторгом, который, как ему казалось, не может вместить мир. Не подозревая, что он оставил в доме Ионы врага, и забыв не только о его уколах, но и о самом его существовании, Главк шел по оживленным улицам и тихо напевал ту самую песенку, которую Иона слушала с таким вниманием. Он свернул на улицу Фортуны и пошел по высокому тротуару. Дома здесь были ярко выкрашены, а через открытые двери видны были красивые фрески. На каждой улице у въезда стояли триумфальные арки. Главк шел теперь мимо храма Фортуны, и портик этого прекрасного храма (построенного, как предполагают, одним из родственников Цицерона, а быть может, и самим великим оратором) придавал веселой улице возвышенную торжественность. Этот храм был одним из замечательных образцов римской архитектуры. Он стоял на высоком фундаменте. Две лестницы вели к площадке, где был утвержден алтарь богини. Оттуда другая широкая лестница вела в портик, с высоких колонн которого свисали гирлянды чудесных цветов. По обе стороны храма стояли статуи работы греческих скульпторов; неподалеку возвышалась триумфальная арка, увенчанная конной статуей Калигулы с бронзовыми трофеями³² по бокам. Перед храмом собралась оживленная толпа — одни, сидя на скамьях, обсуждали политику империи, другие разговаривали о предстоящих играх в амфитеатре. Кучка молодых людей восхваляла приезжую красавицу, другие беседовали о достоинствах новой пьесы; несколько пожилых людей беседовали о развитии торговли с Александрией; среди них было много купцов, серьезных и рассудительных, в своеобразных восточных одеждах и ярких туфлях, украшенных драгоценными камнями, — они заметно отличались от одетых в туники италийцев, которые оживленно жестикулировали. В те времена, как и теперь, у этих живых и темпераментных людей, кроме языка слов, в большом ходу был выразительный язык жестов; их потомки сохранили его, и ученый Иорио написал очень интересную работу об этой причудливой жестикуляции.

Пробравшись через толпу, Главк вскоре очутился среди своих веселых и беззаботных друзей.

— А! — сказал Саллюстий. — Не видел тебя целую вечность!

— Как же провел ты эту вечность? Каких новых яств отведал?

— Я действовал по науке, — возразил Саллюстий. — Попробовал откармливать мурен и, признаться, отчаялся добиться того совершенства, какого достигали наши римские предки.

— Бедняга! Но почему же?

— А потому, — отвечал Саллюстий со вздохом, — что закон теперь запрещает кормить их рабами. У меня не раз было искушение избавиться от моего толстого домоправителя и бросить его в бассейн. Это придало бы рыбьему мясу самый нежный вкус! Но рабы в наше время — не рабы, им безразличны интересы хозяев, иначе этот Дав³³ охотно пожертвовал бы жизнью, чтобы доставить мне удовольствие.

— Какие новости из Рима? — спросил Лепид, лениво подходя к ним.

— Император устроил роскошный пир для сенаторов, — сказал Саллюстий.

— Добрая душа! — заметил Лепид. — Говорят, он никого не отпускает, не исполнив просьбы.

— Может быть, он позволит мне скормить раба моим рыбкам? — оживился Саллюстий.

— Едва ли, — сказал Главк. — Тот, кто оказывает благодеяние одному римлянину, всегда делает это за счет другого. Будь уверен, что каждая улыбка, которую вызывает

³² Трофеем у древних назывался памятник, который оставляли на поле сражения в знак победы. Первоначально это был обтесанный ствол дерева с навешанным на него неприятельским оружием (или просто сваленное в кучу оружие). О бронзовом изображении таких трофеев и идет речь здесь.

³³ Дав — имя хитрого и преданного раба во многих римских комедиях.

милость Тита, исторгает слезы из сотен глаз.

— Да здравствует Тит! — воскликнул Панса, услышав имя императора. — Он обещал назначить квестором моего брата, который промотал свое состояние...

— ... и хочет теперь нажиться за счет народа, мой милый Панса, — продолжил Главк.

— Правильно, — согласился Панса.

— Выходит, и от народа бывает польза, — заметил Главк.

— Конечно, — отвечал Панса. — Ну, мне пора, пойду осматривать казначейство, там надо кое-что починить.

И эдил торопливо удалился, а за ним потянулся длинный хвост просителей, которые выделялись в толпе своими тогами.

— Бедный Панса! — сказал Лепид. — У него никогда нет времени развлечься. Благодарение богам, что я не эдил!

— А, Главк! Ну, как живешь? Весел, как всегда! — сказал Клодий, подходя.

— Ты пришел принести жертву Фортуне? — спросил Саллюстий.

— Я каждый вечер приношу ей жертвы, — отозвался игрок.

— Не сомневаюсь. Ни один человек не принес больше жертв!

— Клянусь Геркулесом, здорово ты его поддел! — воскликнул Главк со смехом.

— Вечно ты рычишь, как пес, Саллюстий! — сказал Клодий сердито.

— Ничего удивительного, потому что, когда я с тобой играю, мне всегда выпадает «пес», — отозвался Саллюстий.

— Будет вам! — сказал Главк, беря розу у стоявшей рядом цветочницы.

— Роза — символ молчания, — сказал Саллюстий. — Но я предпочитаю видеть ее только за пиршественным столом.

— Кстати, на будущей неделе Диомед дает большой пир, — сказал Саллюстий. — Ты приглашен, Главк?

— Да, я получил приглашение сегодня утром.

— И я тоже, — сказал Саллюстий, вынимая из-за пояса четырехугольный кусочек папируса. — Смотрите, он приглашает нас на час раньше обыкновенного: значит, будет что-то необычайное.

— Еще бы! Он богат, как Крез, — сказал Клодий, — и перечень яств у него на пиру длинен, как эпическая поэма.

— Ну ладно, пойдемте в термы, — сказал Главк. — Сейчас там весь город, Фульвий, которого вы так любите, прочитает свою новую оду.

Молодые люди не заставили себя просить, и все направились к баням.

Хотя общественные термы, или бани, были предназначены скорее для бедных граждан, чем для богатых, у которых дома были собственные купальни, все же это было излюбленное место встреч и отдыха людей всех сословий, любивших праздность и веселье. Бани в Помпеях, конечно, сильно отличались и своим устройством и внешним видом от огромных и сложно устроенных римских терм; да и вообще есть основания считать, что в каждом городе Римской империи бани отличались некоторым своеобразием архитектуры. Это почему-то смущает ученых, — как будто до XIX века архитекторы и мода не знали капризов! Приятели вошли в бани через главные ворота с улицы Фортуны. У портика сидел сторож, и перед ним стояли два ящика — один для денег, а другой для билетов. Здесь же были скамейки, на которых сидели люди различных сословий; другие, исполняя предписания лекарей, быстро прогуливались вдоль портика, время от времени останавливаясь поглядеть на бесчисленные объявления о зрелищах, играх, распродажах, выставках, написанные краской на стенах. Но больше всего было разговоров о предстоящих играх в амфитеатре, и каждого, кто подходил, засыпали вопросами: не посчастливилось ли Помпеям, и не появился ли какой-нибудь чудовищный преступник, не было ли какого святотатства или убийства, чтобы эдилы могли бросить негодяя на растерзание льву; все прочие, менее редкостные увеселения казались детской забавой в сравнении с таким счастьем.

— Мне кажется, — сказал веселый человек, который был ювелиром, — что император,

если он так добр, как говорят, мог бы прислать нам какого-нибудь еврея.

— А почему бы не взять одного из этой новой секты назареев? — сказал какой-то философ. — Я не жесток, но безбожник, который не признает самого Юпитера, не заслуживает милосердия.

— Мне все равно, во скольких богов человек верит, — сказал ювелир, — но отрицать всех богов просто чудовищно.

— И все же я думаю, — возразил Главк, — что эти люди не совсем безбожники. Говорят, они верят в какого-то бога или, вернее, в будущую жизнь.

— Ты ошибаешься, дорогой Главк, — сказал философ. — Я говорил с ними: они засмеялись мне в лицо, когда я завел речь о Плутоне и Аиде.

— О боги! — воскликнул в ужасе ювелир. — Неужели эти злодеи есть и в нашем городе?

— Да, есть, хоть их и немного. Но их секта собирается тайно, и невозможно узнать, кто к ней принадлежит.

Когда Главк отошел, один скульптор, который очень любил свое искусство, с восхищением посмотрел ему вслед.

— Ах, — сказал он, — выпустить бы его на арену — вот это была бы натура! Какие руки и ноги! Какая голова! Ему бы быть гладиатором! Сюжет... да, сюжет, достойный нашего искусства! Отчего его не бросят на растерзание льву?

Тем временем римский поэт Фульвий, которого его современники провозгласили бессмертным и о котором, если бы не этот рассказ, так никто и не вспомнил бы в наш равнодушный век, подошел к Главку:

— А, мой милый афинянин, мой добрый Главк пришел послушать, как я буду читать оду! Какая честь — ведь ты грек, чей язык сам по себе поэзия. Как мне тебя благодарить? Конечно, это пустяк, но я, может быть, буду представлен Титу, если заслужу твою похвалу. О Главк! Поэт без покровителя — все равно что амфора без ярлыка: вино может быть превосходным, но никто его не похвалит! Что говорит Пифагор? «Фимиам — богам, а хвала — людям». А значит, покровитель — это жрец поэта: он доставляет ему хвалу и почитателей.

— Но ведь все Помпеи тебе покровительствуют, и каждый портик — твой алтарь.

— Да, люди здесь очень добры, они не скупятся на похвалы. Но они лишь жители маленького городка... А я надеюсь на лучшее!.. Войдем?

— Конечно. Мы теряем время, а ведь могли бы уже слушать твою оду.

В этот миг из бань в портик вышло человек, двадцать, и раб, стоявший у двери, которая вела в узкий коридор, впустил Фульвия, Главка, Клодия и еще целую толпу друзей поэта.

— Жалкое зрелище в сравнении с римскими термами, — сказал Лепид презрительно.

— Но все же потолочная роспись сделана со вкусом, — заметил Главк, который был в таком настроении, что ему все нравилось, и указал на звезды, усыпавшие потолок.

Лепид пожал плечами, но ему было лень возражать.

Они вошли в просторную раздевальню. Карниз пестрел причудливыми рисунками; сводчатый потолок был отделан белыми квадратными плитками с ярко-красной каймой; безукоризненно чистый пол был выложен белой мозаикой, а вдоль стен стояли удобные скамьи. Здесь не было огромных и многочисленных окон, как в роскошном фригидарии³⁴ Витрувия. В Помпеях, как и во всей южной Италии, предпочитали умерять блеск знойного солнца и считали, что роскошь неразлучна с полумраком. Два небольших застекленных окна пропускали скупой, мягкий свет; над одним из этих окон красовался большой рельеф, изображавший гибель титанов.

Здесь и уселся Фульвий с величественным видом, а слушатели торопили его начать

³⁴ Фригидарий (от лат. «фригидус» — холодный) — отделение бани с одним или несколькими бассейнами холодной воды.

чтение.

Поэт не заставил себя долго упрашивать. Он вынул из-под одежды свиток папируса и, трижды откашлявшись, чтобы прочистить горло, а также водворить тишину, начал читать великолепную оду, от которой, к великому огорчению автора этой книги, до нас не дошло ни единой строчки.

Судя по рукоплесканиям, которыми его наградили, она бесспорно была достойна его славы; и Главк, единственный из всех, не нашел, что она превосходит лучшие оды Горация.

Когда ода была прочитана, те, кто собирался принять лишь холодную ванну, стали раздеваться; они вешали одежды на крюки, торчавшие из стен, брали (богатые — у собственных рабов, а остальные — у рабов, служивших в термах) другие, более просторные одежды и шли в красивое круглое помещение, которое уцелело и доныне, к стыду потомков древних италийцев, которые так не любят мыться.

Более изнеженные через другую дверь вошли в тепидарий,³⁵ нагретый до приятного тепла передвижным очагом, хотя главным источником тепла был пол, под которым проходили трубы лаконской печи.³⁶

Здесь любители купания раздевались и проводили некоторое время, наслаждаясь ароматным теплом. Тепидарий, в соответствии со своим значением в длинном процессе купания, был украшен богаче и лучше остальных помещений: на сводчатом потолке были прекрасные рельефы и роспись; окна из матового стекла пропускали лишь слабый и неверный свет; под массивными карнизами тянулись ряды лепных фигур; стены были ярко-красные, пол — искусно выложенный белыми плитами. Здесь заядлые купальщики, которые посещали баню по семь раз на день, пребывали в состоянии расслабленной неги перед купанием или чаще после него; и многие из этих «мучеников» равнодушно смотрели на входивших, приветствуя знакомых кивком, но боясь утомить себя разговором.

Отсюда посетители опять направлялись в разные места, в зависимости от вкусов: одни шли в потовую баню, соответствовавшую нашим парильням, а оттуда — в теплую купальню; другие, не желавшие тратить столько сил, сразу шли в кальдарий, где был бассейн с горячей водой.

Чтобы завершить картину и дать читателю более или менее полное представление о банях, игравших такую роль в жизни древних, последуем за Лепидом, который неизменно проходил все процедуры, кроме холодной бани, вышедшей незадолго перед тем из моды. Разогревшись в тепидарии, который мы только что описали, помпейский франт направил свои стопы в потовую баню. Пусть читатель сам представит себе, как долго он парился, вдыхая благовония. После этого он отдал себя в руки своих рабов, которые ожидали его у выхода и стерли с него пот чем-то вроде скребницы. Между прочим, туристов теперь всерьез уверяют, будто ими пользовались, только чтобы очищать грязь, тогда как ни единая пылинка не могла сесть на гладкую кожу опытного купальщика. Потом, немного остывнув, он погрузился в воду, изобильно усыпанную ароматными травами, и, когда он вышел через дверь в противоположном конце помещения, прохладный душ оросил его с ног до головы. Потом, закутавшись в легкие одежды, он снова возвратился в тепидарии, где нашел Главка, который не ходил в потовую баню. Теперь началось главное, ни с чем не сравнимое удовольствие: рабы стали растирать своих хозяев редчайшими мазями из золотых, хрустальных или алебастровых флаконов, украшенных драгоценными камнями. Один только список всех этих притираний, употреблявшихся богатыми людьми, составил бы целый том, особенно если бы его напечатал модный издатель: майоран, лаванда, нард — словом, всех и не счесть, а за стеной играла тихая музыка, и те, кто предпочитал в купании умеренность, освеженные и полные новых сил, словно помолодев, оживленно беседовали.

³⁵ Тепидарий (от лат. «тепидус» — теплый) — теплая баня.

³⁶ Лаконская печь была главной принадлежностью еще одного отделения — потовой бани.

— Будь благословен тот, кто изобрел бани! — сказал Главк, растянувшись на одном из бронзовых лож (в тот час усталых мягкими подушками), которые и теперь можно увидеть в том же самом тепидарии. — Будь то Геркулес или Вакх, его не зря почитают богом.

— Но скажи мне, — обратился к нему тучный мужчина, который, пока его растирали, все время стонал и сопел, — скажи мне, Главк... руки тебе надо перебить, раб, три полегче!.. скажи мне... уф, уф!.. что, в Риме бани действительно так великолепны? (Повернув голову, Главк не без труда узнал Диомеда — этот добряк весь побагровел после потовой бани и растирания, которому только что подвергся.) Наверно, они гораздо лучше наших? А?

Пряча улыбку, Главк ответил:

— Вообрази, что весь этот город превращен в бани, тогда ты получишь представление о величине императорских терм в Риме. Но это только величина. Представь себе все развлечения для души и тела, перечисли все гимнастические игры, выдуманные нашими отцами, вообрази, что для всех этих игр отведены специальные места, так же как и для любителей литературы, добавь к этому купальни самых больших размеров и самого сложного устройства, окружи все это садами, театрами, портиками, гимназиями — словом, представь себе город богов, состоящий из одних дворцов и общественных зданий, и ты получишь отдаленное представление о знаменитых римских банях.

— Клянусь Геркулесом! — воскликнул Диомед, широко раскрывая глаза. — Да ведь чтобы там искупаться, не хватит целой жизни!

— В Риме это обычное дело, — сказал Главк серьезно. — Многие там и проводят всю жизнь. Они приходят к открытию и остаются до тех пор, пока не запрут ворота. Остальной Рим для них словно не существует, они презирают все на свете, кроме бань.

— Клянусь Поллуксом, ты меня удивил!

— Даже у тех, кто купается только три раза в день, ни на что другое времени не остается. Перед первым купанием они играют в мяч в портике или на специальных площадках. Потом идут в театр рассеяться. Они закусьвают под деревьями и думают о втором купании. К тому времени, как баня готова, еда уже переварена. После второго купания они идут в один из перистилей, чтобы послушать, как читает стихи какой-нибудь новомодный поэт, или в библиотеку — подремать над сочинениями старинных писателей. А там приходит время ужина, в котором они тоже видят лишь добавление к бане; после этого они купаются в третий раз, считая баню лучшим местом для беседы с друзьями.

— Клянусь Геркулесом, у них есть подражатели и в Помпеях!

Да, но это не оправдание. Заядлые любители римских бань счастливы. Они не замечают ничего, кроме блеска и великолепия; они не заходят в бедные кварталы города; не знают, что на свете есть нищета. Весь мир им улыбается, хмурясь лишь напоследок, когда они отправляются купаться в Коците.³⁷ Вот они каковы, настоящие философы.

Пока Главк говорил все это, Лепид, зажмурившись и едва дыша, подвергался таинственным процедурам, не позволяя своим рабам пропустить ни одной. После благовоний и притираний его посыпали специальным порошком, чтобы тело больше не разогревалось, а когда этот порошок стерли гладким куском пемзы, он начал одеваться, но не в те одежды, которые снял, а в более нарядные, которые римляне надевают из уважения к предстоящей церемонии ужина, хотя по времени (ужинали они в три часа дня), пожалуй, правильнее будет назвать его обедом. Одевшись, он наконец открыл глаза и глубоко вздохнул, словно возвращаясь к жизни.

В то же время ожил и Саллюстий, протяжно зевнув.

— Пора ужинать, — сказал этот эпикуреец. — Главк и Лепид, пойдемте ужинать ко мне.

— Не забудьте, что я приглашаю вас к себе на будущей неделе! — воскликнул Диомед, который очень гордился знакомством с этими блестящими молодыми людьми.

³⁷ К о ц и т — одна из мифических рек подземного царства теней.

— Как же, не забудем, — отвечал Саллюстий. — Память, мой милый Диомед, без сомнения, помещается в желудке.

Они вышли на улицу, где было прохладнее.

ГЛАВА VIII

Арбак плутует и выигрывает.

Над шумным городом уже опустился вечер, когда Апекид направился к дому египтянина. Он избегал ярко освещенных людных улиц и шел, понурившись и спрятав руки под одеждой, резко выделяясь своим изможденным видом и торжественным выражением лица среди беззаботных и веселых прохожих.

Однако какой-то серьезный и степенный человек дважды неуверенно приближался к нему, а потом наконец коснулся его плеча.

— Апекид! — сказал он и сделал быстрый знак рукой — это было крестное знамение.

— А, назарянин! — сказал жрец и еще больше побледнел. — Чего тебе?

— Я не хочу прерывать твои размышления, — сказал незнакомец. — Но, когда мы виделись в прошлый раз, ты, мне кажется, не избегал меня, как сегодня.

— Я не избегаю тебя, Олинф, но я измучен, удручен и не могу сейчас разговаривать о том, что тебя интересует.

— О заблудшая душа! — сказал Олинф с горечью. — Ты измучен и удручен, а хочешь отвернуться от освежающего и целительного источника!

— Мать Земля! — воскликнул молодой жрец, прижимая руку к груди. — Где же откроется моим глазам истинный Олимп, на котором живут боги? Должен ли я разделить веру этого человека, поверить, что боги, которым мои предки поклонялись столько веков, — ничто? Должен ли я отринуть, как нечестивую скверну, те алтари, которые были для меня священны? Или же я должен следовать за Арбаком? Как мне быть?

Он умолк и быстро пошел вперед, как будто хотел убежать от самого себя. Но назарянин был из тех упорных, горячих и целеустремленных людей, с помощью которых религия во все времена производила перевороты, утверждая новую веру или изменяя старую.

Поэтому Олинф не дал Апекиду уйти так легко. Он снова настиг его и сказал:

— Нет ничего удивительного в том, Апекид, что я причиняю тебе страдания, потрясаю самые основы твоего разума и ты теряешься в сомнениях и носишься по безбрежному океану неверной, омраченной мысли. Я не удивляюсь этому. Но побудь со мной немного; бодрствуй, молись, и тьма рассеется, буря утихнет, и сам господь, как некогда по водам моря Галилейского, пройдет по присмирившей пучине, неся спасение твоей душе. Наша религия требует отречения, но она щедро воздает за это. Часы терзаний позволят тебе обрести вечное бессмертие.

— Такими посулами, — сказал Апекид угрюмо, — испокон веку дурачат людей. О, какие заманчивые обещания привели меня в храм Исиды!

— Но спроси у своего разума, — возразил назарянин, — может ли быть истинной религия, которая надругалась над чистотой? Тебя учат почитать ваших богов. Но что это за боги, даже если послушать вас самих? Каковы их деяния, их достоинства? Разве их не изображают как самых ужасных преступников? И все же тебе велят служить им, как святыням. Сам Юпитер — отцеубийца. Вам не велят убивать, но вы почитаете убийцу. Что это, как не насмешка над верой, над самым святым в человеке? Обратись же к единому, истинному богу, в святилище которого я тебя введу. Суровая чистота соединилась в нем с нежной любовью. Даже будь он простым смертным, он все равно был бы достоин стать богом. Вы чтите Сократа — у него есть свои ученики, своя школа. Но как сомнительны добродетели этого афинянина перед светлой, неоспоримой, действенной, непреходящей святостью Христа! Я говорю не только о его человеческом облике. Он принял этот облик как знамение для будущих веков, чтобы явить нам воплощение добродетели, узреть которое

жаждал Платон. Христос принес людям подлинную жертву; нимб, окруживший его чело в смертный час, не только озарил землю, но открыл нашему взору небо! Я вижу, ты тронут, ты взволнован. Бог проник в твое сердце. Дух божий осенил тебя. Идем же, не противясь священному порыву, иди сейчас же, не колеблясь. Немногие из верных уже собрались, чтобы истолковать слово божие. Я отведу тебя к ним. Ты измучен, удручен. Внемли же словам бога: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».

— Не могу, — сказал Апекид. — В другой раз.

— Нет, сейчас же! — торжественно воскликнул Олиф и схватил его за руку.

Но Апекид, еще не готовый отречься от прежней своей веры, от той жизни, ради которой он стольким пожертвовал, помня заманчивые посулы египтянина, вырвал руку и, чувствуя, что необходимо усилие, чтобы преодолеть нерешительность, которую красноречие христианина вселило в его взволнованный и мятущийся ум, подобрал свои одежды и побежал так быстро, что преследовать его было бесполезно.

Задыхаясь от усталости, добрался он наконец до окраины города и увидел одинокий дом египтянина. Когда он остановился, чтобы отдышаться, из-за серебристого облака показалась полная луна.

Поблизости не было больше ни одного дома. Мрачные лозы прикрывали фасад, а позади поднимался целый лес высоких деревьев, спавших в печальном свете луны; еще дальше виднелись туманные очертания гор, и среди них — мрачная вершина Везувия, в то время еще не такая высокая, какой видит, ее современный путешественник.

Апекид прошел под аркой, увитой виноградом, и очутился в широком и просторном портике. Перед портиком, по обе стороны лестницы, замерли египетские сфинксы, и лунный свет делал еще более торжественным спокойствие этих огромных, гармоничных и бесстрастных изваяний, в которых древняя мудрость скульпторов соединила красоту с благоговением; над лестницей зеленели темные массивные листья алоэ, и восточная пальма бросала тень своих длинных и недвижных листьев на мраморные ступени. Эта тишина и таинственное обличье сфинксов вселили в жреца непонятный и непреодолимый ужас, кровь застыла у него в жилах, и, переступая порог, он жаждал услышать хотя бы звук собственных шагов. Он постучал в дверь, над которой была надпись на неизвестном ему языке. Дверь бесшумно отворилась, и раб, высокий эфиоп, ни о чем не спросив и не поздоровавшись, знаком пригласил его войти.

Просторный атрий был освещен высокими бронзовыми светильниками, а стены покрывали крупные иероглифы, начертанные темными, мрачными красками, столь не похожие на яркую и изящную роспись, которой жители Италии украшали свои жилища. В конце атрия другой раб, который хоть и не был африканцем, но казался гораздо темнее смуглых южан, вышел ему навстречу.

— Я пришел к Арбаку, — сказал жрец и сам услышал, как дрожит его голос.

Раб молча склонил голову и, проведя Апекида в Гипсовое крыло дома, проводил его вверх по узкой лестнице, а потом через несколько покоев, в которых царил такое же суровое величие, как и в портике. Наконец Апекид очутился в темной, плохо освещенной комнате, где его ждал египтянин.

Арбак сидел у столика, на котором лежало несколько свитков папируса, исписанного такими же значками, какие были начертаны над входом. Чуть поодаль стоял небольшой треножник, над которым поднимался дымок благовонных курений. Рядом находился большой шар со знаками зодиака, а на другом столике лежало несколько инструментов странной и причудливой формы, назначение которых было Лпекиду неизвестно. Дальний конец комнаты был скрыт занавесью, а через длинное окно в крыше проникал свет луны, печально смешиваясь со светом единственного светильника.

— Садись, Апекид, — сказал египтянин.

Юноша повиновался.

— Ты спрашиваешь меня, — заговорил Арбак после недолгого молчания, во время которого он, казалось, был погружен в раздумье, — ты спрашиваешь или спросишь о самых

могущественных тайнах, какие способен постичь человеческий ум; ты хочешь, чтобы я разрешил загадку самой жизни. Мы, как дети, блуждаем в темноте, и лишь на краткий миг в этом печальном и кратком нашем существовании видим свои тени во мраке; наши мысли то погружаются в крошечную тьму, пытаюсь проникнуть в самую глубь, то в страхе возвращаются назад; мы беспомощно шарим вокруг, боясь в слепоте своей натолкнуться на какую-нибудь скрытую опасность; мы не знаем пределов, нас ограничивающих, они то душат нас, то широко раздвигаются и исчезают в вечности. А раз так, вся мудрость неизбежно сводится к решению двух вопросов: «Во что мы должны верить?» и «Что мы должны отвергнуть?» На эти вопросы хочешь ты получить ответ?

Апекид кивнул.

— Слушай же. Ты не забыл наш сегодняшний разговор?

— Как мог я его забыть!

— Я открыл тебе, что те божества, которым курится фимиам над столькими алтарями, вымышлены. Открыл, что наши обряды и ритуалы — лишь комедия, чтобы обмануть толпу ради ее же блага. Я объяснил тебе, что на этом обмане зиждется цельность общества, гармония мира, власть мудрых; основа этой власти — повиновение толпы. И мы поддерживаем этот благодетельный обман — уж если люди должны верить во что-то, пусть верят в то, чему научили их любить отцы и что освящено традицией. Мы, чьи натуры слишком одухотворены для такой грубой веры, стремимся найти для себя нечто более утонченное; но оставим же другим ту опору, которую сами разрушили. Это мудро, это великодушно.

— Продолжай.

— Сделав это, сохранив старые устои для тех, кого мы намерены покинуть, препояшем чресла и отправимся в иные сферы. Выбрось из памяти, забудь все, во что ты верил раньше. Будем считать, что твой ум чист, как неисписанный свиток. Огляди мир, присмотри к его порядку, его законам, его устройству. Что-то должно было его создать — раз есть устройство, значит, был и устроитель: эта уверенность дает нам возможность ступить на твердую почву. Но кто же он? Бог, скажешь ты. Постой, не будем судить поспешно. О силе, создавшей мир, мы знаем только, что она могущественна, непреложна и безразлична к людским судьбам. Люди придумали бога и решили, что он милостив. Откуда же тогда появилось зло? Почему бог допустил. . мало того — создал и увековечил зло? Для того чтобы оправдать это, персы выдумали второго, злого духа. Да и наш египетский Тифон, в сущности, тот же злой демон. Неведомую силу мы превращаем в некое существо и даем незримому признаки и характер зримого. Нет, нужно назвать ее именем, которое не будет нас пугать, и тогда тайна прояснится. Имя это — Необходимость. Необходимость, говорят греки, повелевает богами. Тогда зачем же боги? Они уже ни к чему, откажемся от них сразу. Необходимость правит всем, что нас окружает. Но оставим эту древнюю, невидимую, непостижимую силу и обратимся к той, которая ей подчинена и которую мы, люди, можем узнать и постичь. Имя ей — Природа. Ошибка мудрецов была в том, что они всегда стремились исследовать Необходимость, где все — непроглядная тьма. Если б они ограничили свои исследования Природой, у нее уже давно не было бы от них тайн. Здесь терпеливые наблюдения никогда не остаются без награды. Я исследую землю, воздух, океан, небо и нахожу, что все это таинственным образом связано одно с другим, что луна вызывает приливы и отливы, что воздух повсюду окружает землю, что, изучая звезды, мы измеряем пределы земли, что время делится на эпохи, что бледный свет звезд позволяет нам проникнуть в бездну прошлого, что по ним можно угадывать будущее, — следовательно, не зная, что представляет собой сама Необходимость, мы видим, по крайней мере, то, что ею обусловлено. К какому же выводу приводит нас эта религия (ибо это не что иное, как религия)? Я верую в два божества: Природу и Необходимость. Первую я исследую, перед второй благоговею. Каков же вывод? Все в мире подчинено общим законам; свет солнца радует многих и может принести горе немногим; ночь несет большинству сон, но под ее покровом прячется не только покой, но и убийство; леса украшают землю, но в них

скрываются змеи и львы; океан несет на себе тысячи судов, но поглощает одно. Только для общего, а не для всеобщего блага творит Природа и свершает свой роковой путь Необходимость. Я хочу сохранить обман, к которому прибегают жрецы, потому что он полезен для большинства; я хочу дать людям гармонию искусства, которую открываю, науки, которые совершенствую; я ускоряю приход просвещающего знания — этим я служу людям, выполняю общий закон, приближаюсь к великой цели, которую ставит Природа. Для себя я требую исключительного положения. Я требую его для всех мудрых. Я даю миру мудрость, а себе — свободу. Я озаряю жизнь другим и сам наслаждаюсь ею. Да, наша мудрость вечна, но жизнь коротка, так изведай все, что она может дать. Посвяти свою молодость удовольствиям, Свои чувства — наслаждению. Близок час, когда чаша с вином будет разбита и венки увянут. Будь спокоен, Апекид, мой ученик и последователь! Я открою тебе механизм Природы, ее самые глубокие и страшные секреты, я обучу тебя науке, которую глупцы называют магией, и могучим тайнам звезд. Благодаря этому ты исполнишь свой долг перед людьми. Но я поведу тебя и к наслаждениям, о которых чернь даже не мечтает; день, который ты посвятишь людям, сменит ночь, которую ты посвятишь себе.

Едва египтянин умолк, со всех сторон, сверху, снизу полилась нежнейшая музыка, рожденная в Лидии и достигшая совершенства в Ионии.³⁸ Поток звуков захлестнул все чувства; он обессиливал, покорял своей красотой. Казалось, то были напевы невидимых духов, которые мог бы услышать в золотой век пастух где-нибудь среди долин Фессалии или полуденных лужаек близ Пафоса. Слова, которые готовы были сорваться с губ Апекида, замерли. Ему казалось кощунством нарушить это очарование. Его впечатлительность, его греческая мягкость и тайный пыл его души взяли верх. Он откинулся на своем сиденье, жадно внимая, а хор пел нежную и сладостную песнь...

КНИГА ВТОРАЯ

ГЛАВА I

Помпейские трущобы и герои арены

А теперь направимся в один из тех кварталов, которые были населены не знатными ценителями удовольствий, а их орудиями и жертвами: здесь обитали гладиаторы и призовые бойцы, злодеи и бедняки, жестокие и бессовестные, это были трущобы древнего города.

На узкой, но людной улице стоял большой дом. У дверей его собралась толпа, чьи железные мускулы, короткие и могучие, как у Геркулеса, шеи, суровые и смелые лица выдавали героев арены. Снаружи, на большой полке, стояли рядами сосуды с вином и маслом, а прямо над ней, на стене, было грубое изображение пьющего гладиатора — вот как давно существуют вывески. Внутри стояло несколько столиков, разделенных перегородками. За столиками сидели люди: одни пили, другие играли в кости или в более сложную игру, которую некоторые из ученых ошибочно принимают за шахматы. Было утро, и столь необычное для посещения таверны время свидетельствовало, что эти люди томятся от безделья. И все же, хотя дом был расположен среди трущоб, здесь не было и следов той грязи, которую мы нашли бы в современном городе. Веселый нрав помпейских граждан, которые не всегда слушались разума, но неизменно услаждали свои чувства, выразился в яркой росписи стен и в фантастической, но не лишенной изящества форме светильников, чаш и всякой хозяйственной утвари.

³⁸ Колыбелью греческой музыки была Малая Азия, западное побережье которой с прилежащими островами (Иониию) населяли греки. Музыкальное искусство они переняли у своих иноплеменных соседей — лидийцев и фригийцев.

— Клянусь Поллуксом, — сказал один из гладиаторов, прислонившись к стене у двери, — вино, которым ты нас поишь, старик Силен, — с этими словами он хлопнул тучного человека по спине, — может разжижить всю кровь в жилах!

Человек, которого он так ласково приветствовал (засученные рукава, белый фартук, ключи и салфетка, небрежно заткнутая за пояс, показывали, что он хозяин таверны), уже достиг почтенных лет, но он был еще такой крепкий, что мог бы посрамить окружавших его силачей, хотя мускулы у него заплыли жиром, щеки обвисли, а растущее брюхо выдавалось вперед под могучей, широкой грудью.

— Не лезь ко мне, грубиян! — проворчал гигант, и голос его был похож на глухой рык рассерженного тигра. — Мое вино отлично сойдет для трупа, который скоро будет валяться в сполиарии.

— Каркай, каркай, старый ворон! — сказал гладиатор с презрительным смехом. — Ты еще удавишься со злости, когда увидишь, как я получу пальмовый веночек; а когда я возьму приз в амфитеатре, в чем не может быть сомнений, то первым делом поклянусь Геркулесу никогда не брать в рот твое мерзкое пойло!

— Только послушайте его! Послушайте этого скромного Пиргополиника! Ясное дело, он служил под началом Бомбохида Клитоместоридисархида!³⁹ — воскликнул хозяин. — Нигер, Спор, Тетраид, он хвастает, что отберет у вас приз. Клянусь богами, каждый из вас одной рукой может его придушить, или я ничего не смыслю в этом деле!

— Ладно! — сказал гладиатор, багровея от гнева. — Ланиста рассудил бы по-иному.

— Как может он рассудить против меня, наглый Лидон? — сказал Тетраид, нахмурившись.

— И против меня, который победил в пятнадцати поединках! — сказал гигант Нигер, подходя к гладиатору.

— И меня! — проворчал Спор, сверкнув глазами.

— Тьфу! — сказал Лидон, скрестив руки на груди и вызывающе глядя на своих соперников. — Игры скоро начнутся. Поберегите свою храбрость до тех пор.

— Правильно, — сказал угрюмый хозяин. — И, если я прижму большой палец, чтобы тебя помиловали, пусть Парки перережут нить моей жизни!⁴⁰

— Веревку, а не нить, хочешь ты сказать, — заметил Лидон насмешливо. — Вот тебе сестерций, купи себе веревку и удавись.

Титан-виноторговец схватил протянутую руку и так стиснул ее, что кровь брызнула из кончиков пальцев на одежды окружающих.

Все разразились хохотом.

— Я научу тебя, желторотый хвастун, разыгрывать передо мной героя! Я не какой-нибудь хилый перс, уж будь уверен. Как! Разве я не выступал на арене двадцать лет без единого поражения? Разве не получил я жезл из рук самого эдителя в знак победы и права почивать на лаврах!⁴¹ А теперь мальчишка будет меня учить?! — Сказав это, он с презрением отшвырнул руку Лидона.

³⁹ Пиргополиник (то есть «покоритель башен и городов») — герой комедии Плавта «Хвастливый воин». В начале пьесы он сообщает, что его начальником в битве при Червивых полях был Бомбохид Клитоместоридисарх и д. Это удивительное имя можно примерно перевести так: «Шумный хвастун Прославленный вождь Дрянной начальник».

⁴⁰ Раненый гладиатор мог просить у народа пощады, и в знак согласия зрители поднимали правый кулак, прижимая большой палец к остальным, а в знак отказа поворачивали вытянутый большой палец вниз.

⁴¹ Отличившиеся на арене получали по требованию зрителей особый жезл из рук хозяина (ланисты) или эдителя (устроителя игр, который нанимал гладиаторов). Этот почетный дар освобождал гладиатора от обязанности продолжать выступления в амфитеатре, но полной свободы награжденному все же не приносил (большинство гладиаторов были рабами).

Ни один мускул не дрогнул на лице гладиатора — с той же улыбкой, с какой он до этого насмеялся над хозяином, юноша стойко выдержал боль. Но, едва гигант выпустил его руку, он сразу весь подобрался, как тигр перед прыжком, волосы у него встали дыбом, и он с громким, яростным криком бросился на хозяина, который, хоть и был огромен, потерял равновесие и грохнулся на землю с таким шумом, словно скала рухнула, а рассвирепевший противник упал на него.

Еще несколько минут — и хозяину, пожалуй, не понадобилась бы и веревка, которую так любезно предлагал ему Лидон. Но, услышав шум, на помощь прибежала женщина, которая до тех пор была в доме. Эта новая противница была достойна гладиатора: рослая, сухощавая, с руками, способными на объятия отнюдь не ласковые. И неудивительно: нежная подруга виноторговца Бурдона некогда, как и он, сражалась на арене и выступала даже в присутствии самого императора. Говорили, что сам Бурдон, непобедимый на поле битвы, нередко уступал пальму первенства своей милой Стратонике. Едва это «нежное» создание увидело, какая опасность грозит ее худшей половине, она, не имея иного оружия, кроме того, которым снабдила ее природа, накинулась на гладиатора и, обхватив его вокруг пояса длинными, как змеи, руками, внезапным рывком оторвала от тела своего мужа, хотя гладиатор по-прежнему сжимал горло Бурдона. Так иногда какой-нибудь злобный конюх хватается за задние ноги пса и оттаскивает его от поверженного врага, и пес, поднятый на воздух, бессильный, все еще тянется к ненавистному горлу. Тем временем гладиаторы, радостные, довольные, возбужденные видом крови, столпились вокруг дерущихся; ноздри их раздувались, губы кривились в усмешке, глаза были прикованы к окровавленному горлу одного и стиснутым пальцам другого.

— Готов! Готов! — завопили они, взволнованно потирая руки.

— Врете! Какое там «готов»! — вскричал хозяин, могучим усилием освободился от железной хватки и вскочил на ноги, задыхаясь, растерзанный, весь в крови; его выпученные глаза встретили сверкающий взгляд врага, который вырывался — но уже презрительно кривя губы — из рук могучей амазонки.

— Честный поединок! — кричали гладиаторы. — Один на один!

Столпившись вокруг Лидона и женщины, они оттеснили любезного хозяина от учтивого гостя.

Тут Лидон, который стыдился своего беспомощного положения и тщетно пытался стряхнуть с себя разъяренную фурию, выхватил из-за пояса короткий кинжал. Таким угрожающим был его взгляд, так ярко сверкал клинок, что Стратоника, привыкшая лишь к борьбе, которую мы теперь называем кулачным боем, в страхе попятилась.

— О боги! — вскричала она. — Негодяй! Он скрыл оружие! Разве это честно? Разве так поступает настоящий гладиатор? Презираю таких трусов!

С этими словами она повернулась к гладиатору спиной и с беспокойством взглянула на своего мужа.

Но он, привычный к подобным схваткам, быстро оправился. Лицо его уже не было таким багровым, жилы не вздувались на лбу. Он встряхнулся с довольным ворчанием, радуясь, что остался жив, а потом одобрительно оглядел своего противника с головы до ног.

— Клянусь Кастором, — сказал он, — ты сильнее, чем я думал! Я вижу теперь, что ты достойный боец. Дай же мне руку, герой!

— Молодчина, старик Бурдон! — закричали гладиаторы и захлопали. — Тверд как кремень. Дай ему руку, Лидон!

— Охотно, — сказал гладиатор. — Но теперь, отведав его крови, я жажду выпить ее всю до капли.

— Клянусь Геркулесом, — воскликнул хозяин, — вот желание, достойное гладиатора. О Поллукс! Подумать только, чему можно выучить человека! Даже зверь не бывает свирепее!

— Зверь! Глупости! Куда до нас зверям! — воскликнул Тетраид.

— Ладно, — сказала Стратоника, поправляя волосы и одежду. — Раз вы помирились,

то нечего шуметь, сидите тихо. Благородные молодые люди, ваши покровители, прислали сказать, что придут сюда посмотреть на вас; они хотят познакомиться с вами получше здесь, а не в школах, прежде чем ставить на вас деньги перед большим состязанием на арене амфитеатра. Они всегда приходят для этого к нам: знают, что мы пускаем сюда только самых лучших гладиаторов города, — хвала богам, у нас здесь избранное общество!

— Да, — сказал Бурдон, выпивая чашу или, вернее, целое ведро вина, — человек, который стяжал такие лавры, как я, умеет ценить храбрость. Лидон, мой мальчик, пей; да будут тебя в старости уважать также, как меня!

— Поди сюда, — сказала Стратоника, любовно притягивая к себе мужа за уши (эту ласку так хорошо описал Тибулл). — Поди сюда!

— Полегче, ты, волчица! Ведь ты хуже гладиатора! — проворчал Бурдон, разевая свою огромную пасть.

— Тс! — шепнула она ему. — Кален только что потихоньку вошел через заднюю дверь. Надеюсь, он принес сестерции.

— Хо-хо! Пойду скорей к нему, — сказал Бурдон. — А ты тем временем хорошенько смотри за чашами, веди счет. Не давай себя обмануть, жена; они, конечно, герои, но при этом отъявленные мошенники: сам Как⁴² — щенок по сравнению с ними.

— Не бойся, дурак! — отвечала супруга.

И Бурдон, довольный этим нежным заверением, прошел в заднюю комнату.

— Значит, эти покровители придут взглянуть на наши мускулы, — сказал Нигер. — А кто предупредил тебя, хозяйюшка?

— Лепид. Он приведет Клодия, который никогда не проигрывает, и молодого грека Главка.

— Давайте поспорим и мы! — воскликнул Тетраид. — Клодий поставит на меня двадцать тысяч сестерциев. Что скажешь, Лидон?

— Он поставит на меня! — сказал Лидон.

— Нет, на меня, — сказал Спор.

— Дурачье! Неужели вы думаете, что он предпочтет кого-нибудь из вас Нигеру? — сказал великан с присущей ему скромностью.

— Будет вам, — вмешалась Стратоника, открывая большую амфору, а гости тем временем уселись за один из столов. — Раз вы все считаете себя такими знаменитыми и храбрыми, почему бы вам не сразиться с нумидийским львом, если не найдется преступник?

— После того как я избегнул твоих рук, могучая Стратоника, — сказал Лидон, — мне не страшно сразиться и со львом.

— А скажи-ка, — спросил Тетраид, — где твоя красавица рабыня — та слепая девушка с блестящими глазами? Ее что-то давно не видно.

— Она слишком хороша для тебя, грубиян, — отвечала хозяйка. — И даже для нас самих. Мы посылаем ее в город продавать цветы и петь для благородных дам; так она зарабатывает больше денег, чем если бы прислуживала здесь. Кроме того, у нее есть другие занятия.

— Но послушай, Стратоника, — сказал Лидон, — откуда у тебя такая нежная и красивая рабыня? Она скорей годится в служанки какой-нибудь богатой римской матроне.

— Это правда, — согласилась Стратоника. — Когда-нибудь я продам ее и разбогатею. Ты спрашиваешь, как попала ко мне Нидия?

— Да.

— Понимаешь, моя рабыня Стафила... ты помнишь Стафилу, Нигер?

— А, ту девку со здоровенными ручищами и рожей, точно маска у актера из комедии? Да как мне забыть ее, клянусь Плутоном, которому она теперь, конечно, прислуживает!

— Тьфу, скотина! Так вот, Стафила умерла, и это было для меня разорением. Я пошла

⁴² Как — сын бога огня Вулкана; великан и жестокий разбойник.

на рынок купить новую рабыню. Но, клянусь богами, они так вздорожали, с тех пор как я купила бедняжку Стафилу, а денег меня было так мало, что я уже хотела уйти ни с чем, как вдруг один торговец схватил меня за полу. «Госпожа, говорит, хочешь задешево купить рабыню? У меня есть девочка. Ну как, по рукам? Правда, она совсем еще маленькая, но проворная, тихая и смышленная, недурно поет и, можешь мне поверить, из хорошего рода». «Откуда же она?» — спрашиваю. «Из Фессалии». Ну, я знаю, что фессалийцы все смышленные и послушные, вот я и решила поглядеть на девочку. Она была почти такая же, как сейчас, только ростом чуть поменьше. С виду смиренная и тихая, руки сложила на груди, глаза потупила. Я справилась о цене. Он запросил недорого; ну, я «разу и купила ее. Торговец привел ее ко мне домой и тут же как сквозь землю провалился. Да, друзья, представьте себе мое удивление, когда я увидела, что она слепая! Ха-ха-ха! Хитрец этот торговец. Я сразу побежала к судье, но негодяй уже скрылся из города. Пришлось мне вернуться ни с чем. Я разозлилась, и бедной девочке в тот день крепко досталось. Но не ее вина, что она слепая, такой уж она родилась. Понемногу мы с этим примирились. Конечно, она не такая сильная, как Стафила, и в доме пользы от нее мало, но она скоро научилась находить дорогу в город так хорошо, как будто у нее сто глаз, как у Аргуса; и когда в одно утро она принесла нам пригоршню монет, которые выручила за цветы из нашего захудалого садика, мы решили, что сами боги послали ее нам. С того времени мы разрешаем ей уходить, когда она хочет, и даем ей полную корзинку цветов, из которых она плетет венки на фессалийский манер — это нравится щеголям, да и сама она, видать, нравится знатным людям, потому что они всегда платят ей больше, чем другим цветочницам, и она все несет домой, а этого никакой другой раб не сделает. Так что здесь я пока управляюсь сама, но скоро смогу купить на вырученные ею деньги вторую Стафилу. Тот фессалиец, конечно, похитил слепую девочку у благородных родителей. Она не только искусно плетет венки, но еще поет и играет на кифаре, а это тоже заработок. А недавно... Но это уже тайна.

— Как! Тайны и загадки? — закричал Лидон. — Ты что, сфинсом⁴³ стала?

— Нет, почему же сфинсом?

— Хватит тебе болтать, хозяйка, принеси-ка мяса, я голоден, — сказал Спор нетерпеливо.

— И я тоже, — подхватил мрачный Нигер, обтирая ладонью свой нож.

Амазонка ушла на кухню и скоро вернулась с подносом, на котором лежали большие куски полусырого мяса — в те времена, как и теперь, бойцы воображали, что это придает храбрость и мужество. Они столпились вокруг стола, сверкая глазами, как голодные волки. Мясо быстро исчезло, и вино потекло рекой. А теперь покинем этих людей, игравших в жизни древних столь важную роль, и последуем за Бурдоном.

ГЛАВА II

Два достойных мужа.

На заре истории Древнего Рима жречество было занятием не прибыльным, а почетным. Жрецами становились самые благородные граждане, плебеям же доступ в их среду был закрыт. Позднее, но еще задолго до того времени, о котором идет речь здесь, доступ в жреческое сословие был открыт для всех, — во всяком случае, когда дело касалось не высоких жреческих должностей, а служения отдельным богам. Даже жрец Юпитера, предшествуемый ликтором и имевший доступ в Сенат, лишь сначала был из патрициев, а впоследствии его стал избирать народ. Менее древним и почитаемым богам обычно служили жрецы из плебеев; и многие шли в жрецы, как теперь католики идут в монахи: не из

⁴³ Мифическое чудовище Сфинкс (что значит по-гречески «Душительница») загадывало загадку каждому путнику, проходившему мимо скалы, где оно обитало; все, кто не мог ответить, были обречены на гибель.

религиозных побуждений, а по расчету, вынуждаемые бедностью. Кален, жрец Исиды, был самого низкого происхождения. Его предки, правда дальние, были рабами. Он получил не слишком строгое воспитание и унаследовал после отца небольшое состояние, которое вскоре промотал. С отчаяния он стал жрецом. И, хотя доходы этой священной профессии в те времена, по-видимому, были невелики, жрецы часто посещаемых храмов все же не могли пожаловаться на заработки. Нет более доходного занятия, чем наживаться на суевериях толпы.

У Калена остался в Помпеях только один родственник — Бурдон. Темные и грязные узы, которые были еще крепче кровных, соединяли их. Жрец Исиды, переодетый, нередко тайком покидал свой храм, где якобы вел строгую и суровую жизнь, проскальзывал в заднюю дверь дома бывшего гладиатора, стяжавшего недобрую славу, и с радостью сбрасывал с себя неудобную маску, ибо лишь главная страсть этого человека, жадность, побуждала его притворяться добродетельным.

Завернувшись в широкий плащ, какие вошли в употребление у римлян, когда они перестали носить тогу — его широкие складки совсем скрадывали фигуру, а своего рода капюшон так же надежно скрывал лицо, — Кален сидел теперь в камерке при винном погребе, куда, как почти во всех домах в Помпеях, вел узкий коридор от задней двери.

Напротив него, за столиком, сидел великан Бурдон, тщательно пересчитывая монеты, которые жрец только что высыпал горкой из кошелька — кошельки тогда были так же распространены, как теперь, с той только разницей, что они были гораздо красивее.

— Видишь, — сказал Кален, — мы хорошо тебе платим, и ты должен быть благодарен мне за то, что я нашел такое выгодное дельце.

— Я благодарен тебе, брат мой, — отвечал Бурдон, любовно ссыпая монеты в кожаный кошель, который он тут же спрятал за пояс и затянул пряжку на толстом брюхе ту же обычного. — И клянусь Исидой, Крысидой и Мышидой или какие там еще боги есть в Египте, моя крошка Нидия — настоящая Гесперида, хранительница золотых яблок.

— Она хорошо поет и играет, как Муза, — сказал Кален. — За эти таланты мой хозяин охотно платит.

— Да он просто бог! — вскричал Бурдон с жаром. — Всякий богатый человек за щедрость должен быть причислен к богам. Но выпей вина, старый дружище, и расскажи обо всем подробнее. Что она там делает? Она напугана, говорит, что дала страшную клятву, и молчит, как воды в рот набрала, от нее ничего не добьешься.

— И от меня, клянусь своей правой рукой! Я тоже дал клятву молчать.

— Клятву! Что такое клятвы для нас с тобой?

— Это верно, обычные клятвы — ничто. Но эта... — И здоровенный жрец содрогнулся. — И все же, — продолжал он, осушив большую чашу неразбавленного вина, — признаюсь, я не столько боюсь нарушить клятву, сколько опасуюсь мести. Клянусь богами, этот человек могучий чародей и выпытает все даже у луны, вздумай я ей проболтаться. Не будем же больше говорить об этом. Клянусь Поллуксом, хотя у него на пирах чего только не бывает, скажу тебе, я никогда не чувствую себя там свободно. Хоть все стены тут и в копоты, те часы, которые я провожу с тобой и какой-нибудь простой, немудрящей веселой девушкой, из тех, что приходят сюда, мне гораздо больше по душе, чем великолепные оргии, которые тянутся до утра.

— Ну, если так, сделай одолжение, приходи завтра вечером, и мы славно кутнем.

— С удовольствием, — сказал жрец, потирая руки и пододвигаясь ближе к столу.

В этот миг они услышали за дверью шорох, словно кто-то нащупывал ручку. Жрец поспешно надвинул на лицо капюшон.

— Тьфу! Да ведь это слепая девчонка, — сказал хозяин шепотом, когда Нидия открыла дверь и вошла.

— Эй! Девка! Как ты смеешь... постой, ты бледна — допоздна была на пиру? Ну, не беда, молодо-зелено, — сказал Бурдон.

Девушка, ничего не ответив, в изнеможении упала на одну из скамей. Потом вдруг

подняла голову и сказала решительно:

— Хозяин, можешь морить меня голодом или бить, но даже под страхом смерти я не пойду больше в этот нечестивый дом.

— Молчи, дура! — взревел Бурдон и сдвинул косматые брови, низко нависшие над свирепыми, налитыми кровью глазами. — Ты что, не слушаться? Гляди у меня!

— Ты слышал, что я сказала, — проговорила бедняжка и скрестила на груди руки.

— Как! Моя скромница, моя нежная весталка, значит, ты не пойдешь туда? Ладно же, тебя поведут силой.

— Я подниму криками весь город, — сказала она решительно и покраснела до корней волос.

— Мы и об этом позаботимся — тебе заткнут рот.

— Тогда, да помогут мне боги, — сказала Нидия, вставая, — я буду жаловаться властям.

— Помни о клятве, — раздался глухой голос. Это Кален в первый раз вмешался в разговор.

Услышав его, бедная девушка затрепетала; она умоляюще сложила руки.

— Ах я несчастная! — воскликнула она и зарыдала.

Как видно, эти горестные звуки привлекли Стратонику, потому что в тот же миг ее грозная фигура появилась в дверях.

— Отчего шум? Что сделал ты с моей рабыней, негодяй? — сердито спросила она Бурдона.

— Помолчи, жена, — сказал он сердито, хоть и не без робости. — Ты хочешь иметь новые пояса и красивые одежды, не так ли? Тогда умири свою рабыню или тебе долго придется ждать обновок. Да падет гнев богов на голову этой дряни!

— В чем дело? — спросила старая карга, переводя взгляд с мужа на Нидию.

Девушка, которая стояла, прислонившись к стене, бросилась в ноги Стратонике, обхватила ее колени и, глядя вверх своими незрячими, но полными мольбы глазами, воскликнула:

— Добрая хозяйка! Ты женщина, у тебя были сестры, ты была молода, как и я, пожалей, спаси меня! Я не пойду больше на эти ужасные пиры!

— Молчи! — сказала старая карга и, грубо рванув Нидию за нежную руку, способную лишь плести венки, заставила ее встать. — Молчи! Эти чувства не для рабыни!

— Вот, жена, — сказал Бурдон, вынимая кошель и позвякивая монетами. — Слышишь эту музыку? Клянусь Поллуксом, ты больше не услышишь ее, если не взнуздаешь хорошенько эту кобылку.

— Девчонка просто устала, — сказала Стратоника, кивая Калену. — Когда она снова тебе понадобится, то будет не такой строптивой.

— «Тебе!» Кто здесь? — вскричала Нидия, поворачивая голову во все стороны и словно напряженно вглядываясь, так что Кален в испуге привстал.

— Эти глаза видят! — пробормотал он.

— Кто здесь? Отвечай, во имя неба! Ах, будь ты слеп, как я, ты не был бы так жесток! — воскликнула она и снова заплакала.

— Уведи ее, — велел Бурдон жене. — Терпеть не могу, когда скулят!

— Пойдем! — сказала Стратоника, подталкивая бедную девушку к дверям.

Нидия высвободилась с решительностью и достоинством.

— Послушай, — сказала она, — я повиновалась тебе беспрекословно, а ведь я была воспитана... Ах, мама, моя бедная мама! Думала ли ты, что меня ждет такая участь! — Она вытерла глаза и продолжала: — Приказывай что угодно, я буду повиноваться, но говорю тебе: как бы жестока, сурова и непреклонна ты ни была, я больше туда не пойду; а если меня поведут силой, я буду просить защиты у самого претора. Боги свидетели, я клянусь в этом!

Глаза Стратоники сверкнули. Она вцепилась девушке в волосы одной рукой и занесла другую — огромную правую руку, удар которой мог сокрушить хрупкое и нежное тело. Эта

мысль, видимо, пришла в голову ей самой, потому что она удержала руку, потащила Нидию к стене, схватила с крюка веревку, которая часто — увы! — употреблялась для этой цели, и через мгновение пронзительные, жалобные крики слепой девушки огласили дом.

ГЛАВА III

Главк делает покупку, которая дорого ему обойдется.

— Здравствуйте, храбрецы! — сказал Лепид и, наклонив голову, вошел в низкую дверь таверны Бурдона. — Мы пришли посмотреть, кто из вас оказывает больше чести своему ланисте.

Гладиаторы встали, приветствуя трех знатных людей, которые были известны как самые веселые и богатые юноши в Помпеях — ведь от них во многом зависела репутация гладиаторов.

— Каковы звери! — сказал Клодий Главку. — Достойны быть гладиаторами!

— Жаль, что они не воины, — отозвался Главк.

Забавно было видеть, как избалованный и капризный Лепид, который на пиру морщился от малейшего луча дневного света, а в банях оберегался от дуновения ветерка, человек, в котором природа переплела самым нелепым образом все побуждения, соединив в одно сомнительное целое постыдную изнеженность и житейскую ловкость, теперь был весь нетерпение — он хлопал по широким плечам гладиаторов своей белой девической рукой, поглаживал и щупал их железные мускулы, охваченный расчетливым восхищением перед этой мужественностью, которую он всю жизнь старательно вытравлял в себе самом.

— А, Нигер! На чем будешь ты сражаться? И с кем? — спросил Лепид.

— Меня вызвал Спор, — отвечал угрюмый гигант. — Будем драться насмерть.

— Уж это само собой, — проворчал Спор, и его маленькие глазки сверкнули.

— Он возьмет меч, я — сеть и трезубец. Бой будет на диво. Надеюсь, тот, кто останется в живых, получит кругленькую сумму и сможет достойно носить свой венок.

— Будь спокоен, мы не поскупимся, мой Гектор,⁴⁴ — сказал Клодий. — Погоди-ка! Значит, ты сражаешься с Нигером? Главк, я ставлю на Нигера.

— А я что говорил! — воскликнул Нигер с торжеством. — Благородный Клодий меня знает. Считаю, что ты уже мертв, мой милый Спор.

Клодий вынул навощенную табличку.

— Ставлю десять тысяч сестерциев. Что скажешь?

— Принимаю, — сказал Главк. — Но кто еще здесь есть? Я раньше никогда не видел этого героя. — И он посмотрел на Лидона, чьи руки были тоньше, чем у его товарища, а в лице сохранилось изящество и даже благородство, которое его профессия еще не успела стереть.

— Это Лидон, новичок. До сих пор он тренировался только деревянным мечом, — ответил Нигер снисходительно. — Но в жилах у него настоящая кровь — он вызвал Тетраида.

— Нет, Тетраид меня, — поправил Лидон. — А я принял вызов.

— Чем же вы будете сражаться? — спросил Лепид. — На твоём месте, мой мальчик, я не спешил бы сразиться с Тетраидом.

Лидон презрительно улыбнулся.

— Он свободный или раб? — спросил Клодий.

— Свободный. Мы все здесь свободные граждане, — ответил Нигер.

— Дай-ка руку, мой милый Лидон, — сказал Лепид с видом знатока.

⁴⁴ Клодий полушутливо-полупрезрительно называет гладиатора именем главного защитника Трои в десятилетней борьбе греков с троянцами, воспетой Гомером в «Илиаде».

Гладиатор, бросив на своих товарищей многозначительный взгляд, протянул руку, которая хоть и была потоньше, чем у других, но с такими твердыми мускулами и такой красивой формы, что все три гостя издали восторженное восклицание.

— Ну, приятель, каким же оружием вы сражаетесь? — спросил Клодий, держа табличку наготове.

— Сперва будем драться на цестах, а потом, если оба останемся живы, на мечях, — сказал Тетраид угрюмо, бросив на Лидона завистливый взгляд.

— На цестах! — воскликнул Главк. — Ты совершаешь ошибку, Лидон: бой на цестах — греческий обычай, я его хорошо знаю, и тебе надо бы сначала обрасти мясом, ты слишком худ. Откажись от цестов.

— Не могу, — отвечал Лидон.

— Но почему?

— Я же сказал — он меня вызвал.

— Но он не станет непременно требовать цестов.

— Моя честь этого требует! — гордо возразил Лидон.

— Ставлю на Тетраида два против одного на цестах, — сказал Клодий. — Принимаешь, Лепид? И один против одного на мечях.

— Если ты даже предложишь три против одного, я все равно не соглашусь, — сказал Лепид. — Лидон умрет прежде, чем дело дойдет до мечей. Нет уж, благодарю.

— А ты что скажешь, Главк? — спросил Клодий.

— Принимаю — три против одного.

— Тридцать тысяч сестерциев против десяти?

— Идет.

Клодий записал ставки на табличке.

— Прости меня, мой благородный покровитель, — сказал тихо Лидон Главку, — но как ты думаешь, сколько получит победитель?

— Сколько? Ну, вероятно, семь тысяч сестерциев.

— Ты уверен, что не меньше?

— Уверен. Но что я слышу? Грек на твоём месте думал бы о славе, а не о деньгах. О италийцы! Вы всегда и всюду остаетесь италийцами!

На смуглых щеках гладиатора показался румянец.

— Ты несправедлив ко мне, благородный Главк. Я думаю и о славе, но, если б не деньги, я никогда не стал бы гладиатором.

— Презренный! Да падешь ты на арене! Жадному не бывать героем.

— Я не жадный, — сказал Лидон гордо и отошел.

— Но я не вижу Бурдона. Где же он? Мне нужно с ним поговорить! — воскликнул Клодий.

— Он там, — сказал Нигер, указывая на дверь в конце комнаты.

— А Стратоника, наша храбрая старуха, где она? — спросил Лепид.

— Была здесь за минуту перед тем, как вы пришли. Но она услышала какой-то шум и побежала туда. Клянусь Поллуксом, сдаётся мне, старик Бурдон ухватил в задней комнате какую-то девчонку. Я слышал, как она плакала.

— Ха! Вот это здорово! — воскликнул Лепид со смехом.

В этот миг громкий крик боли и страха заставил всех вздрогнуть.

— Пощадите, пощадите, я еще маленькая, я слепая! Неужели вам мало?

— О Паллада! Мне знаком ее голос — это моя бедная цветочница! — воскликнул Главк и бросился на крик.

Он распахнул дверь и увидел, что Нидия извивается в руках разъяренной старухи; веревка, уже окровавленная, вновь была занесена и вдруг повисла в воздухе.

— Фурия! — сказал Главк и вырвал Нидию из рук Стратоники. — Как ты смеешь бить эту девушку, ведь она еще ребенок! Нидия, бедное дитя!

— Ах, это ты, Главк? — воскликнула девушка с радостью; слезы сразу высохли на ее

щеках; она улыбнулась, прильнула к его груди и поцеловала его одежды.

— А как смеешь ты, дерзкий незнакомец, становиться между свободной женщиной и ее рабыней? Клянусь богами, несмотря на твою богатую тунику и благовония, которыми от тебя пахнет, я сомневаюсь даже, римский ли ты гражданин, мой милый!

— Хорошо сказано, хозяйшка, хорошо сказано! — заметил насмешливо Клодий, входя вместе с Лепидом. — Это мой друг и названный брат. Его надо защитить от твоего языка, камни так и сыплются у тебя изо рта.

— Отдай мою рабыню! — заорала сварливая старуха, толкнув грека в грудь могучей рукой.

— Ни за что, даже если все твои сестры фурии слетятся к тебе на помощь, — сказал Главк. — Не бойся, милая Нидия, афиняне никого еще не покидали в беде!

— Эй! — сказал Бурдон, неохотно вставая. — Что за шум из-за какой-то рабыни? Оставь, жена, ради него можно простить дерзкую девчонку.

Говоря это, он отвел или, вернее, оттолкнул свою свирепую супругу в сторону.

— Мне кажется, когда мы вошли, здесь был еще один человек, — сказал Клодий.

— Он ушел.

Жрец Исиды воспользовался благоприятным случаем, чтобы вовремя исчезнуть.

— Это один мой приятель: мы с ним часто выпиваем вместе, он тихий и не любит шума, — сказал Бурдон небрежно. — Ступай же, дитя, ты порвешь тунику господина, если будешь так за него цепляться, ступай, я тебя прощаю.

— О, не покидай меня! — воскликнула Нидия, еще крепче прижимаясь к афинянину.

Тронутый ее горькой судьбой, ее мольбами, ее милой прелестью, грек опустил на одну из грубых скамей. Он целовал Нидию, осушая слезы на ее щеках, шептал ей тысячи утешений, какими успокаивают ребенка. И так красив он был в своем милосердии, что даже злобное сердце Стратоники смягчилось. Его присутствие, казалось, осветило это скверное и грязное логово. Молодой, красивый, блестящий, рядом с девушкой он был как бы символом: счастливцев, которого земля одарила всеми благами, утешает обездоленную.

— Кто бы мог подумать, что наша слепая девчонка удостоится такой чести! — сказала старуха, утирая со лба пот.

Главк повернулся к Бурдону.

— Добрый человек, — сказал он, — это твоя рабыня. Она хорошо поет и умеет ухаживать за цветами. Я хочу подарить ее одной даме. Продай ее мне.

При этих словах он почувствовал, как бедная девушка затрепетала от радости. Она вскочила, откинула с лица растрепанные волосы и огляделась, как будто — увы! — и в самом деле могла видеть.

— Продать нашу Нидию! Ну нет, — сказала Стратоника сердито.

Нидия с глубоким вздохом вся поникла и снова ухватила за тунику своего заступника.

— Вздор! — вмешался Клодий властно. — Вы не посмеете отказать мне. Что это еще за разговоры? Попробуйте оскорбить меня, и вы разорены. Разве ты, Бурдон, не клиент моего родственника Пансы? Разве я не оракул для амфитеатра и для его героев? Довольно мне сказать слово, и можете перебить все свои сосуды с вином — все равно не продадите ни капли. Главк, эта рабыня твоя.

Бурдон поскреб в затылке — он явно был в затруднении.

— Эта девушка мне дороже золота.

— Назови цену, я богат, — сказал Главк.

Древние италийцы все готовы были продать, а тем более бедную слепую девушку — в этом отношении они мало отличались от нынешних итальянцев.

— Я заплатила за нее шесть тысяч сестерциев, а теперь она стоит двенадцать, — пробормотала Стратоника.

— Ты получишь двадцать. Пойдем сейчас же к претору, а потом ко мне за деньгами.

— Я не продал бы нашу дорогую Нидию и за сто тысяч, но мне хочется услужить

благородному Клодию, — сказал Бурдон жалобно. — А ты поговоришь с Пансой насчет места распорядителя на играх, благородный Клодий? Оно как раз по мне.

— Ты его получишь, — сказал Клодий и добавил шепотом — Этот грек может тебя озолотить: деньги сыплются из него, как из сита; отметь этот день белым камешком, мой Приам.⁴⁵

— Что ж, по рукам? — спросил Главк, как обычно при заключении сделки.

— По рукам, — ответил Бурдон.

— Значит... значит, я пойду с тобой? Какое счастье! — прошептала Нидия.

— Да, моя красавица. Отныне самой тяжелой твоей обязанностью будет петь греческие гимны красивейшей женщине в Помпеях.

Девушка высвободилась из его рук. Лицо ее, такое радостное мгновение назад, переменялось; она тяжело вздохнула и, снова схватив его за руку, сказала:

— Я думала, ты возьмешь меня к себе!

— Да, на первых порах. Но пойдем, мне недосуг.

ГЛАВА IV

Бедная черепаха. Новые перемены в судьбе Индии

Утреннее солнце сияло над маленьким благоухающим садом в перистиле у афинянина. Он лежал, опираясь на локоть, печальный и задумчивый, на аккуратно подстриженной траве; легкий тент защищал его от знойных лучей.

Во время раскопок этого замечательного дома в саду нашли панцирь черепахи, которая там жила. Это странное звено в цепи творения, существо, лишенное природой всех радостей жизни, кроме пассивного и сонного восприятия окружающего, поселилось там за много лет до того, как Главк купил дом; это событие произошло так давно, что не сохранилось в человеческой памяти, но говорят, что черепахи живут невероятно долго. Дом строили, потом перестраивали, его владельцы менялись и умирали, а черепаха все влачила свое медленное и безразличное существование. Во время землетрясения, которое за шестнадцать лет до описываемого нами времени разрушило многие здания города и перепугало жителей, дом, в котором теперь жил Главк, сильно пострадал. Обитатели надолго его покинули; вернувшись, они расчистили руины, которые погребли под собой сад, и нашли там черепаху, целую и невредимую, — она и не подозревала о том, какое разрушение совершилось вокруг. Казалось, она со своей холодной кровью и вялыми движениями была заколдована; но она вовсе не была такой бездеятельной, какой казалась; размеренно и неуклонно ползла она вперед; дюйм за дюймом она вращалась по маленькой своей орбите, и целые месяцы проходили, пока она завершала круг. Она была неутомима, эта черепаха! Терпеливо и с трудом двигалась она по пути, который сама избрала, не проявляя никакого интереса к окружающему, словно философ, погруженный в себя. Было что-то величественное в ее себялюбивом одиночестве! Солнце, которое ее грело, дожди, которые ее мочили, воздух, которым она дышала, были ее единственными и неизменными радостями. Неприметная смена времен года в этом теплом климате не тревожила ее. Она была защищена панцирем, как святой — своим благочестием, мудрец — своей мудростью или влюбленный — надеждой. Она не воспринимала перемен и потрясений времени, она сама была как бы символом времени, медленная, неуклонная, вечная, чуждая страстей, волнений и усталости смертных. Бедная черепаха! Ничто, кроме извержения вулкана и содроганий расколотой земли, не могло погасить вяло тлевшую искру твоей жизни. Неотвратимая смерть, которая не щадит ни блеска, ни красоты, проходила мимо, не замечая этого существа, для которого смерть была бы совсем незначительной переменной.

⁴⁵ Приам — царь Трои, отец Гектора.

Эта черепаха вызывала у горячего и живого грека удивление и сочувствие. Он мог часами смотреть, как она медленно ползет, и раздумывать о ее судьбе. В радости он презирал ее, в горе — завидовал.

И теперь, лежа на траве, афинянин глядел, как она движется почти незаметно для глаза, и говорил себе:

«Орел уронил камень из когтей, думая проломить твой панцирь; но камень размозжил голову поэта.⁴⁶ Такова судьба! О ты, глупое существо! У тебя были отец и мать; быть может, много веков назад у тебя был друг. Любили когда-нибудь твои родители или ты сама? Бежала ли твоя ленивая кровь быстрее по жилам, когда ты ползала рядом со своим супругом? Была ли ты способна на привязанность? Огорчало ли тебя, если его не было рядом? Чувствовала ли ты его присутствие? Чего бы я не дал, чтобы узнать тайну твоей бронированной груди, увидеть твои скрытые желания, постичь тонкую, как волос, разницу, которая отделяет для тебя горе от радости! И все же, думается мне, присутствие Ионы ты ощутила бы! Ощутила бы ее приближение, как ветерок, как солнечное тепло. Сейчас я завидую тебе, ибо ты не знаешь, что ее здесь нет, а я... если б я мог уподобиться тебе в то время, когда не вижу ее! Какие сомнения, какие предчувствия меня преследуют! Почему она не хочет меня видеть? Уже столько дней я не слышал ее голоса. В первый раз жизнь мне не мила. Я словно остался один на пиру, светильники погашены, цветы увяли. Ах, Иона, если б ты знала, как я тебя люблю!»

От этих размышлений влюбленного Главка оторвала Нидия. Она прошла своими легкими и осторожными шагами через мраморный таблин, потом через портик и остановилась около цветов, росших в саду. В руках у нее был сосуд с водой, и она полила жаждущие растения, которые словно ожили при ее появлении. Девушка наклонилась понюхать их. Она прикасалась к ним робко и ласково, ощупывала их стебли, чтобы убедиться, не портит ли их красоты сухой листок или насекомое. Когда она переходила от цветка к цветку, сосредоточенная, изящно двигаясь, нельзя было себе представить более подходящую служанку для богини сада.

— Нидия, дитя мое! — окликнул ее Главк.

При звуке его голоса она замерла, затаила дыхание и, покраснев, прислушалась. Губы ее приоткрылись, голова повернулась на звук. Потом она поставила сосуд с водой и поспешила на зов; удивительно, как безошибочно она прошла среди цветов кратчайшей дорогой к своему новому хозяину.

— Нидия, — сказал Главк, нежно глядя ее длинные и мягкие волосы, — уже три дня ты живешь под покровительством моих Пенатов. Улыбаются ли они тебе? Хорошо ли тебе здесь?

— Очень, — отвечала рабыня со вздохом.

— А теперь, — продолжал Главк, — когда ты немного оправилась от тяжелых воспоминаний о своей прежней жизни, когда на тебе одежда, — и он коснулся ее вышитой туники, — более подходящая для твоей грациозной фигуры, теперь, когда ты привыкла к добру, дорогое дитя, да благословят тебя боги, я хочу просить тебя об одной услуге.

— Скажи, что могу я для тебя сделать? — спросила Нидия, сжимая руки.

— Слушай же, — сказал Главк. — Хоть ты еще ребенок, но будешь моей наперсницей. Слышала ли ты когда-нибудь про Иону?

Слепая девушка вздрогнула и побелела, как одна из статуй, что сверкали в перистиле, и, помолчав, ответила через силу:

— Да, я слышала, что она из Неаполя и очень красива.

— Красива! Ее красота может затмить солнце! Из Неаполя! Нет, она гречанка по происхождению. Только Греция могла породить такое совершенство. Нидия, я люблю ее!

— Я так и думала, — сказала Нидия спокойно.

⁴⁶ Таково предание о смерти великого греческого драматурга Эсхила (V век до н. э.).

— Я люблю ее, и ты должна сказать ей об этом. Счастливица Нидия, ты войдешь в ее комнату, услышишь ее голос, будешь греться в лучах ее тепла!

— Как! Неужели ты хочешь послать меня к ней?

— Да, ты пойдешь к Ионе, — сказал Главк таким тоном, словно подразумевал: «Чего еще можешь ты желать?»

Нидия расплакалась. Главк встал, привлек ее к себе и стал утешать, как брат.

— Нидия, дитя мое, ты плачешь, потому что не знаешь, какое счастье тебя ждет. Она нежная, ласковая, как весенний ветерок. Она будет тебе сестрой, она оценит твои таланты, полюбит тебя за изящную простоту, как никто другой, потому что эта простота ей сродни... Ты все еще плачешь, глупенькая? Я не стану тебя принуждать. Окажешь ты мне эту услугу?

— Если я могу служить тебе — приказывай. Видишь, я больше не плачу, я уже спокойна.

— Узнаю мою Нидию, — сказал Главк, целуя ей руку. — Итак, ступай к Ионе. Если ты разочаруешься в ее доброте, если я обманул тебя, можешь вернуться, когда захочешь. Я не дарю тебя ей, а только отдаю на время. Мой дом всегда открыт для тебя, дорогая. Ах, если бы он мог быть пристанищем для всех одиноких и несчастных! Но, если сердце говорит мне правду, я скоро призову тебя снова, дитя мое. У нас с Ионой будет общий дом, и ты станешь жить с нами.

Дрожь прошла по телу слепой девушки, но она больше не плакала — она покорилась.

— Иди же, моя Нидия, к Ионе, тебя проводят. Отнеси ей самые красивые цветы, какие можешь собрать. Я дам для них вазу. Извинись за то, что они так ничтожны. И еще возьми с собою кифару, которую я подарил тебе вчера, — ведь ты умеешь извлекать из нее такие чудесные звуки — и передай Ионе это письмо, в котором мне после долгих усилий кое-как удалось выразить свои мысли. Лови каждый звук, каждую нотку ее голоса, а потом, когда мы снова увидимся, расскажи мне правду, какова бы она ни была. Вот уже несколько дней, Нидия, Иона не хочет меня видеть. Тут есть какая-то тайна. Меня раздражают сомнения и страхи. Узнай — ведь ты такая умница и хочешь мне помочь, это удесятрит твою проницательность, — узнай причину этой немилости. Говори обо мне с ней как можно чаще, пусть мое имя всегда будет у тебя на устах. Говори ей о моей любви лишь намеками. Замечай, вздохнет ли она при этом, ответит ли тебе. А если она будет меня хулить, то запомни, каким тоном. Будь моим другом, умоли ее не сердиться на меня. О, как щедро заплатишь ты мне этим за то небольшое, что я для тебя сделал! Ты меня понимаешь, Нидия? Ты еще ребенок — может быть, я говорил непонятно?

— Нет.

— Сделаешь ты это для меня?

— Да.

— Приди ко мне, когда нарвешь цветы, я дам тебе вазу. Ты найдешь меня в комнате Леды. Ну, моя красавица, ты больше не грустишь?

— Главк, я рабыня; разве могу я грустить или радоваться?

— Что ты говоришь? Нет, Нидия, будь свободна. Я дарю тебе свободу, пользуйся ею как хочешь и прости, что я рассчитывал на твое желание помочь мне.

— Ты обиделся! Ах, за все блага свободы я не обидела бы тебя, Главк! Мой защитник, мой спаситель, мой покровитель, прости бедную слепую девушку! Ее не огорчит даже разлука с тобой, если она может помочь твоему счастью.

— Да вознаградят тебя боги за твое благодарное сердце! — сказал Главк, глубоко растроганный; и, не подозревая, какой огонь разжигает, он опять поцеловал ее в лоб.

— Ты прощаешь меня, — сказала она, — и не говори больше про свободу: мое счастье — быть твоей рабыней! Ты обещал не отдавать меня никому...

— Да, обещал.

А теперь я пойду собирать цветы. .

Молча взяла Нидия из рук Главка дорогую, украшенную драгоценными камнями вазу.

Цветы в ней соперничали друг с другом в красоте и аромате; без слов приняла она его прощальное напутствие. Когда голос его умолк, она помедлила, боясь ответить, нашла его руку, поднесла ее к губам, опустила на лицо покрывало и быстро пошла прочь. На пороге она снова остановилась, простерла руки и прошептала:

— Три счастливых дня, три дня невыразимой радости пережила я с тех пор, как переступила тебя, о благословенный порог! Да пребудет над тобой мир! А теперь сердце мое разрывается и твердит одно: «Умри!»

ГЛАВА V

Счастливая красавица и слепая рабыня.

Служанка вошла в комнату Ионы и доложила, что посланная от Главка просит разрешения войти. Мгновение Иона колебалась.

— Она слепая, — сказала рабыня, — и ни с кем, кроме тебя, не хочет говорить.

Только низкие души безразличны к чужому несчастью. Едва Иона услышала, что пришедшая слепа, она почувствовала, что не может холодно принять ее. Главк выбрал посланную, которая была священна, посланную, которой нельзя было отказать.

«Что ему от меня нужно? Какое поручение мог он дать?»

И сердце Ионы забилося чаще. Занавеси на дверях были отдернуты; тихие, бесшумные шаги раздались по мраморному полу: одна из служанок ввела Нидию, державшую в руках драгоценный подарок.

Мгновение она стояла неподвижно, словно ловила какой-то звук.

— Не соизволит ли благородная Иона сказать что-нибудь, — произнесла она тихо, — чтобы я знала, куда направить мои слепые шаги и положить этот дару ее ног?

— Прекрасное дитя, — ласково сказала Иона, растроганная, — тебе незачем идти по этому скользкому полу, мои служанки отнесут то, что ты должна мне отдать. — И она сделала служанке знак взять вазу.

— Нет, я могу отдать эту вазу только тебе в руки, — сказала Нидия.

Угадывая направление по голосу, она подошла к Ионе, стала перед ней на колени и протянула вазу.

Иона взяла вазу и поставила ее на столик подле себя. Потом она ласково подняла девушку и хотела усадить ее рядом с собой, но та кротко воспротивилась.

— Я еще не выполнила поручения, — сказала она и вынула из-под одежды письмо Главка. — Быть может, это письмо объяснит тебе, почему тот, кто меня послал, избрал гонца, столь недостойного Ионы.

Неаполитанка взяла письмо, и Нидия сразу почувствовала, что пальцы ее дрожат. Сложив руки и потупив голову, она стояла перед гордой красавицей, быть может, не менее гордая в своей смиренной позе. Иона сделала знак, и служанки вышли. Она снова взглянула на молодую рабыню с удивлением и нежным состраданием, потом, слегка отодвинувшись от нее, вскрыла и прочла письмо:

«Главк шлет Ионе больше пожеланий, чем смеет доверить этой табличке. Не заболела ли ты? Твои рабы говорят, что ты здорова, и это меня успокаивает. Может быть, я невольно обидел тебя? Ах, об этом у них бесполезно спрашивать! Вот уже пять дней я лишен возможности тебя видеть. Светило ли солнце? Не знаю. Улыбалось ли небо? Во всяком случае, не мне. Мое солнце и небо — это ты, Иона. Неужели я обидел тебя? Был слишком дерзок? Высказать ли в этом письме то, чего не осмелился выговорить мой язык? Увы! Когда тебя нет рядом, я особенно сильно чувствую твою власть надо мной. И разлука, которая лишает меня счастья, придает мне храбрости. Ты не хочешь меня видеть; ты изгнала всех поклонников, которые увивались вокруг тебя. Неужели ты равняешь меня с ними? Возможно ли это? Ты хорошо знаешь, что я совсем не таков, я не похож на них. Ибо, даже будь я ничтожен, аромат розы проник в меня, я полон тобой, ты облагораживаешь, освящаешь,

вдохновляешь меня. Должно быть, меня оклеветали перед тобой, Иона! Но как могла ты поверить клевете? Да если бы сам Дельфийский оракул⁴⁷ возвестил, что ты недостойная женщина, я не поверил бы ему; а ведь я не менее недоверчив, чем ты. Я вспоминаю нашу последнюю встречу — песню, которую я тебе пел, и взгляд, который ты на меня бросила. Есть что-то родственное в наших душах, Иона. Этого нельзя скрыть, и наши глаза признались в этом, хотя уста молчали. Позволь мне прийти, выслушай меня, а потом прогони, если хочешь. Я не хотел сразу признаться тебе в любви. Но это признание переполнило мое сердце, оно дойдет до тебя. Прими же мою торжественную клятву! Мы встретились впервые в храме Паллады; неужели мы не встретимся у более нежного и древнего алтаря. .

Девушка, которая принесет тебе это письмо, подобно нам, здесь на чужбине. Но бедняжка Нидия несчастнее нас — она слепа и не свободна. Надеюсь смягчить жестокость природы и судьбы, я прошу тебя взять ее к себе. Она добрая, умная и ласковая, хорошо поет и играет на кифаре. Кроме того, она любит цветы, как сама Хлорида. Она надеется, что ты полюбишь ее, Иона. Если же она тебе не понравится, пришли ее назад ко мне.

И еще одно слово. Прости мою дерзость, но почему ты такого высокого мнения об этом мрачном египтянине? Он не похож на честного человека. Мы, греки, умеем узнавать людей. И хотя мы не притворяемся угрюмыми, это не лишает нас серьезности. Наши губы улыбаются, но глаза смотрят строго — они всегда открыты. Арбаку нельзя слепо доверять. Может быть, это он очернил меня? Я думаю так потому, что он остался тогда у тебя; ты сама видела, как бесило его мое присутствие; с тех пор ты не принимаешь меня. Не верь его наветам; а если веришь, скажи прямо, ибо этого, по крайней мере, Главк вправе требовать от Ионы. Прощай! Этого письма коснется твоя рука, твои глаза прочтут эти буквы — неужели они счастливее того, кто их написал? Еще раз прощай!»

Когда Иона прочла письмо, ей показалось, что она вдруг прозрела. В чем обвиняли Главка? В том, что он не любил ее. А теперь он прямо, недвусмысленно признался ей в своей любви. С этого мгновения он снова овладел ее мыслями. Каждое нежное слово в его письме, столь проникновенном и полном доверчивой страсти, горьким укором отдавалось в ее сердце. Разве она не усомнилась в его верности, не поверила другому? Ведь она не дала ему даже права, которое имеет каждый обвиняемый: знать свою вину, выступить в свою защиту. Слезы покатались у нее из глаз, она поцеловала письмо и спрятала его на груди; потом, повернувшись к Нидии, которая стояла все в той же позе, сказала:

— Присяжь, дитя мое, пока я напишу ответ.

— Значит, ты ответишь ему! — сказала Нидия холодно. — Что ж, служанка, которая провожала меня сюда, отнесет твое письмо.

— А ты останешься со мной, — сказала Иона. — Поверь, твои обязанности будут легкими.

Нидия наклонила голову.

— Как тебя зовут, прекрасная девушка?

— Нидия.

— Откуда ты?

— Из страны Олимпа — Фессалии.

— Мы будем с тобой друзьями, — ласково сказала Иона. — Ты почти моя соотечественница. Прошу тебя, не стой на этом холодном мраморе... Ну вот, теперь, когда ты села, я могу ненадолго оставить тебя.

⁴⁷ Оракул бога Аполлона в Дельфах (Средняя Греция) считался едва ли не самым уважаемым и авторитетным прорицанием древнего мира.

«Иона приветствует Главка. Приходи ко мне завтра, Главк, — писала она. — Возможно, я была несправедлива; но теперь я, по крайней мере, объясню тебе, какую вину на тебя возводят. Не бойся больше египтянина... не бойся. Ты пишешь, что сказал слишком много. Увы! Я сказала то же самое в этих коротких строчках. Прощай!»

Когда Иона снова вошла с письмом, не посмеяв его перечитать (ах, эта обычная поспешность, обычная робость любви!), Нидия встала.

— Ты написала Главку?

— Да.

— Будет ли он признателен тому, кто принесет твоё письмо?

Иона забыла, что девушка слепа; она вся вспыхнула и промолчала.

— Я хотела сказать, — добавила Нидия спокойно, — что малейшая холодность опечалит его, а малейшая ласка обрадует. Если письмо твоё его огорчит, пусть служанка отнесет его; если же нет, позволь это сделать мне. . я вернусь сегодня же вечером.

— А почему, Нидия, хочешь ты сама передать моё письмо? — спросила Иона.

— Значит, я угадала, — сказала Нидия. — Да и могло ли быть иначе: у кого хватит жестокости огорчить Главка?

— Дитя моё, — сказала Иона чуть сдержаннее, чем раньше, — ты говоришь так горячо, значит, ты равнодушна к Главку?

— Благородная Иона! Главк дал мне то, в чём отказали мне боги и судьба: он стал мне другом!

— Печальное достоинство, с которым Нидия произнесла эти слова, тронуло красавицу Иону. Она наклонилась и поцеловала девушку.

— Ты умеешь быть благодарной. И я могу, не краснея, сказать, что Главк достоин твоей благодарности! Иди, милая Нидия, отнеси ему это письмо, но потом возвращайся. Если меня не будет дома — сегодня вечером я должна уйти, — тебе приготовят комнату рядом с моей. Нидия, у меня нет сестры, заменишь ли ты её?

Нидия поцеловала руку Ионы и сказала с некоторым смущением:

— Могу ли я просить тебя, прекрасная Иона, об одной милости?

— Проси чего угодно, — отвечала неаполитанка.

— Говорят, — сказала Нидия, — что твоя красота не имеет равных. Увы! Я не могу увидеть то, что восхищает всех. Позволь же мне коснуться твоего лица—только так я могу представить себе красоту и обычно не ошибаюсь.

Не дожидаясь ответа, она медленно и нежно провела рукой по склоненному лицу Ионы. Лишь в одном творении сохраняются теперь для нас его черты — в статуе, изувеченной, но восхищающей всех, которая хранится в родном городе Ионы — Неаполе; это статуя паросского мрамора, перед которой вся красота Венеры Флорентийской ничтожна и низменна.⁴⁸ Эту статую, исполненную такой гармонии и юной прелести, одухотворенную и проникнутую мыслью, современные ученые считают изображением Психеи.

Рука Нидии задержалась на перевязанных лентой волосах и гладком лбу, скользнула по мягким румяным щекам с ямочками, по нежным губам, по белоснежной лебединой шее.

— Теперь я знаю, что ты прекрасна, — сказала она. — И в окружающей меня тьме я навеки сохраню твой образ!

Когда Нидия ушла, Иона погрузилась в сладкие мечты. Значит, Главк её любит, он признался в этом, — да, он любит её. Она снова вынула драгоценное письмо. Она перечитывала каждое слово, целовала каждую строчку. Она не задавала себе вопроса, почему Главка оклеветали, но была убеждена в этом. Как могла она поверить хоть слову клеветы? Как позволила египтянину порочить Главка? Она почувствовала ледяной холод,

⁴⁸ Эту статую, хранящуюся во Флоренции, обычно называют Афродитой (или Венерой) Медицейской, то есть принадлежащей Медичи. Парос — один из островов Греческого архипелага, где добывали белоснежный мрамор.

снова перечитала предостережение Главка насчет Арбака, и тайный страх перед этим мрачным человеком превратился в ужас. Из этих раздумий ее вывели служанки, которые пришли доложить, что пора идти к Арбаку. Иона вздрогнула — она забыла, что должна быть у него. Первым ее побуждением было остаться дома; вторым — посмеяться над собственным страхом перед самым старым из друзей, который остался у нее на свете. Она торопливо надела украшения и, колеблясь, расспросить ли египтянина более подробно про его обвинение против Главка или сначала, не упоминая имени, рассказать все самому Главку, отправилась к мрачному дому Арбака.

ГЛАВА VI

Иона попадает в ловушку. Мышь пытается перегрызть сеть.

— Милая Нидия! — воскликнул Главк, прочитав письмо Ионы. — Ты самый добрый вестник на свете, как мне тебя благодарить?

— Я уже вознаграждена, — сказала бедная девушка.

— Завтра! Завтра! Как дожить мне до этого дня!

Влюбленный грек не отпускал Нидию, хотя она несколько раз порывалась уйти. Он заставлял ее снова и снова пересказывать ему ее короткий разговор с Ионой; в тысячный раз, забывая про ее несчастье, он спрашивал, как выглядела его возлюбленная, какое у нее было лицо, потом спешил извиниться и просил девушку начать все сначала, потому что он ее перебил. Эти мучительные для Нидии часы летели для него словно на крыльях радости, и уже спускались сумерки, когда он отпустил девушку к Ионе с новым письмом и с цветами. Едва она ушла, как Клодий и еще несколько веселых приятелей ворвались в дом. Они подшучивали над Главком, потому что он целый день провел как отшельник и не принимал участия в обычных развлечениях, звали его туда, где в любой час дня и ночи можно было повеселиться. В те времена, как, впрочем, и теперь (ибо ни одна страна, потеряв столько древнего величия, не сохранила столько древних обычаев), жители южной Италии любили собираться по вечерам под портиками храмов или под сенью деревьев, которые росли на улицах, и слушать музыку или рассказы какого-нибудь ловкого выдумщика, встречая луну возлияниями и пением.

Главк был слишком счастлив, чтобы оставаться в одиночестве. Радость, которая его переполняла, требовала выхода. Он охотно принял предложение друзей, и они со смехом отправились в путь по людным и ярко освещенным улицам.

Тем временем Нидия вернулась к дому Ионы, которой уже давно не было. Она равнодушно спросила, куда ушла Иона. Но, услышав ответ, задрожала.

— К Арбаку? К этому египтянину? Не может быть!

— Это так, девочка, — сказал раб, к которому Нидия обратилась. — Она его давно знает.

— Давно! О боги, и Главк ее любит! — прошептала Нидия. — А часто госпожа у него бывала? — спросила она громко.

— До сих пор — ни разу, — ответил раб. — И если все ужасные слухи, которые ходят про него в Помпеях, правда, то лучше бы ей вовсе туда не ходить. Но бедная моя госпожа не знает ничего, что доходит до нас: разговоры, которые ведут в вестибule, не слышны в перистиле.

— Ни разу! — повторила Нидия. — Ты уверен в этом?

— Конечно, моя красавица. Но нам-то с тобой какое дело?

Нидия поколебалась, а потом, поставив цветы, которые должна была передать Ионе, кликнула сопровождавшего ее раба и ушла, не сказав больше ни слова.

Лишь на полпути до дома Главка Нидия прервала свое молчание, но и тогда она только пробормотала про себя:

— Она и не подозревает, не может подозревать о тех опасностях, которые ей грозят.

Как я ни глупа, я ее спасу! Потому что я люблю Главка больше, чем себя.

Когда она вернулась к дому афинянина, ей сказали, что он ушел с друзьями неизвестно куда и, вероятно, вернется не раньше полуночи.

Нидия застонала. Она опустила с сиденье в атрии и закрыла лицо руками, собираясь с мыслями. «Нельзя терять время», — подумала она, встала и обратилась к рабу:

— Скажи мне, есть ли у Ионы в Помпеях родственники или близкие друзья?

— Клянусь Юпитером! — отвечал раб. — Неужто ты и в самом деле так глупа, что спрашиваешь об этом? Всякий знает, что у Ионы есть брат, молодой и богатый, который — скажу тебе по секрету — сдуру стал жрецом Исиды.

— Жрецом Исиды! О боги! А как его зовут?

— Апекид.

— Все понятно, — пробормотала Нидия. — Брат и сестра оба обречены на жертву. Апекид! Да, это имя я слышала в... но, если так, он поймет, в какой опасности его сестра. Скорей к нему!

При этой мысли она вскочила и, взяв палку, которой всегда ощупывала дорогу, поспешила к храму Исиды. До того времени, как добрый грек принял ее под свое покровительство, она ходила с этой палкой по всему городу. Каждая улица, каждый перекресток в самых оживленных его кварталах были ей знакомы, и добрые прохожие, к тому же с благоговейным уважением относившиеся к ее несчастью, всегда уступали ей дорогу. Бедняжка, она не знала, что вскоре слепота спасет ее и станет поводырем, более надежным, чем самые острые глаза!

Но, с тех пор как Главк взял Нидию к себе, он приказал одному из своих рабов всегда сопровождать ее; и бедный раб, который был очень толст и уже дважды ходил к дому Ионы и обратно, а теперь увидел, что ему предстоит новая прогулка (куда — было ведомо лишь богам), поспешил следом, горько сетуя на свою тучность, и торжественно клялся Кастору и Поллуксу, что у этой девушки не только слепота Купидона, но и крылатые ноги Меркурия.⁴⁹

Однако Нидии почти не нужна была его помощь, чтобы найти дорогу к известному всем храму Исиды: площадь перед ним была сейчас пуста, и она без труда подошла к священной ограде.

— Там никого нет, — сказал толстый раб. — Кто тебе нужен? Разве ты не знаешь, что жрецы не живут в храме?

— Кликни кого-нибудь! — сказала она нетерпеливо. — Днем и ночью там бывает хоть один жрец, охраняющий святыни Исиды.

Раб крикнул — никто не отозвался.

— Ты никого не видишь?

— Никого.

— Ты ошибаешься: я слышу вздох. Погляди получше.

Раб, ворча и недоумевая, огляделся и перед одним из алтарей, остатки которого и теперь, после раскопок, все еще загромаждают тесное пространство, увидел фигуру, низко склонившуюся словно бы в раздумье.

— Я вижу человека, — сказал он. — И, судя по белым одеждам, это жрец.

— Жрец Исиды! — крикнула Нидия. — Услышь меня, о служитель древнейшей из богинь!

— Кто зовет меня? — спросил тихий и печальный голос.

— Я принесла одному из ваших жрецов важную весть. Я пришла сообщить эту весть, а не спросить оракула.

— С кем же ты хочешь говорить? Сейчас не время, уходи, не тревожь меня. Ночь посвящена богам, а для людей предназначен день.

⁴⁹ Вестника богов Меркурия (греческого Гермеса) изображали обутым в сандалии с крылышками, а бога любви Купидона (Эрота, Амура) — с повязкой на глазах, ибо его стрелы разят всех подряд, без разбора.

— Кажется, я узнаю твой голос, хотя слышала его только раз. Тебя-то я и ищу. Ты жрец Апекид?

— Да, это я, — отвечал жрец, приблизившись к ограде.

— Хвала богам! — Она сделала рабу знак отойти, и он, сообразив, что в храм ее могла привести только забота об Ионе, повинился — отошел и сел на землю поодаль.

— Тс-с! — сказала она и тихо спросила: — Ты действительно Апекид?

— Разве ты не узнаешь меня?

Я слепая, — сказала Нидия. — Уши заменяют мне глаза, это они тебя узнали. Но все же поклянись, что ты Апекид.

— Клянусь богами, клянусь своей правой рукой, клянусь Луною!

Тс-с! Говори тише. Нагнись ко мне, дай мне руку. Ты знаешь Арбака? Клал ты цветы к ногам мертвецов? А! Твоя рука холодна... Слушай же. Дал ты страшную клятву?

— Кто ты и откуда, странная девушка? — спросил Апекид со страхом. — Я тебя не знаю, в первый раз вижу тебя.

— Зато ты слышал мой голос; но нам обоим стыдно вспоминать про это. Слушай, у тебя есть сестра...

— Что с ней? Говори же!

— Ты знаешь пиры мертвецов, чужеземец, быть может, тебе даже приятно на них бывать, но хотел бы ты, чтобы в них участвовала твоя сестра? Хотел бы, чтобы она оказалась в гостях у Арбака?

— О боги! Нет, он не осмелится! Девушка, если ты смеешься надо мной, горе тебе! Я разорву тебя на куски!

— Я говорю правду; в эту самую минуту она в доме у Арбака — в первый раз. Ты знаешь, какие опасности ей грозят. Прощай. Я исполнила свой долг.

— Постой! Постой! — вскричал жрец, проводя дрожащей рукой по лбу. — Если это правда, как нам ее спасти? Меня могут не впустить туда. Я заплутаюсь в этом ужасном доме. О Немесида! Поделом же мне!

— Я отпущу раба, будь ты моим поводырем. Я проведу тебя через потайной ход и шепну тебе на ухо слово, которое отворяет двери. Возьми какое-нибудь оружие — оно может понадобиться.

— погоди, — сказал Апекид и исчез в одной из ниш, а через несколько мгновений снова появился, скрыв свое жреческое одеяние под широким плащом, какие тогда носили люди всех сословий. — А теперь, — сказал он, скрипнув зубами, — если только Арбак посмел... Но он не посмел! Не посмел! Могу ли я его подозревать? Неужели он так низок? Я не верю этому... Но ведь он коварен. Темный колдун, вот он кто. О боги, помогите мне... Но что я говорю! Разве это боги? И все же есть по крайней мере одна богиня, которую я могу призвать, и имя ей — Возмездие.

Бормоча эти бессвязные фразы, Апекид в сопровождении своей молчаливой слепой спутницы быстро пошел по пустынным улицам к дому египтянина.

Раб, неожиданно отпущенный Нидией, пожал плечами, пробормотал проклятие и, поскольку идти ему больше было некуда, отправился восвояси.

ГЛАВА VII

Египтянин в одиночестве разговаривает сам с собой. Его характер.

Вернемся теперь на несколько часов назад. Когда забрезжил рассвет того дня, который Главк успел отметить белым камешком, египтянин уже сидел, бодрствуя в одиночестве на верху высокой пирамидальной башни, примыкавшей к его дому. Каменная стенка вместе с мрачными деревьями, окружавшими дом, скрывала площадку на башне от любопытных или враждебных взглядов. На столике перед Арбаком лежал свиток, испещренный мистическими знаками. В небе тускло мерцали звезды, ночные тени таяли на голых горных вершинах;

только над Везувием висело плотное темное облако, которое за несколько дней до того зловеще сгустилось над его вершиной. День оттеснял ночь, и это особенно было заметно над морем, спокойно, словно гигантское озеро, лежавшим в своих берегах, на которых зеленели виноградники и деревья, а кое-где белели стены спящих городов.

Это был самый удобный час для дерзновенной науки, которой занимался египтянин, — науки, позволявшей читать изменчивые людские судьбы по звездам.

Он дописал свиток, отметил час и знак зодиака, а потом, опершись на локоть, погрузился в раздумье.

— Опять звезды предостерегают меня! Значит, мне грозит какая-то опасность! — сказал он медленно. — Опасность неожиданная и страшная. То же сочетание звезд, которое, если наши древние хроники говорят правду, некогда составилось для Пирра, обреченного жаждать всего и не насладиться ничем, — его уделом были бесславные битвы, лавры без триумфа, слава без торжества. Наконец собственные предрассудки сделали его трусом, и он умер, как собака, от руки старухи! Нечего сказать, звезды льстят мне, когда ставят меня рядом с этим глупым воякой, обещая моей всепроникающей мудрости тот же конец, что и его безумному тщеславию. Постоянные усилия, отсутствие определенной цели, сизифов труд, гора и камень — какой мрачный образ! Да, звезды указывают, что мне грозит смерть, подобная смерти царя Эпира. Взгляну-ка еще раз. «Остерегайся, — говорят сверкающие пророки, — когда проходишь под ветхими крышами, или под осажденными стенами, или под нависшими скалами — камень, падающий сверху, несет в себе проклятье твоего жребия!» И эта опасность близка. Но я не могу точно определить день и час. Что ж, если это конец, пусть, сверкая, до последней песчинки высыплется из часов весь отмеренный мне песок. Зато если я избежну опасности, если только мне это удастся, дальше весь мой жизненный путь ясен и чист, как лунная дорожка на море. Я вижу, как сияют почести, счастье, успех над бездной, где я в конце концов должен буду исчезнуть. Неужели я покорюсь, если потом, когда опасность минует, меня ждет такая светлая судьба? Душа моя полна надежд, она бестрепетна, и это добрый знак. Если бы мне суждено было погибнуть так внезапно и скоро, тень смерти уже нависла бы надо мной и меня леденило бы тяжкое предчувствие. Моя душа с печалью приняла бы зов мрачного Орка. Но она улыбается — она сулит мне избавление.

Закончив так свой монолог, египтянин порывисто встал. Он быстро прошел через узкую площадку под звездным сводом и, остановившись у каменной ограды, снова поглядел на серое и печальное небо. Предрассветная прохлада освежила его голову, и постепенно он вновь обрел свое обычное бесстрашие. Он отвел глаза от звезд, которые одна за другой гасли, исчезая в бездонности неба. Взгляд его скользнул по широкому простору, который расстилался внизу. В притихшем порту высились мачты судов; всегдашний гул смолк над этим огромным торжищем роскоши и тяжелого труда. Вокруг ни огонька, лишь кое-где, на колоннах храма или в портиках безмолвного форума, мерцал бледный и дрожащий отблеск наступающего утра. Сердце притихшего города, которое скоро вновь забьется, исполненное тысячами страстей, сейчас замерло: жизнь не бурлила на улицах, ее поток был скован льдом сна. Над огромным амфитеатром с каменными скамьями, который свился кольцами, как какое-то дремлющее чудовище, поднимался призрачный туман, сгущаясь над редкими деревьями, угрюмо застывшими вокруг. Город выглядел так же, как теперь, по прошествии семнадцати столетий, с ужасающей стремительностью сменявших друг друга, — это был город мертвых.

Море, спокойное и безмятежное, было почти неподвижно, и только из глубины его груди доносился далекий и мерный ропот, словно оно дышало во сне; далеко вдаваясь в зеленые живописные берега, оно, казалось, прижимало к груди своих любимых детей — прибрежные города Геркуланум, Помпеи и Стабии.

— Вы спите, — сказал египтянин, окидывая взглядом эти города, гордость и красу Кампании. — Спите! Да будет этот сон вечным сном смерти. Подобно вам, жемчужинам императорской короны, сверкали некогда города Нила! От их величия не осталось следа, они

лежат в руинах, их дворцы и храмы превратились в могилы, змеи свиваются кольцами в траве, которой поросли их улицы, ящерицы греются в опустевших домах. По таинственному закону природы, которая унижает одних, чтобы вознести других, вы поднялись над их руинами; ты, надменный Рим, захватил славу Сесостриса и Семирамиды,⁵⁰ ты — грабитель, отягощенный добычей. А эти рабы в твоей триумфальной процессии, которых я, последний потомок забытых властителей, вижу под собой! Эти хранилища твоей всепоглощающей мощи и роскоши!.. Проклинаю их! Пробьет час, и Египет будет отомщен. Конь варвара превратит в стойло золотое обиталище Нерона! Тот, кто послал ветер, пожнет бурю, и она опустошит все.

Когда египтянин произносил это предсказание, которое так ужасно исполнилось, сам он казался олицетворением зловещего пророчества. Рассвет, придающий бледность даже щеке юной красавицы, наложил на его надменные черты мертвенный оттенок, густые черные волосы ниспадали на плечи, длинные темные одежды развевались, рука была простерта, глаза сверкали злобной радостью — не то пророк, не то демон!

Он оторвал взор от города и моря; перед ним лежали виноградники и поля плодородной Кампании. Город вышел за пределы своих ворот и стен — древних, построенных еще пеласгами. Виллы и селения тянулись по склонам Везувия, которые тогда были далеко не такие крутые и высокие, как теперь. Подобно самим римлянам, чей город стоит у потухшего вулкана, на юге Италии люди без опаски жили среди зелени виноградников возле вулкана, который, как они думали, угас навеки. За воротами тянулся длинный ряд гробниц, различных по размерам и архитектуре, которые и сейчас можно увидеть близ города. И над всем этим высилась окутанная облаками вершина ужасной горы, усеянная темными и светлыми пятнами, обозначавшими мшистые пещеры и пепельно-серые скалы, которые свидетельствовали о прошлых извержениях и предвещали — но увы, человек слеп! — то, что должно было произойти.

В то время трудно было понять, почему мифология так мрачно рисовала эти места. Почему эти улыбающиеся равнины, которые тянулись на много миль, до городов Байи и Мизены, древние поэты воображали преддверием ада и здесь помещали свои Ахеронт и легендарный Стикс; почему эту Флегру,⁵¹ где теперь весело зеленеют виноградники, они рисовали себе полем битвы богов, почему именно здесь титаны дерзко искали победы над небожителями? Теперь же, глядя на эту опаленную и разрушенную вершину, и в самом деле можно вообразить удары олимпийских громов.

Но сейчас не зубчатая громада молчащего вулкана, не плодородные поля на его склонах, не печальные ряды могил, не роскошные виллы богачей привлекли взгляд египтянина. По другую сторону крутой склон Везувия был не возделан — местами там виднелись лишь зазубренные скалы да дикие рощи. У подножия этого склона было гнилое болото; и острые глаза Арбака разглядели мрачную фигуру, которая время от времени нагибалась, видимо что-то поднимая с земли.

— Ого! — проговорил он вслух. — Значит, в этих тайных ночных бдениях я не одинок. Ведьма с Везувия вышла из своего логова. Зачем? Простачки говорят, будто и она изучает великую науку звезд, неужели это правда? Произносит ли она какие-то зловещие заклинания под луной или же собирает мерзкие травы на этом ядовитом болоте? Надо мне повидаться с ней. Тому, кто жаждет мудрости, ведомо, что человеческое знание никогда не следует презирать. Презренны лишь вы, жирные и обрюзгшие рабы роскоши, глупцы, которые, ничего не создавая, лелея лишь свои чувства, воображаете, что эта бесплодная почва может

⁵⁰ То есть славу Востока: Сесострис (Сезострис) — полубогатый египетский царь, великий полководец и законодатель (отождествить его с кем-либо из реально существовавших фараонов не удастся); Семирамида — основательница Ассирийского царства, также фигура полубогатая.

⁵¹ Ахеронт, Стикс — реки подземного царства теней. Ф л е г р а (или Флегрейские, то есть Пылающие поля) — равнина вулканического происхождения, тянувшаяся вдоль берега Кампании.

взрастить для них мирты и лавры. Нет, только мудрым дано наслаждаться — только нам дано изведать подлинную роскошь, когда ум, мудрость, изощренность, опыт, мысль, знания, воображение как реки стекаются в море чувства. О Иона!

Едва Арбак произнес это имя, его мысли сразу направились по более глубокому и тайному руслу. Он остановился, пристально глядя вниз: раз или два он радостно улыбнулся, потом, отойдя от стенки и опустившись на ложе, пробормотал:

— Если смерть неотвратима, я, по крайней мере, возьму от жизни все — Иона будет моей!

У Арбака был сложный, причудливый характер, с которым он, несмотря на свой ум, не мог совладать. В этом сыне падшей династии, потомке погибшего народа жил дух неудовлетворенной гордости, всегда обуревающей сильных людей, лишенных навек славного поприща, на котором блистали их предки. Этот дух непримирим, он восстает против общества, он враждебен всему человечеству. Но здесь он был лишен постоянного своего спутника — бедности. Богатством Арбак не уступал большинству знатных римлян, и это позволяло ему потакать своим страстям, которые не находили выхода в труде или честолюбивых дерзаниях. Он много путешествовал и, всюду видя владычество Рима, еще больше возненавидел людей. Он был в огромной тюрьме, где мог, однако, наслаждаться роскошью. Выхода из этой тюрьмы не было, и ему оставалось одно — превратить ее в дворец. Мрачное воображение влекло его к таинственным и отвлеченным наукам. К этому же толкали его и дерзкая гордость характера, и мистические традиции его отечества. Отбросив все языческие верования, он свято верил лишь в могущество человеческой мудрости. Он не знал (вероятно, как и никто в ту эпоху) пределов, которые Природа кладет нашим исследованиям. Видя, что чем выше поднимаешься в знании, тем больше открываешь чудес, он воображал, что Природа не только творит чудеса, свершая свой обычный круговорот, но что сильный духом человек с помощью колдовства может даже изменить самый ее путь. И он пытался насильно вывести науку за положенные ей пределы, в сферу хаоса и тьмы. От истин астрономии он перешел к астрологическим заблуждениям; от тайн химии — в запутанный лабиринт магии.⁵² И этот человек, который умел скептически относиться к могуществу богов, слепо веровал в могущество человека.

Культе магии, поднятый в то время на небывалую высоту мнимыми мудрецами, был занесен с Востока; он был чужд земной философии греков, которые не принимали его, пока Остан, сопровождавший армию Ксеркса,⁵³ не внес в простые верования Эллады торжественные суеверия Зороастра.⁵⁴ При римских императорах, однако, магия была в почете и давала пищу злому остроумию Ювенала. С магией был тесно связан культ Исиды, и египетская религия насаждала поклонение чародейству. И белая магия, прибегающая к содействию добрых сил, и черная магия одинаково почитались в первом веке нашей эры, и чудеса Фауста бледнеют перед чудесами Аполлония. Властители, придворные, мудрецы равно трепетали перед светилами этой ужасной науки. А среди них не последнее место занимал грозный и таинственный Арбак. Все, кто был причастен к магии, признавали его славу, она даже пережила его самого. Но среди колдунов и мудрецов он был чтим не под своим настоящим именем: оно вообще не было известно в Италии, ибо Арбак — имя не исконно египетское, а мидийское, занесенное в долину Нила при переселении и смешении древних народов. У Арбака были серьезные причины (в молодости он участвовал в заговоре против Рима), побуждавшие его скрывать свое истинное имя и звание. Но не мидийское имя и не происхождение — хотя египетские ученые безусловно удостоверили бы, что он потомок

⁵² Магами древние персы называли жрецов, державших в своих руках все научное знание и образование.

⁵³ Поход персидского царя Ксеркса на Грецию—480 год до н. э.

⁵⁴ Зороастр — знаменитый реформатор древнеперсидской религии.

фараонов, — принесло славу могущественному магу. Его чтили под более мистическим прозвищем, которое долго помнили в Великой Греции⁵⁵ и на Востоке: «Гермес, Властитель огненного пояса». Его мысли и мудрые изречения, собранные в различных книгах, были в числе тех документов «запретного искусства», которые новообращенные христиане с таким ликованием и страхом сожгли в Эфесе, лишив потомство этого подтверждения коварства дьявола.

Мораль Арбака была эгоистичной, он не признавал никаких нравственных законов. Он верил, что если заставить толпу повиноваться этим законам, то можно посредством высшей мудрости подняться над ними. «Если, — рассуждал он, — мне дана способность навязывать законы, разве нет у меня права повелевать ими, мною же созданными?»

Почти все люди в большей или меньшей степени жаждут власти; в Арбаке эта жажда в точности отвечала его характеру. Он не стремился к внешним и грубым проявлениям власти. Он не желал пурпура и ликторских связок, этих знаков владычества над толпой. Его юношеские мечты были некогда разбиты, и на место им пришло презрение к людям. Его гордость, его ненависть к Риму, к самому слову «Рим», которое стало равнозначным всему миру (он презирал надменный Рим не меньше, чем сам Рим — варваров), делали для него невозможным возвышение, ибо возвыситься можно было, лишь сделавшись послушным орудием или ставленником императора. Ему, потомку великой династии Рамсесов, исполнять чужую волю, получить власть из чужих рук! Самая мысль об этом приводила его в бешенство. Но, отвергая стремления к мнимой славе, он тем больше жаждал повелевать сердцами. Почитая могущество ума величайшим из земных даров, он любил осязаемо ощущать в себе это могущество, распространяя его на всех, кто оказывался на его пути. Он всегда искал молодых, покорял и подчинял их себе. Он любил проникать в души людей, править незримой, тайной империей. Не будь он так богат и падох до наслаждений, ему, вероятно, пришло бы в голову стать основателем новой религии. Но все свои силы он растрачивал на наслаждения. И наряду со стремлением к этому идеальному могуществу (столь милому мудрецам!) он испытывал странное и таинственное благоговение перед всем, что было связано с таинственной землей его предков. Хотя он не верил в богов, но верил в символы, которые они представляли (или, вернее, наново толковал эти символы). Он поддерживал культ Египта, потому что тем самым как бы сохранял призрак и память бывшего могущества Египта. Поэтому он приносил щедрые дары на алтари Осириса и Исиды и всегда старался обратить и сделать жрецами этих богов богатых людей. После того как его жертвы приносили обет и становились жрецами, он разделял с некоторыми из них свои наслаждения, так как был уверен, что они сохраняют тайну, и от этого тем больше чувствовал свою власть над душами. Вот почему он, подогреваемый страстью к Ионе, так поступил с Апекидом.

Он редко жил подолгу на одном месте. Но, становясь старше, он все больше уставал от странствий и за последние годы оставался в прекрасных городах Кампании так долго, что даже сам удивлялся этому. Тщеславие лишило Арбака возможности жить там, где ему хотелось. Участие в неудачном заговоре закрыло ему дорогу в ту знойную страну, которая, как он считал, принадлежала ему по праву наследства и лежала теперь, поверженная, под крылом римского орла. Сам Рим был ненавистен его озлобленной душе; к тому же Для него было невыносимо, когда любимцы императора соперничали с ним в богатстве, и перед блеском самого двора он казался бедняком. Города Кампании предоставили ему все, чего жаждала его душа: чудесный климат, утонченные наслаждения; здесь никто не превосходил его богатством; здесь не было императорских соглядатаев. Пока у него были деньги, он мог делать что хотел. Никаких препятствий и опасностей не стояло на его мрачном пути.

Арбак серьезно и терпеливо стал добиваться любви Ионы. Теперь он уже хотел не просто любить, но быть любимым. С надеждой смотрел он на расцветающую красоту молодой неаполитанки; и, зная власть ума над теми, кто приучен преклоняться перед умом,

⁵⁵ Великой Грецией называлась Южная Италия, где было множество греческих колоний.

он охотно беседовал с Ионой, учил ее, надеясь, что она оценит его чувства и привяжется к нему. Этот злодей при всех своих дурных качествах был наделен от природы силой и широтой. Когда он почувствовал, что она оценила его широту, он охотно разрешил ей бывать среди праздных любителей удовольствий и даже поощрял это, уверенный, что ей, созданной для общения с более достойными, будет не хватать его присутствия и, сравнивая его с другими, она полюбит сама. Он забыл, что как подсолнечник тянется к солнцу, так юность тянется к юности, и только ревность к Главку заставила его понять свою ошибку. И хотя, как мы видели, истинных размеров опасности он не знал, с этой минуты его страсть, так долго сдерживаемая, вырвалась наружу. Ничто так не воспламеняет любовь, как ревность: она начинает пылать ярким огнем. Куда девается ее нежность и мягкость! Она приобретает злобную ненависть. Арбак решил, что довольно терять время на осторожные и вместе с тем рискованные приготовления. Он решил оградить себя от соперника неодолимой стеной. Он надеялся, что, если отделить Иону от людей и привязать к себе узами, которые невозможно забыть, она поневоле станет думать только о нем и это будет полной победой, — как случилось после похищения римлянами сабинянок: взятое силой будет закреплено более неясными отношениями.⁵⁶ Он еще больше утвердился в этом решении после пророчества звезд: они давно предрекали Арбаку, что в этом году и даже в этом месяце ему грозит какое-то страшное несчастье, а может быть, и смерть. Времени оставалось мало. Подобно тиранам, он решил сжечь на своем погребальном костре все, что было дорого его сердцу. Говоря собственными его словами, уж если умирать, так по крайней мере взять от жизни все и овладеть Ионой.

ГЛАВА VIII

Что произошло с Ионой в доме Арбака. Первое проявление гнева грозного врага.

Когда Иона вошла в просторную прихожую египтянина, она почувствовала тот же страх, что и ее брат. Как и ему, ей почудилось что-то зловещее и предостерегающее в невозмутимых и мрачных ликах ужасных фиванских чудовищ, чьи величественные и бесстрастные черты так хорошо запечатлел мрамор:

Их облик немой сохранился в веках,
И вечность застыла в их мертвых глазах.

Рослый эфиоп, ухмыляясь, впустил ее и сделал знак следовать за собой. Посреди прихожей ее встретил сам Арбак в праздничной одежде, сверкавшей драгоценными камнями. Хотя был еще день, в доме у Арбака, как у всех ценителей роскоши, царила искусственная полутьма, и светильники струили приятный свет на красивые полы и отделанные слоновой костью потолки.

— Прекрасная Иона! — сказал Арбак, склоняясь, чтобы коснуться ее руки. — Это ты затмила день, это твои глаза озаряют комнаты, твое дыхание наполняет их ароматом.

— Не говори со мной так, — сказала Иона с улыбкой. — Ты забыл, что сам научил меня презирать эти пустые любезности, отвергать лесть. Хочешь ли ты теперь внушить своей ученице обратное?

⁵⁶ По преданию, вновь основанный Рим был заселен людьми темным и даже преступным прошлым, и соседи слышать не слали ни о каких дружеских связях с молодым городом. Тогда римляне похитили и силой сделали своими женами девушек из соседнего племени сабинян. Сперва сабинянки ненавидели похитителей, но затем привязались к ним и убедили своих отцов и братьев, начавших войну против Рима, заключить с римлянами союз.

Иона сказала это с такой очаровательной искренностью, что египтянин почувствовал себя влюбленным но лее чем когда бы то ни было, и больше чем когда бы го ни было ему хотелось продолжить наступление. Однако он быстро завел с Ионой веселый и непринужденный разговор.

Он провел ее по всему дому, где, как могло показаться ее неопытному глазу, привыкшему лишь к умеренному блеску городов Кампании, были собраны все сокровища мира.

На стенах висели картины, которым не было равных, светильники озаряли статуи эпохи расцвета Древний Греции. Шкафы с драгоценностями, каждый из которых сам по себе был драгоценностью, стояли меж колонн; пороги и двери были из редчайших пород дерева; всюду сверкали золото и драгоценные камни. Лрбак с Ионой то были одни в этих покоях, то проходили через безмолвные ряды рабов, которые, становясь па колени, подносили Ионе дары — браслеты, золотые цепи, самоцветы, — и египтянин тщетно молил ее принять эти подношения.

— Я часто слышала, что ты богат, — сказала она с удивлением, — но я и не подозревала, что твое богатство так огромно.

— Ах, если бы я мог отлить из всего этого одну диадему и увенчать ею твое белоснежное чело! — вскричал египтянин.

— Увы! Она раздавила бы меня. Я стала бы второй Гарпеей,⁵⁷ — отвечала Иона со смехом.

— Не презирай богатство, Иона! У кого нет богатства, тот не знает всех радостей жизни. Золото — великий чародей: оно исполняет наши мечты, дает нам божественную власть, в обладании им есть нечто возвышенное. Это самый могущественный и вместе с тем самый покорный из наших рабов.

Хитрый Арбак старался ослепить молодую неаполитанку своими сокровищами и красноречием. Он хотел разбудить в ней желание обладать всем, что она видела вокруг себя: он надеялся, что вместе с влечением к богатству она почувствует влечение и к его хозяину. А Ионе было как-то не по себе, когда она слышала любезности из этих уст, так недавно, казалось, презиравших пошлые комплименты, которые обычно говорят красавицам. И с утонченной деликатностью, которой владеют только женщины, она старалась отвести нацеленные в нее стрелы и шуткой или незначущими словами отвечала на его пылкие речи. Нет ничего восхитительней такой защиты: она покорила африканского чародея, который воображал, будто может с помощью перышка повелевать ветрами.

Египтянин был очарован изяществом Ионы даже больше, чем ее красотой. Он с трудом сдерживал себя. Увы! Перышко имело силу только против легких летних ветерков — оно было бессильно против бури.

Когда они стояли в большом зале, стены которого были задрапированы серебристо-белой тканью, египтянин вдруг хлопнул в ладоши, и, словно по волшебству, из-под пола у самых ног Ионы поднялся пиршественный стол и ложе или, скорее, трон под алым балдахинном. В тот же миг откуда-то из-за занавесей зазвучала сладкая музыка.

Арбак сел у ног Ионы. Прислуживали им дети, прекрасные и юные, как амуры.

К концу пира, когда музыка заиграла тихо и приглушенно, Арбак обратился к своей гостье:

— Стремилась ли ты когда-нибудь, моя ученица, живя в этом мрачном и полном превратностей мире, заглянуть вперед, сдернуть покров с будущего и увидеть на берегах

⁵⁷ Путь сабинянам, наступавшим на Рим, преграждала крепость на вершине Капитолийского холма. Гарпея, дочь начальника крепости, согласилась отворить врагам ворота, соблазнившись золотыми запястьями, которые сабиняне носили на левой руке. Но, охотно воспользовавшись предательством, сабиняне к предательнице не испытывали ничего, кроме отвращения. Царь их воскликнул: «Мы обещали отдать ей все, что у нас на левой руке, — исполним же в точности наше обещание!» — и вместе с запястьем он бросил к ногам Гарпеи свой щит. Остальные последовали его примеру, и девушка была похоронена заживо под тяжестью щитов.

судьбы туманные картины того, чему суждено свершиться? Ведь не только у прошлого есть призраки: каждое событие будущего тоже имеет свой призрак — свою тень; когда наступает час, призрак наполняется жизнью, тень обретает плоть и идет по земле. В потустороннем мире есть два неосязаемых и духовных властителя: то, что было, и то, что будет! Если хочешь, мы силой мудрости вместе проникнем туда, увидим прошлое и будущее, узнаем то, что узнал я, — не только тайны мертвых, но и судьбы живых.

— Ты узнал это! Неужели мудрость может проникнуть так далеко?

— Хочешь испробовать силу моих знаний, Иона, и увидеть свою судьбу? Эта драма поразительнее драм Эсхила; я приготовил ее для тебя. Если желаешь, тени исполнят свои роли.

Неаполитанка задрожала. Она подумала о Главке и охнула: соединятся ли их судьбы? Веря и не веря, сомневаясь и благоговей перед словами таинственного египтянина, она сказала, помолчав:

— Мне страшно, а вдруг знание будущего только омрачит настоящее!

— Нет, Иона. Я сам видел твою судьбу: призраки твоего будущего блаженствуют в Елисейских полях. Среди асфоделей и роз они сплетают венки твоей светлой судьбы, и Парки, столь жестокие к другим, лишь для тебя одной ткнут пряжу счастья и любви. Пойдешь ли ты взглянуть на свой жребий, чтобы заранее насладиться им?

И снова сердце Ионы шепнуло: «Главк». Она едва слышно выразила согласие. Египтянин встал и, взяв ее за руку, повел через пиршественный зал, причем занавески раздвинулись сами собой и музыка заиграла громче и веселее. Они миновали ряд колонн, по обе стороны которых били благоуханные фонтаны, и спустились по широкой и пологой лестнице в сад. Наступил вечер. Луна уже стояла высоко в небе. Цветы, которые спят днем и наполняют дурманящим ароматом ночной воздух, густо росли меж дорожками, под сенью густых, залитых лунным светом деревьев, или, собранные в корзины, лежали как жертвоприношения у ног многочисленных статуй, белевших на их пути.

— Куда ты ведешь меня, Арбак? — спросила Иона с удивлением.

— Вон туда, — отвечал он, указывая на маленькое строение в конце аллеи. — В храм, посвященный Паркам. Наше таинство должно свершиться в этом священном месте.

Они вошли в узкий коридор, в конце которого висела черная занавесь. Арбак поднял ее. Иона шагнула вперед и очутилась во мраке.

— Не бойся, — сказал египтянин. — Сейчас загорится свет.

Едва он сказал это, мягкий и теплый свет медленно залил все вокруг, и тогда Иона увидела, что они в небольшой комнате, все стены которой завешаны черным; позади нее было ложе, покрытое материей того же цвета. Посреди комнаты стоял маленький алтарь, а на нем — бронзовый треножник. Сбоку, на гранитной колонне, высилась огромная голова из черного, как ночь, мрамора, — по венку из пшеничных колосьев Иона догадалась, что это изображение великой египетской богини. Арбак стал перед алтарем. Положив на него свой венок, он медленно вылил в чашу, установленную на треножнике, содержимое какого-то бронзового сосуда. Вдруг над треножником взметнулось колеблющееся голубое пламя. Египтянин отступил назад, стал рядом с Ионой и пробормотал несколько слов на незнакомом ей языке. Занавеси позади алтаря затрепетали, потом медленно раздвинулись, и Иона увидела туманную и бледную картину, которая постепенно становилась все отчетливее; наконец она уже могла различить деревья, реки и луга — все прекрасное многообразие изобильной земли. Внезапно на этом фоне проскользнула какая-то тень; она остановилась напротив Ионы, и с ней произошло то же удивительное превращение, она приняла отчетливые очертания, и вдруг Иона узнала себя!

Потом картина за спиной этой призрачной Ионы исчезла, и вместо нее возник зал великолепного дворца. Посреди возвышался трон, окруженный неясными фигурами рабов и стражей, и бледная рука держала над троном что-то вроде диадемы.

Но вот появился новый призрак, весь в черном с головы до ног; лицо его было скрыто.

Он стал на колени перед тенью Ионы, взял ее за руку и указал на трон, словно приглашая взойти на него. Сердце Ионы сильно забилося.

— Открыть ли ему лицо? — прошептал голос рядом с ней. То был голос Арбака.

— О да! — тихо ответила Иона,

Арбак поднял руку. призрак сбросил скрывавший его плащ, и Иона вскрикнула — перед ней на коленях стоял Арбак.

— Вот твоя судьба, — шептал египтянин на ухо. — Тебе суждено стать невестой Арбака.

Иона вздрогнула — черный занавес скрыл фантасмагорию, и Арбак, живой Арбак кинулся к ее ногам.

— Ах, Иона! — сказал он, бросая на нее страстные взгляды. — Выслушай того, кто так долго и тщетно боролся со своей любовью! Я обожаю тебя! Парки не лгут — ты предназначена мне судьбой. Я обыскал весь мир и не нашел тебе равной. С самой юности я мечтал о такой, как ты. Это были лишь грезы, пока я не встретил тебя, и только тогда я проснулся. Не отворачивайся от меня, Иона, не думай обо мне так, как прежде, я уже не тот человек — холодный, бесчувственный, мрачный, каким казался тебе. Ни одну женщину не любил я так преданно и страстно, как буду любить тебя, Иона. Не вырывай у меня руку. Видишь, я сам выпустил ее. Что ж, отними ее, если хочешь, пусть так! Но не отвергай меня, Иона, не спеши, подумай о том, как велика твоя власть над человеком, которого ты так преобразила. Я не становился на колени ни перед одним смертным — и я упал на колени перед тобой. Я повелевал судьбами — и я молю, чтобы ты даровала мне мою судьбу. Иона, не дрожи, ты моя повелительница, моя богиня, будь мне женой! Я исполню все, чего только пожелает твоя душа. Я дам тебе все земные блага — богатство, власть, роскошь. У Арбака не будет иных радостей, кроме радости повиноваться тебе. Иона, взгляни на меня, осчастливь меня улыбкой, засияй надо мной, мое солнце, мое небо, мой свет! Иона, Иона, не отвергай моей любви!

Одна, во власти этого страшного и могущественного человека, Иона все же не испугалась: его почтительные речи и нежный голос ее ободряли, ее чистота была ей защитой. Но она была удивлена, смущена и не сразу могла ответить.

— Встань, Арбак! — сказала она наконец и снова протянула ему руку, но так же быстро отняла ее, почувствовав горячее прикосновение его губ. — Встань, и, если ты говоришь серьезно, если речи твои не шутка...

— Если... — сказал он нежно.

— Выслушай же меня. Ты был моим опекуном, моим другом и наставником... Все это так неожиданно! Не думай, — добавила она поспешно, увидев, что его черные глаза сверкнули, — не думай, что я презираю тебя, что меня не трогает, не умиляет твое поклонение. Но скажи, можешь ты выслушать меня спокойно?

— Да, хотя бы твои слова поразили меня как гром!

— Я люблю другого, — сказала Иона, вспыхнув, но решительным голосом.

— Клянусь богами... клянусь самим адом! — воскликнул Арбак, выпрямляясь во весь рост. — Не смей говорить мне это, не смей смеяться надо мной! Это невозможно! Кого ты видела, кого знала? О Иона! Это все выдумки, женские хитрости, ты хочешь выиграть время. Я удивил, напугал тебя. Делай со мной что угодно, говори, что не любишь меня, но не говори, что любишь другого!

— Увы!.. — начала Иона и вдруг, испуганная его яростным исступлением, заплакала.

Арбак придвинулся ближе — его дыхание обжигало ей лицо. Он обнял ее, но она вырвалась из его рук. При этом на пол упала табличка, которую она прятала на груди. Арбак схватил табличку — это было письмо, которое она утром получила от Главка. Иона села на ложе ни жива ни мертва от страха.

Арбак быстро пробежал письмо глазами. Иона не смела взглянуть на него. Она не видела, как смертельная бледность залила его лицо, как он злобно нахмурился, как задрожали его губы, заволновалась грудь. Он дочитал письмо и выронил табличку. Потом

сказал притворно спокойным голосом:

— Это письмо от того, кого ты любишь? (Иона молча плакала.) Говори! — Он повысил голос до крика.

— Да, да!..

— И вот здесь его имя... Это Главк!

Иона, стиснув руки и озираясь вокруг, искала помощи или пути к бегству.

— Так слушай же, — сказал Арбак почти шепотом. — Ты скорее ляжешь в могилу, чем будешь в его объятиях! Как! Не думаешь ли ты, что Арбак уступит этому ничтожному греку? Не думаешь ли ты, что я ждал, пока плод созреет, чтобы отдать его другому? Если так, ты просто глупа. Ты будешь принадлежать только мне! Ты в моей власти!

Он схватил Иону в объятия. Яростно и исступленно обнимая ее, он забыл о любви и думал только о мщении.

Но отчаяние придало Ионе нечеловеческую силу. Она вырвалась, бросилась назад, в конец комнаты, и хотела отдернуть занавесь. Арбак снова схватил ее, но она снова вырвалась, изнемогая, и упала с громким криком возле колонны, на которой стояла голова египетской богини. Арбак помедлил мгновение, переводя дух, а потом бросился к своей жертве.

В этот миг занавесь резко отдернулась, и египтянин почувствовал, как кто-то крепко схватил его за плечо. Обернувшись, он увидел сверкающие глаза Главка и бледное, изможденное, но страшное лицо Апекида.

— Ах! — вскричал он, переводя злобный взгляд с одного на другого. — Какая фурия привела вас сюда?

— Ата! — ответил Главк и набросился на египтянина.

Тем временем Апекид подхватил на руки безжизненное тело сестры. У него, изнуренного раздумьями и сомнениями, не хватало сил унести ее, хоть она была легка как пух, поэтому он положил ее на ложе и стал над нею с ножом в руке, следя за борьбой между Главком и египтянином, готовый вонзить оружие в грудь Арбака, если он начнет одолевать.

Пожалуй, нет ничего ужаснее на свете, чем поединок, в котором противники меряются звериной силой, когда у них нет другого оружия, кроме того, которым снабдила их природа. Они сдавили друг друга, каждый искал горло соперника, лица сблизилась почти вплотную, глаза бешено сверкали, мускулы были напряжены, жилы вздулись, сжатые зубы оскалились — оба были необычайно сильны, обоими владела ярость. Они вертелись, извивались, раскачивались из стороны в сторону, металась по тесной комнате, издавая злобные крики. Вот они оказались перед алтарем, потом снова у колонны, где началась борьба. Тут они остановились перевести дух — Арбак прислонился к колонне, Главк стоял в нескольких шагах от нее.

— О древняя богиня! — воскликнул Арбак, обхватив колонну и подняв взор к священному изваянию. — Защити своего избранника, обрушь кару на этого приверженца презренной веры, который нечестивым насилием оскверняет твой приют и нападает на твоего слугу!

И тут неподвижные черты огромной головы словно ожили; сквозь черный мрамор, как сквозь прозрачную вуаль, сверкнул яркий румянец; вокруг колонны засверкали молнии; глаза блеснули, как огненные шары, и, казалось, с испепеляющим, неодолимым гневом остановились на лице грека. Охваченный удивлением и ужасом при виде того, как богиня непостижимым образом откликнулась на молитву его врага, не свободный от суеверий своих предков, Главк побледнел перед призрачно ожившим мрамором, колени его подкосились, он затрепетал, мужество готово было его покинуть. Арбак не дал ему времени прийти в себя. —

— Умри, негодяй! — вскричал он громовым голосом и бросился на грека. — Всемогущая мать богов требует тебя в жертву!

Захваченный врасплох, еще не оправившись от суеверного страха, грек поскользнулся на гладком, как стекло, мраморном полу и упал. Арбак наступил на грудь врага. Апекид,

который знал Арбака и в храме Исиды научился не верить чудесам, не разделял страха своего товарища. Он бросился вперед, сверкнул нож, но бдительный египтянин на лету перехватил его руку и вырвал оружие; один взмах кулака, один сокрушительный удар — и Апекид растянулся на полу. С торжествующим воплем Арбак схватил нож и занес его над Главком. Афинянин, не моргнув, глядел в глаза смерти с суровой и презрительной покорностью поверженного гладиатора, но в этот миг земля содрогнулась под ними, словно корчась в агонии, — дух, могущественнее египтянина, дал о себе знать! Это была сокрушительная сила, перед которой оказались бессильны злоба и хитрость. Он пробудился, пошевелился, страшный демон землетрясения, презрительно смеясь и над магией человеческого вероломства, и над черной человеческой яростью. Подобно титану, погребенному под горами, он поднялся от многолетнего сна, заворочался на своем тесном ложе, шатая горы, и земные недра стонали от каждого его движения. И человек, хвастливо объявивший себя полубогом, был повержен во прах в минуту своего торжества и мщения. По земле пронесся глухой грохот, занавеси заколыхались, треножник пошатнулся, высокая колонна дрогнула, голова богини рухнула вниз, прямо на шею египтянина, который склонился над своей жертвой. Он упал под этим страшным ударом замертво, бездыханный, пораженный тем самым божеством, которое он нечестивыми заклинаниями оживил и призвал к себе на помощь.

— Земля спасла своих детей! — сказал Главк, с трудом поднимаясь на ноги. — Будь благословен этот ужасный удар! Возблагодарим богов за их промысел!

Он помог Апекиду встать, а потом перевернул Арбака на спину. Лицо египтянина было безжизненно; кровь текла изо рта на его богатые одежды. Когда Главк разжал руки, он тяжело повалился на пол, и красная струйка медленно поползла по мраморному полу. Земля снова содрогнулась у них под ногами. Главку и Апекиду пришлось схватиться друг за друга, чтобы не упасть, но землетрясение прекратилось так же внезапно, как началось. Они больше не мешкали. Главк легко подхватил Иону на руки, и они бросились прочь от этого проклятого места. Едва они выбежали в сад, как их со всех сторон окружили бегущие в беспорядке женщины и рабы, чьи праздничные одежды выглядели так нелепо в эту ужасную минуту; охваченные страхом, они не обращали внимания на незнакомцев. Предательская пылающая почва у них под ногами после шестнадцатилетнего спокойствия вновь грозила разрушением. Все кричали в один голос: «Землетрясение! Землетрясение!»—и наши беглецы, беспрепятственно пробившись через толпу и минуя дом, бросились по какой-то аллее, потом через открытую калитку, и там, среди темнозеленых алоэ, на холмике, луна вдруг осветила согнувшуюся фигуру слепой девушки — она горько плакала.

КНИГА ТРЕТЬЯ

ГЛАВА I

Форум в Помпеях. Первое грубое орудие, с помощью которого создавалась новая эра.

Было утро, и на форум вышли все — и те, у кого были дела, и празднующиеся. Как в современном Париже, так и в тогдашних италийских городках мужчины почти все время проводили вне дома. Собственно говоря, настоящим домом для них были общественные здания, форум, портики, бани, храмы; неудивительно, что в Помпеях так пышно украшали эти излюбленные места и гордились ими. Форум в Помпеях действительно был в то время очень оживлен. На широком тротуаре, выложенном крупными мраморными плитами, собирались группы людей, которые оживленно беседовали, чуть ли не каждое слово сопровождая жестом, — такая манера говорить до сих пор свойственна жителям итальянского юга. У колоннады в семи будках сидели менялы, перед которыми высились сверкающие кучи монет, а вокруг толпились купцы и моряки в пестрых одеждах. По другую

сторону колоннады можно было увидеть людей в длинных тогах — они спешили к величественному зданию, где вершился суд; это были ходатаи по делам, неугомонные, болтливые, остроумные. Посреди площади стояли на пьедесталах статуи, из которых наиболее замечательным было изваяние Цицерона. Суд окружала правильная и симметричная дорическая колоннада; под этой колоннадой несколько человек, которых дела спозаранку привели на форум, по италийскому обычаю завтракали и толковали между собой о землетрясении минувшей ночи, макая хлеб в чаши с разбавленным вином. По форуму шныряли мелкие торговцы. Один уговаривал деревенскую красотку купить ленты; другой расхваливал сандалии толстому крестьянину; третий, лоточник, каких и сейчас много на улицах итальянских городов, предлагал голодным горячую еду с маленькой переносной печки, а рядом — характерный контраст для того светлого и вместе с тем просвещенного времени — учитель объяснял непонятливым ученикам правила латинской грамматики. Галерея над портиком, куда можно было попасть по узкой деревянной лесенке, также была полна народу; но так как здесь по преимуществу обсуждались важные дела, люди разговаривали тише и серьезнее.

Время от времени толпа внизу почтительно расступалась, давая дорогу какому-нибудь сенатору, направлявшемуся в храм Юпитера (который был тут же, на форуме, и служил залом заседаний Сената) и с нарочитой снисходительностью кивавшему своим друзьям или просителям. Среди пестрых и богатых одежд можно было видеть нескладные фигуры крестьян из ближних селений, которые направлялись к общественным амбарам. Рядом с храмом высилась триумфальная арка, и длинная улица за ней кишела людьми; в одной из ниш арки бил фонтан, весело искрясь в лучах солнца, а над аркой возвышалась бронзовая конная статуя императора Калигулы, красиво выделяясь на безоблачном летнем небе. За будками менял было здание, которое теперь называют Пантеоном;⁵⁸ толпа горожан победнее проходила через маленький вестибул внутрь с корзинами под мышкой, протискиваясь к площадке меж двумя колоннами, где продавалось все то, что осталось у жрецов от жертвоприношений.

У одного из общественных зданий мастера возводили колонны, и стук их молотков то и дело покрывал гул толпы. Эти колонны не достроены и по сей день!

Все это взятое вместе составляло невиданное разнообразие обычаев, сословий, привычек, занятий. Трудно представить себе большую суету, веселье, оживление, кипение и сверканье жизни. Здесь можно было увидеть все обличья той бурной цивилизации, в которой развлечения и торговля, праздность и труд, скупость и тщеславие сливали воедино свои быстрые, разнородные и вместе с тем гармоничные потоки.

На ступенях у храма Юпитера стоял человек лет пятидесяти, скрестив на груди руки и презрительно нахмурясь. Одет он был необычайно просто — на нем не было тех украшений, какие носили в Помпеях люди всех сословий отчасти потому, что любили эти безделушки, но еще и по той причине, что они были сделаны в форме фигурок, которые, как считалось, оберегали от чар колдовства и дурного глаза. У него был высокий лоб и лысый череп; несколько прядей, уцелевших на затылке, были скрыты под капюшоном, который составлял часть плаща, так что его можно было поднять и опустить; теперь он был надвинут на голову для защиты от солнца. Одежда этого человека была коричневая — цвет, не популярный в Помпеях, — без пурпуровой отделки. К поясу были пристегнуты маленькая чернильница, стиль — заостренная палочка для письма — и большие навощенные таблички. Особенно бросалось в глаза то, что за поясом не было кошелька, этой необходимой принадлежности жителя Помпеи, если даже — увы! — он был пуст.

Веселые и самовлюбленные жители города редко обращали внимание на окружающих; но в дерзком взгляде этого человека было столько горького презрения, когда он смотрел на религиозное шествие, поднимавшееся по ступеням храма, что многие поневоле заметили его.

⁵⁸ Греческим словом «пантеон» обозначался храм, посвященный всем богам сразу.

— Кто этот киник?⁵⁹ — спросил один торговец у своего соседа, ювелира.

— Это Олинф, — ответил ювелир, — известный назарейнин.

Торговец вздрогнул.

— Ужасная секта! — сказал он шепотом. — Говорят, они всегда начинают свои ночные обряды с умерщвления новорожденного младенца. А еще называют себя праведниками! Негодяи! Хороши праведники! Что станет с торговцами да и с ювелирами тоже, если все будут следовать их примеру?

— Святая правда, — сказал ювелир. — Они не носят драгоценностей и бормочут проклятия, когда видят змею; а в Помпеях почти все украшения делаются в виде змеи.

— Поглядите только, — сказал третий, хозяин мастерской, где отливали бронзовые чаши и статуи, — как смотрит этот назарейнин на благочестивую жертвенную процессию! Слышите, как он бормочет? Это он призывает проклятия на храм, можете быть уверены. Знаешь ли ты, Цельцин, что этот человек, проходя наднях мимо моей мастерской и увидев, что я работаю над статуей Минервы, нахмурился и сказал: «Жаль, что она бронзовая, а не мраморная, не то я бы ее разбил». — «Разбить богиню!» — ужаснулся я. «Какая она богиня! — сказал этот безбожник. — Это демон, злой дух». И с проклятиями пошел своей дорогой. Неужели мы станем такое терпеть? Надо ли удивляться, что земля так дрожала минувшей ночью, — она хотела стряхнуть со своей груди этого безбожника. Мало сказать — безбожник. Он хулитель искусства. Горе нам, бронзовых дел мастерам, если такие люди будут устанавливать законы!

— Это они спалили Рим при Нероне, — простонал ювелир.

Пока они отпускали по адресу назарейнина эти «дружелюбные» замечания, Олинф почувствовал, что привлек к себе внимание. Он огляделся и увидел, что вокруг собирается толпа, глаза на него и перешептываясь. Посмотрев на них вызывающе и вместе с тем сострадательно, он завернулся в плащ и пошел прочь, громко бормоча:

— Заблудшие идолопоклонники! Неужели сотрясение земли прошлой ночью не послужило вам предостережением? Увы! Как встретите вы свой смертный час?

Каждый слышавший это пророчество толковал его по-разному, в зависимости от степени своего невежества и трусости; однако все сошлись на том, что это ужасное проклятие, и смотрели на христианина, как на врага рода человеческого...

Выбравшись из толпы и дойдя до дальнего края форума, Олинф увидел бледное и серьезное лицо, которое он сразу узнал.

Завернутый в плащ, прикрывавший его жреческое одеяние, Апекид смотрел на приверженца новой, таинственной веры, в которую его чуть не обратили.

«Неужели и он обманщик? Неужели этот человек, в такой скромной одежде, с таким простым лицом, неужели и он, как Арбак, под своей суровостью прячет разнузданность? Неужели покрывало Весты таит под собой порок?»

Олинф, перевидавший много людей всех сословий и хорошо знавший своих ближних, видимо, догадался по лицу Апекида, что происходило в его душе. Он спокойно, с выражением открытым и искренним встретил испытующий взгляд жреца.

— Мир тебе, — приветствовал он Апекида.

— Мир тебе, — отозвался жрец таким безжизненным голосом, что назарейнину стало его жаль.

— В этом приветствии, — сказал Олинф, — соединено все, что есть хорошего на свете, — ведь без добродетели нет мира. Он, подобно радуге, покоится на земле, но вершина его исчезает в небесах. Небеса озаряют его светом, он высится среди облаков, отражает вечное солнце, дарует спокойствие. Это знамение великого завета человека с богом. Такой мир, о юноша, — это улыбка души, это отражение бессмертного света. Мир тебе!

⁵⁹ Философская школа киников, существовавшая со второй половины IV века до н. э., отрицала ценность всех житейских благ, видя единственное благо в душевном спокойствии.

— Увы!.. — начал было Апекид, но, перехватив любопытные взгляды зевак, жаждавших узнать, о чем могут разговаривать известный всем назарейнин и жрец Исиды, замолчал и добавил тихо: — Здесь нам говорить нельзя. Встретимся на берегу реки, там есть дорожка, которая в это время пустынна.

Олинф кивнул. Он быстро пошел по улицам, зорко глядя по сторонам. Время от времени он обменивался многозначительным взглядом или едва заметным знаком с кем-нибудь из прохожих, которые, судя по одежде, в большинстве своем принадлежали к низшим сословиям, ибо, подобно всем другим, в том числе и менее великим переворотам в истории, христианство было сперва крупницей с горчичное зерно в сердцах простолюдинов.

ГЛАВА II

Община

Назарейнин, а следом за ним и Апекид дошли до берега Сарна. Эта река, теперь превратившаяся в маленький ручеек, в то время бурно текла к морю, и по ней плавали бесчисленные суда, а в водах ее отражались помпейские сады, виноградники, дворцы и храмы. Достигнув шумного и оживленного берега, Олинф свернул на дорожку, которая шла под тенистыми деревьями, в нескольких шагах от реки. По вечерам здесь любили гулять горожане, но днем, в жару, сюда редко кто заглядывал, разве только забегут, играя, ребятишки да забредет какой-нибудь задумчивый поэт или спорящие философы. В дальнем конце дорожки нежно зеленели кусты самшита; их листва была причудливо подстрижена в виде фавнов и сатиров, или египетских пирамид, или вензеля какого-нибудь всеми любимого знаменитого гражданина города. Дурной вкус так же древен, как и хороший.

Теперь, когда на эту дорожку падали, пробиваясь сквозь листву, отвесные лучи полуденного солнца, она была совершенно пуста; во всяком случае, никого, кроме Олинфа и жреца, не было видно вокруг. Они сели на одну из скамей под деревом. Легкий ветерок, тянувший с реки, освежал им лица, вода бурлила и сверкала перед ними. Это была удивительная пара: приверженец самой новой и жрец самой древней из религий мира!

— Счастлив ли ты с тех пор, как столь внезапно покинул меня? — спросил Олинф. — Нашло ли твое сердце покой под облачением жреца? Нашел ли ты, жаждущий гласа божия, отзвук его в оракулах Исиды?.. Ты вздыхаешь, отворачиваешься, и это ответ, который предчувствовала моя душа.

— Увы, — отвечал со вздохом Апекид, — ты видишь перед собой несчастного грешника! С детства я мечтал о добродетели. Я завидовал святости тех людей, которые в пещерах и уединенных часовнях общались с высшими существами. Дни я проводил в бурных и смутных мечтаниях, а ночи... ночами меня посещали странные, но торжественные видения. Обманутый ложными пророчествами, я надел это облачение. А потом мою душу (признаюсь тебе откровенно) возмутило то, что я видел и в чем вынужден был участвовать! Стремясь к правде, я стал лишь пособником обмана. В тот вечер, когда мы встретились с тобой, этот лжец вселил в меня новые надежды, а ведь мне следовало бы знать его лучше... Я... Но это неважно! Достаточно сказать, что к своей опрометчивости я добавил клятвopреступление и грех. Но теперь я прозрел. Я думал, что повинуюсь полубогу, а он оказался негодяем! Мир меркнет в моих глазах; я не знаю, есть ли над ним боги или же мы игрушки случая, и что ждет нас за этим коротким и печальным бытием — тьма или новая жизнь. Расскажи же мне про свою веру; разреши мои сомнения, если и в самом деле можешь это сделать.

— Я не удивляюсь, — сказал назарейнин, — ни твоим горьким заблуждениям, ни теперешним сомнениям. Всего лишь восемьдесят лет назад у человека не было уверенности в существовании бога или в будущей жизни, но теперь новые законы провозглашены для имеющих уши, небо — истинный Олимп — раскрывается имеющему глаза. Слушай же внимательно.

И торжественно, как человек, который верит сам и жаждет обратить другого, назарянин стал убеждать Апекида в истинности евангельских обетований. Он со слезами рассказывал о страстях и чудесах Христа и о вознесении спасителя. Он описал чистое и безмятежное небо, уготованное праведникам, и геенну огненную, ожидающую грешников.

Сомнения в величии жертвы, принесенной богом во имя человека, возникавшие в более поздние времена, не могли даже прийти в голову язычнику тех далеких веков. Он привык верить, что боги жили на земле, принимали человеческий образ, разделяли людские труды, муки и несчастья. Разве сын Алкмены,⁶⁰ чьи алтари теперь курились фимиамом во многих городах, не трудился для рода человеческого? Разве великий Аполлон Дорийский не искупил таинственный грех, сойдя в могилу?⁶¹ Небесные божества давали людям законы или оказывали им благодеяния, и благодарность людей превращалась в почитание. Поэтому язычнику не показалось ни необычным, ни странным, что Христос был послан с небес на землю, что бессмертный стал смертным и вкусил горечь кончины.

— Пойдем, — сказал назарянин, видя, какое впечатление произвели его слова. — Пойдем в скромный дом, где собираемся мы, немногие верные. Послушай наши молитвы, узри искренность наших слез раскаяния, принеси вместе с нами простые жертвы — не закланных ягнят, не венки, а светлые мысли, возлагаемые на алтарь сердца...

Апекиду почудилась какая-то щедрая доброта в этих воодушевленных словах Олинфа. Растроганный, он повиновался. Он был в том состоянии, когда человек не может вынести одиночества; к тому же его одолевало любопытство — ему хотелось увидеть те обряды, о которых ходило столько темных и противоречивых слухов. Он помедлил, взглянул на свое одеяние, вспомнил про Арбака и, содрогнувшись от ужаса, поглядел на назарянина. Потом закутался в плащ, чтобы получше скрыть свои одежды, и сказал:

— Веди. Я следую за тобой.

Обрадованный Олинф сжал его руку и, спустившись к реке, окликнул одну из лодок, которых здесь было много. Они вошли в лодку. Навес защищал их от солнца и скрывал от посторонних взглядов; лодка быстро скользила по воде. С одной из лодок, проплывавших мимо, донеслась тихая музыка, ее нос был украшен цветами, она плыла к морю.

— Вот так, радуясь и не ведая своих заблуждений, эти поклонники удовольствий плывут в океан, где их ждет буря и гибель, — сказал Олинф. — Проплывем же мимо них молча, незамеченные, и пристанем к берегу.

Апекид, подняв глаза, сквозь отверстие в навесе увидел одну из пассажирок лодки — это была Иона. Жрец вздохнул и снова сел на скамью. Они причалили неподалеку от грязной окраинной улочки. Выйдя из лодки, Олинф повел Апекида через лабиринт улиц и наконец остановился у запертой двери дома, который был побольше соседних. Он трижды постучал — дверь отворилась и, едва Апекид вслед за своим проводником переступил порог, тотчас закрылась за ними.

Они прошли через пустой атрий и очутились в небольшой комнате, в которую свет проникал лишь через маленькое оконце над дверью. Остановившись на пороге и постучав в дверь, Олинф сказал: «Мир вам». Голос изнутри спросил: «Кому?» — «Верным!» — отвечал Олинф, и дверь отворилась. Четырнадцать человек молча сидели полукругом перед грубым деревянным распятием, видимо погруженные в размышления.

Когда Олинф вошел, они подняли глаза, но не сказали ни слова; сам назарянин, прежде чем заговорить, преклонил колени перед распятием, и Апекид увидел, что он молча молится. Исполнив обряд, Олинф обратился к собравшимся.

— Друзья и братья, — сказал он, — не удивляйтесь, видя среди нас жреца Исиды. Он был в числе слепцов, но святой дух снизошел на него, он хочет сам все видеть, слышать и

⁶⁰ Сын Алкмены — Геркулес.

⁶¹ Наибольшее почитание среди греческих племен богу Аполлону оказывали доряне.

понять.

— Да будет так, — сказал один юноша еще моложе Апекида; лицо у него было такое же бледное и изнуренное тяжкими, бесконечными раздумьями.

— Да будет так, — сказал другой, постарше; его темная кожа и восточное лицо выдавали сирийца — в юности он был грабителем.

— Да будет так, — сказал третий.

Жрец обернулся к нему и узнал в старике с длинной седой бородой раба богача Диомеда.

— Да будет так, — повторили и остальные, все, за исключением двоих, принадлежавшие к низшим сословиям. Эти двое были начальник стражи и александрийский торговец.

— Мы не требуем от тебя соблюдения тайны, — снова заговорил Олинф. — Мы не берем с тебя, как делают некоторые из наших слабых братьев, клятвы не предавать нас. Правда, наша община не запрещена законом, но толпа, еще более дикая, чем ее правители, жаждет расправиться с нами. Так, друзья мои, когда Пилат колебался, толпа кричала: «Распни его!» Но мы не связываем тебя клятвой ради своей безопасности, нет! Предай нас толпе, обвини нас, опорочь, клевети, если хочешь. Мы выше смерти, мы готовы с радостью войти в клетку льва или лечь под плети палача, мы попираем тьму могилы, ибо то, что для преступника смерть, для христианина — вечность.

Послышался одобрительный гул.

— Ты пришел к нам как гость и, если пожелаешь, можешь остаться. Ты хочешь знать, какова наша религия? Она перед тобой. Этот крест — наш единственный кумир, в этом свитке — тайны наших Цер и нашего Элевсина.⁶² Наша мораль? Она в нашей жизни. Мы все были грешниками, но кто может обвинить нас в преступлении теперь? Мы очистились от прошлого. Не думай, что это наша заслуга, — на то была воля божия. Подойди, Медон, — сказал он, кивнув старому рабу, который третьим выразил согласие, чтобы Апекид остался. — Ты единственный раб среди нас. Но на небесах первые будут последними. Да будет так и среди нас. Разверни свиток и читай.

ГЛАВА III

Привратник, девушка и гладиатор

Дверь дома Диомеда была открыта, и старый раб Медон сидел на нижней ступени лестницы. Этот роскошный дом богатого торговца еще и сейчас можно увидеть за городскими воротами, в самом начале Дороги Гробниц. Несмотря на соседство мертвых, квартал этот был веселый. На другой стороне улицы, всего на несколько шагов ближе к воротам, был большой заезжий двор, где люди, посещавшие Помпеи по делам или искавшие здесь развлечений, останавливались закусить и отдохнуть. У ворот этого двора теперь стояли повозки и колесницы — одни только что подъехали, другие уже отъезжали, вокруг царили суэта и оживление. У двери сидели за круглым столиком несколько крестьян и за утренней чашей вина разговаривали о своих делах. Дверь была разрисована в шахматную клетку, известную людям с незапамятных времен. На крыше дома была устроена терраса, где женщины, жены крестьян, которые беседовали внизу, сидели или стояли и, перегнувшись через перила, переговаривались со своими знакомыми. По соседству, в глубокой нише, на покрытой материей скамье отдыхали двое или трое бедняков, отряхивая пыль с одежды. За домом тянулся большой пустырь, некогда бывший кладбищем древнего народа, который жил здесь еще раньше, — теперь тут сжигали мертвых. Над пустырем возвышались террасы

⁶² Элевсин в Аттике был центром знаменитого во всем древнем мире таинственного культа «элевсинской троицы» — богинь Деметры и Персефоны и бога Иакха.

красивой виллы, утопавшей в зелени. Сами гробницы, изящные и разнообразные, окруженные цветами и деревьями, не навевали грусти. У ворот города, в маленькой нише, неподвижный и послушный дисциплине, стоял на часах римский легионер. Солнце ярко блестело на его шлеме и на копье, которое он держал в руке. Ворота состояли из трех арок; средняя была предназначена для колесниц и повозок, две крайние — для пешеходов, а по обе стороны от них высились массивные стены, окружавшие город, многократно чинившиеся в самые различные эпохи, после того как война, время или землетрясение разрушали эти бесполезные укрепления. Над стенами, близко друг от друга, возвышались квадратные башни, нарушая своей живописной суровостью однообразие стен и красиво вырисовываясь рядом с новыми белыми домами.

Дорога на Геркуланум сворачивала и исчезала среди виноградников, над которыми в своем угрюмом величии хмурился Везувий.

— Слыхал новость, старик Медон? — спросила молодая женщина с кувшином, остановившись у двери Диомеда поговорить с рабом, — она шла на заезжий двор наполнить кувшин водой и поболтать с проезжими.

— Новость? Какую новость? — спросил раб, поднимая голову.

— Знал бы ты, какой гость въехал в ворота сегодня утром, когда ты, конечно, еще спал!

— А-а, — сказал раб равнодушно.

— Да, это подарок от благородного Помпониана.

— Подарок? Но ты, кажется, сказала, что приехал гость.

— Да, это сразу и гость и подарок. Знай, жалкий глупец, что это молодой красавец тигр, он примет участие в предстоящих играх. Слышишь, Медон? Вот это будет развлечение! Да я глаз не сомкну, покуда его не увижу. Говорят, он так страшно рычит!

— Бедная дура, — сказал Медон печально и презрительно.

— Нечего меня душой обзывать, старый пень! Тигр — это замечательно, особенно если он кого-нибудь сожрет. Подумай, Медон, теперь у нас есть и лев и тигр! Вот только нет двух подходящих преступников, и нам из-за этого, быть может, придется глядеть, как они сожрут друг друга. Между прочим, у тебя сын гладиатор, красивый и сильный мальчик. Ты бы уговорил его выйти против тигра. Уговори, век буду тебе благодарна, и не одна я, — ты станешь благодетелем всего города.

— Уходи, — сурово сказал раб. — Подумай о собственном спасении, прежде чем болтать о смерти моего бедного мальчика.

— О собственном спасении? — сказала девушка и в испуге оглянулась вокруг. — Сгинь, рассыпья! Пусть твои слова падут на твою же голову! — И девушка схватилась за талисман, висевший у нее на шее. — Какая же опасность мне угрожает?

— Земля тряслась несколько дней назад — разве это не предостережение? — сказал Медон. — Разве у нее нет голоса? Разве она не сказала нам всем: «Готовьтесь к смерти, конец близится».

— Ах, какая чушь! — сказала женщина, оправляя на себе тунику. — Ты говоришь, как эти назаряне, — наверно, ты тоже один из них. Ну ладно, некогда мне болтать с тобой, старый ворон. Ты становишься все ворчливее. Прощай! О Геркулес, пошли нам преступника для тигра и еще одного — для льва!

Эй, эй! Веселья сладок зов!
Под нами целый лес голов.
Глядите! Вон идут бойцы.
Проткнут мечами храбрецы
Друг другу крепкие бока!
Болтайте, зрители, пока. .

Топ-топ! Как весело идут!
Эй, эй! Нас ждет веселье тут!

Напевая звонким голосом эту милую песенку и подобрав полы туники, чтобы не запылить ее по дороге, женщина легко пошла к заезжему двору.

— Мой бедный сын! — сказал раб вполголоса. — Неужто ради пустой потехи ты должен умереть? О, вера Христова, я исповедовал бы тебя со всей искренностью, но мне страшно, ты внушаешь ужас перед этими кровожадными страстями.

Сердце старика тоскливо сжалось. Он замолчал, погруженный в свои мысли, то и дело утирая рукавом глаза. Всем сердцем он был с сыном. Он не видел, как кто-то быстрым, мужественным шагом вошел в ворота. Он не поднял глаз, пока этот человек не остановился и не окликнул его тихо:

— Отец!

— Мой мальчик! Мой Лидон! Неужели это ты? — оказал старик радостно. — Только что я думал о тебе.

— Меня это радует, отец, — сказал гладиатор, почтительно касаясь коленей и бороды старого раба. — Скоро, быть может, я буду с тобой не только в мыслях.

— Да, сынок, но не в этом мире, — печально сказал раб.

— Не говори так, мой господин. Бодришься, потому что я чувствую... Я уверен, что одержу победу. И золото, которое я получу, купит тебе свободу. Отец, всего несколько дней назад надо мной посмеялся человек, чье доверие я не хотел бы обмануть, настолько он щедрее всех своих приятелей. Он не римлянин, он из Афин, и он смеялся надо мной, попрекнул меня корыстолюбием, когда я спросил, сколько получит победитель. Увы, он плохо знает душу Лидона!

— Ах, сын мой, сын мой! — сказал старик и, медленно поднявшись по ступеням, повел его в свою каморку, выходящую в зал, который на этой вилле был перистилем, а не атрием.

Каморка эта сохранилась и по сей день: третья дверь направо (первая вела на лестницу, вторая — в глухую нишу, где стояла бронзовая статуя).

— Конечно, тобой руководят великодушные, любовь и благочестие, — сказал Медон, когда они вошли в каморку, — но самый твой поступок греховен; ты хочешь пролить кровь ради свободы отца — это еще можно простить. Но, чтобы одержать победу, ты должен пролить чужую кровь. А это смертный грех; никакая цель не может его оправдать. Остановись! Лучше мне навеки остаться рабом, чем получить свободу такой ценой!

— Тише, отец мой! — сказал Лидон нетерпеливо. — Я знаю, ты принял эту новую веру, но прошу тебя, не говори со мной о ней, потому что боги, которые наделили меня силой, не дали мне мудрости, и я ни слова не понимаю из того, про что ты так часто мне толкуешь. Ты принял, говорю, эту новую веру, у тебя какие-то странные понятия о добре и зле. Прости, если я тебя обидел. Но подумай сам!.. Против кого я буду сражаться? Если б ты только знал, среди каких негодяев я живу ради тебя, ты сказал бы, что я лишь очищу землю, убив одного из них. Это кровожадные звери, дикари. Самая храбрость их — порок, а не добродетель. Они свирепы, бесчувственны, бессердечны, для них нет ничего святого. Правда, они не знают страха, но не знают ни благодарности, ни милосердия, ни любви, они думают лишь о победе, о том, чтобы убивать без жалости, умереть не дрогнув! Могут ли твои боги, кто бы они ни были, прогневаться на человека, который сражается с такими людьми? Отец, какие бы силы ни взирали на землю с небес, они не найдут долга более священного, чем жертва, принесенная старому отцу благодарным сыном!

Бедный старик, сам лишенный света знания и лишь недавно обращенный в христианскую веру, не знал, как просветить неведение, столь темное и вместе с тем столь прекрасное в своем заблуждении. Первым его порывом было броситься сыну на грудь, вторым — убежать от него, ломая руки; он готов был порицать Лидона, но не мог говорить от рыданий.

— А если твой бог (кажется, он только один?) действительно так милостив, как ты уверяешь, — продолжал Лидон, — он знает, что именно твоя вера в него укрепила меня в решении, которое ты теперь осуждаешь.

— Как! Что ты говоришь? — воскликнул старик.

— Ты ведь знаешь, что ребенком меня продали человеку, который полюбил меня и отпустил на волю. Я поспешил в Помпеи, чтобы увидеть тебя, нашел тебя уже стариком, в услужении у капризного и своенравии хозяина, — ты как раз недавно принял новую веру, и от этого твое положение стало вдвойне тягостным: новая вера отняла у тебя последнее утешение, ты перестал считать рабство справедливым обычаем, а ведь эта мысль так часто помогает нам сносить тяготы. Разве ты не жаловался мне, что принужден делать многое, что не было противно тебе как рабу, но грех для назарянина? Разве ты не говорил, что твоя душа трепещет от раскаяния, когда ты вынужден положить хоть корку хлеба в этот ларарий?⁶³ Что твою душу все время раздирает борьба? Разве не говорил ты, что, даже возливая вино перед порогом и называя при этом имя какого-нибудь греческого божества, ты боишься, что подвергнешься мукам ужаснее Танталовых, вечной каре, которая страшнее, чем в Тартаре. Разве ты не говорил мне это? Я удивлялся, не мог ничего понять этого и, клянусь Геркулесом, не могу и теперь, но я твой сын, и мой единственный долг — помочь тебе. Как же мог я слышать твои стоны, видеть твой ужас, той постоянные мучения и оставаться равнодушным? Нет, клянусь бессмертными богами! Как молния с Олимпа, меня озарила мысль... У меня нет денег, но есть сила и молодость — вот мои сокровища, и я могу продать их ради тебя! Я узнал, сколько нужно денег, чтобы выкупить тебя на свободу, узнал, что победивший гладиатор получает вдвое больше того. Я стал гладиатором — связал себя с ужасными людьми, которые всех презирают и ненавидят, я выучился их ремеслу и благословляю его — оно поможет мне освободить отца!

— О, если бы ты послушал Олинфа! — сказал старик со вздохом, все более поражаясь благородству своего сына, но убежденный в преступности его намерения.

— Если хочешь, я буду слушать кого угодно, — весело отвечал гладиатор, — но не прежде, чем ты перестанешь быть рабом. Под нашим собственным кровом, отец, ты будешь удивлять мой бедный ум хоть целый день, да и ночью тоже, если это доставит тебе удовольствие. Я приискал для тебя хорошее место — одну из девятисот девяноста девяти лавок старой Юлии Феликс в южной части города. Днем ты будешь греться на солнышке у порога, а я стану продавать вместо тебя масло и вино, а потом, если будет угодно Венере (или не угодно ей, поскольку ты ее не любишь, мне все равно), потом, говорю я, у тебя, быть может, появится дочь, она будет хранить твою старость, и ты услышишь, как детские голоса назовут тебя дедушкой. Как я буду счастлив! Денег хватит на все. Не печалься, мой господин!.. А теперь мне пора. Скоро вечер, меня ждет ланиста. Благослови же меня!

Говоря это, он вышел из темной каморки, и теперь они, продолжая разговаривать шепотом, стояли на том же месте, где раньше сидел Медон.

— Благослови тебя бог, мой храбрый мальчик! — сказал Медон горячо. — И пусть великая сила, которая читает во всех сердцах, увидит твое благородство и простит тебе твое заблуждение!

Рослый гладиатор быстро пошел по дорожке легкой, но полной достоинства походкой. Раб проводил его взглядом, пока он не исчез из виду, потом, сев на свое место, снова уронил голову на грудь. Его фигура, безмолвная и неподвижная, была словно высечена из камня. А его сердце... Кто в наш более счастливый век способен представить себе муки и смятение этого сердца!

— Можно войти? — спросил нежный голос. — Твоя хозяйка дома?

Раб равнодушно махнул рукой, но пришедшая не видела этого — она робко повторила свой вопрос чуть погромче.

⁶³ Ларарий — уголок, где стояли изображения Ларов.

— Я же тебе сказал! — проговорил привратник с раздражением. — Входи!

— Спасибо, — произнес жалобный голос, и только тогда раб, подняв голову, узнал слепую Нидию.

В горе человек всегда сочувствует чужому несчастью — он встал, провел ее до другой лестницы (которая вела вниз, в комнаты Юлии), а там, позвав служанку, передал ей слепую девушку.

ГЛАВА IV

Будуар помпейской красавицы. Важный разговор между Юлией и Нидией

Пленительная Юлия сидела в своей комнате, окруженная рабынями. Эта комната, как и примыкавшая к ней спальня, хоть и маленькая, все же была гораздо больше обычных спален, почти всегда таких крохотных, что те, кто их не видел, едва ли могут хоть отдаленно представить себе каморки, в которых помпеянам, кик видно, нравилось проводить ночь. В сущности, «кровать» не играла у древних ту важную роль в доме, что нас. Само ложе походило на очень узкую и короткую кушетку и было такое легкое, что его можно было без помощи рабов передвигать с места на место; наверняка его часто переносили из комнаты в комнату по прихоти хозяина или в зависимости от времени года, потому что в Помпеях те комнаты, где жили в одни месяцы, совершенно пустовали в другие. Кроме того, италийцы в те времена избегали слишком яркого дневного света. Их темные комнаты (как мы думали сначала — результат плохой планировки) были специально на это рассчитаны. В портиках и садах желающие могли наслаждаться солнцем, а внутри домов они искали тени и прохлады.

Юлия в это время года жила внизу, под парадными покоем. Ее комнаты окнами выходили в сад. Утренний свет проникал сюда лишь через застекленную дверь; и все же глаза Юлии, привыкшие к полумраку, прекрасно видели, какой цвет ей больше к лицу, какой оттенок нежных румян придает больше всего блеска ее темным глазам и свежести — щекам.

На столике перед ней стояло круглое зеркальце из гладко отполированной стали, а вокруг в строгом порядке были разложены притирания и мази, духи и краски, драгоценности и гребни, ленты и золотые булавки, с помощью которых искусство и капризная мода должны были сделать еще ослепительней ее природную красоту. В полумраке комнаты ярко сверкали живые и разнообразные фрески в помпейском вкусе. У столика, под ногами у Юлии, лежал восточный ковер. Рядом, на другом столике, были серебряный таз с кувшином, погашенный светильник в виде изящной фигурки Купидона, отдыхающего под сенью миртового дерева, и маленький свиток папируса с нежнейшими элегиями Тибулла. На двери, которая вела в спальню, висела занавеска, пышно расшитая золотыми цветами. Таков был будуар красавицы восемнадцать столетий назад.

Прекрасная Юлия лениво откинулась на своем сиденье, а цирюльник тем временем возводил у нее на голове целое сооружение из мелких локонов, старательно подплетая накладные пряди, пока прическа не достигла такой высоты, что голова как бы оказалась не сверху, а чуть ли не в середине ее фигуры.

Туника янтарного цвета, хорошо оттенявшая темные волосы и смуглое лицо, широкими складками падала к ногам Юлии, на которых были домашние туфли, завязанные вокруг тонких щиколоток белыми ремешками; сделанные из пурпура, они были расшиты жемчугом, и носки их были слегка загнуты, как у нынешних турецких туфель. Старая, опытная рабыня, постигшая все тайны туалета, стояла рядом с цирюльником, перекинув через руку широкий, усыпанный драгоценными камнями пояс Юлии, и время от времени давала указания этому зодчему, пересыпая их лестью в адрес своей госпожи.

— Воткни эту булавку поправее да пониже, дурак ты этакий! Разве ты не видишь, какие у нашей госпожи ровные и красивые брови? Можно подумать, что причесываешь Коринну, у которой все лицо перекошено. А теперь цветы... Да нет же, дурак, не этот блеклый красный, ведь ты подбираешь их не для тусклых щек Хлориды: нужны самые яркие

цветы, только они к лицу нашей юной Юлии.

— Полегче! — сказала Юлия, сердито топая ножкой. — Ты тянешь меня за волосы, будто сорную траву выпалываешь!

— Болван! — продолжала распорядительница церемонии. — Разве не знаешь ты, как нежна твоя госпожа? Ведь ты убираешь не лошадиную гриву вдовы Фульвии. А теперь ленту — вот так. Прекрасная Юлия, поглядишь в зеркало: видала ли ты кого-нибудь красивее себя?

Когда после бесчисленных замечаний и возни хитрая башня была наконец воздвигнута, глазам придали мягкую томность, нанеся темную пудру на веки и брови; узкая полоска, вырезанная в виде полумесяца и искусно наклеенная на розовые губы, подчеркивала форму рта и красоту зубов, природная белизна которых была доведена до совершенства.

Другой рабыне, которая до тех пор стояла без дела, было приказано надеть на госпожу драгоценности: жемчужные серьги (по две в каждое ухо), массивные золотые браслеты, золотую цепь, на которой висел хрустальный талисман, на левое плечо — изящную брошку, в которую была вставлена красивая гемма с изображением Психеи, пурпуровый пояс, богато расшитый золотыми нитями, с пряжкой в виде двух переплетенных змей и, наконец, множество колец на каждый сустав тонких белых пальцев. Теперь туалет по последней римской моде был завершен. Прекрасная Юлия бросила в зеркало последний тщеславный взгляд и, откинувшись на сиденье, равнодушным тоном попросила самую молодую из своих рабынь почитать ей нежные стихи Тибулла. Чтение еще не кончилось, когда служанка ввела Нидию.

— Привет тебе, Юлия! — сказала слепая девушка, остановившись в нескольких шагах от того места, где сидела красавица, и сложив на груди руки. — Ты звала меня, и вот я здесь.

— Это хорошо, цветочница, — сказала хозяйка. — Подойди и сядь.

Один из рабов поставил около Юлии сиденье, и Нидия опустилась на него.

Юлия некоторое время пристально смотрела на девушку и смущенно молчала. Потом знаком велела слугам удалиться и закрыть дверь. Когда они остались одни, она спросила, невольно отворачиваясь от Нидии и забыв, что та не может видеть ее лицо:

— Я слышала, ты служишь Ионе?

— Да, сейчас я у нее, — отвечала Нидия.

— И она в самом деле так хороша, как о ней говорят?

— Не знаю, — сказала Нидия. — Как я могу судить?

— Ах, я совсем забыла! Но ведь у тебя есть уши. Что слышала ты от других рабов? Красива ли она? Когда рабы разговаривают между собой, они ведь забывают о лестях.

— Говорят, что красива.

— Гм! И высокого роста?

— Да.

— И я тоже. Волосы темные?

— Говорят, что так.

— И у меня тоже. А часто у нее бывает Главк?

— Каждый день, — отвечала Нидия, Подавляя вздох.

— Неужели каждый день? И она ему нравится?

— Наверное, потому что они скоро поженятся.

— Поженятся! — вскричала Юлия, бледнея даже сквозь румяна, и вскочила.

Нидия, конечно, не видала, какие чувства отразились на ее лице. Юлия долго молчала, но, взглянув на ее вздымающуюся грудь и сверкающие глаза, зрячий сразу понял бы, какой удар был нанесен ее тщеславию.

— Говорят, ты из Фессалии, — сказала она наконец, нарушая молчание.

— Это правда.

— Фессалия — страна магии и колдовства, талисманов и приворотных зелий, — сказала Юлия.

— Да, когда-то она славилась своими чародеями, — робко отвечала Нидия.

— Знаешь ли ты какие-нибудь любовные заклинания?

— Я? — сказала девушка краснея. — Откуда? Нет, клянусь тебе!

— Тем хуже для тебя; я могла бы дать тебе столько золота, что ты выкупила бы на свободу.

— Но почему красавица Юлия спрашивает об этом у бедной рабыни? — сказала Нидия. — Разве она не богата, не молода, не прекрасна? Зачем же ей магия, когда у нее есть такие чары?

— Эти чары могут покорить всех, кроме одного человека, — отвечала Юлия надменно. — Но мне кажется, твоя слепота заразительна, и... Впрочем, неважно.

— Кто же этот человек? — спросила Нидия с тревогой.

— Это не Главк, — отвечала Юлия, невольно прибегая к обычной женской хитрости. — Нет, не Главк.

Нидия вздохнула свободней, а Юлия, помолчав немного, продолжала:

— Просто наш разговор о Главке и его чувствах к Ионе напомнил мне о любовных чарах, которыми, я знаю, она приворотила его, но это меня не интересует. Слепая девушка, я люблю, и — вот до чего дожила Юлия! — люблю без взаимности. Это унижает... или нет, не унижает, а уязвляет мою гордость. Я заставлю этого неблагодарного пасть к моим ногам — не для того, чтобы поднять его, а чтобы отшвырнуть. Когда мне сказали, что ты из Фессалии, я подумала, не знаешь ли ты темные тайны своей страны.

— Увы, нет, — пробормотала Нидия. — Если бы я знала!..

— Благодарю, по крайней мере, за доброе пожелание, — сказала Юлия, не подозревая о том, что творилось в душе бедной девушки. — Но скажи мне — ты слышишь разговоры рабов, а они всегда интересуются этими таинствами, всегда готовы обратиться к колдовству, чтобы утолить свои низменные желания, — нет ли в этом городе какого-нибудь восточного колдуна, владеющего искусством, которое тебе неизвестно? Не тщеславного прорицателя, не базарного фокусника, а могучего волшебника из Индии или из Египта?

— Из Египта? О да! — сказала Нидия, содрогаясь. — Кто в Помпеях не знает Арбака?

— Арбак! Верно! — воскликнула Юлия. — Говорят, что этот человек выше жалких притворщиков, что он сведущ в тайнах звезд и древней богини Ночи. Почему бы ему не знать и тайны любви?

— Если есть на свете настоящий, могучий чародей, так это он, ужасный Арбак, — отвечала Нидия, нащупав талисман.

— Но ведь он слишком богат, чтобы помочь мне за деньги, — продолжала Юлия. — Могу ли я пойти к нему?

— Его дом — неподходящее место для молодой красавицы, — отвечала Нидия. — И, кроме того, я слышала, что он заболел после...

— Неподходящее место! — сказала Юлия, услышав только первые слова. — Отчего же?

— Его ночные оргии ужасны! По крайней мере, так говорит молва.

— Клянусь Церерой, Паном, Кибелой, ты только возбуждаешь мое любопытство, вместо того чтобы вызвать страх! — сказала капризная и избалованная красавица. — Я найду его и спрошу про его искусство.

Нидия не ответила.

— Я разыщу его сегодня, — продолжала Юлия. — Сейчас же!

— Теперь, когда он слаб, а тем более днем, тебе, конечно, нечего бояться, — сказала Нидия, выдавая собственное тайное желание узнать, действительно ли египтянин владеет приворотными и отворотными чарами, о которых она так много слышала.

— Кто посмеет оскорбить дочь богача Диомеда? — надменно проговорила Юлия. — Я пойду к нему.

— Можно мне прийти сюда еще раз — узнать, что он тебе скажет? — спросила Нидия с волнением.

— Поцелуй меня: я вижу, что тебе дорога честь Юлии, — сказала красавица. — Да, конечно. Сегодня вечером мы будем в гостях — приходи завтра в этот же час, и ты узнаешь

все. Может быть, ты мне даже понадобишься. А пока ступай... Пстой, возьми этот браслет в награду и помни: если будешь служить Юлии, она умеет быть щедрой и благодарной.

— Мне не нужен твой подарок, — сказала Нидия, кладя браслет на столик. — Хотя я и молода, но умею сочувствовать тем, кто любит безответно.

— Что я слышу! — сказала Юлия. — Ты говоришь, как свободная женщина. И ты будешь свободна. Прощай!

ГЛАВА V

Юлия находит Арбака. Результат их разговора

Арбак сидел в комнате, выходящей окнами в сад. Он был бледен и изнурен перенесенными страданиями, но его железный организм уже оправился от худших последствий несчастья, которое расстроило его коварные планы, когда он уже торжествовал победу. Благоуханный ветерок освежил Арбака, и кровь его, которая е столько дней вяло текла по жилам, заструилась быстрее.

«Что ж, — думал он, — вихрь судьбы налетел и умчался, предсказанное зло, угрожавшее моей жизни, свершилось — и я остался жив! Все произошло, как предрекли звезды; теперь меня ждет долгая, безмятежная, счастливая жизнь, раз мне удалось пережить эту последнюю опасность. Теперь я могу без страха срывать цветы в садах своего будущего. И первой радостью, даже прежде любви, будет месть! Этот молодой грек, который стал у меня на пути, разрушил мои планы, ускользнул от меня в тот самый миг, когда кинжал готов был пролить его проклятую кровь, во второй раз не уйдет от меня! Но какой способ мести я изберу? Над ним нужно хорошенько подумать! О Ата, если ты и на самом деле богиня, осени меня самым смелым вдохновением!»

Египтянин погрузился в размышления, но не мог придумать ни одного подходящего способа мести. Он метался на ложе, перебирая один план за другим, но тотчас отбрасывал их. Несколько раз он бил себя в грудь и громко стонал в бессильной злобе. Тем временем молодой раб робко вошел в комнату. Он доложил, что какая-то женщина, очевидно знатная, судя по ее платью и по платью единственного раба, который ее сопровождает, ждет внизу и хочет поговорить с Арбаком.

— Женщина? — Сердце египтянина забилося быстрее. — Она молода?

— Лицо ее скрыто под вуалью, но фигура у нее стройная и юная.

— Проси, — сказал египтянин; на миг в своем тщеславии он возомнил, что это Иона.

Но, когда гостя вошла, он с первого же взгляда понял, что надежда обманула его.

Правда, она была почти такого же роста, как Иона, и, быть может, не старше ее, хорошо сложена, но где была та трепетная и невыразимая грация, которая сквозила в каждом движении красавицы неаполитанки, скромность и простота одежд, полная достоинства походка, величественная и целомудренная женственность!

— Прости, что я сижу в твоём присутствии, но мне трудно встать, — сказал Арбак, глядя на незнакомку. — Я еще не оправился от болезни.

— Не беспокойся, о великий египтянин! — отвечала Юлия, стараясь под лстивыми словами скрыть охвативший ее страх. — Прости несчастную, которая ищет утешения в твоей мудрости.

— Подойди ближе, прекрасная незнакомка, — сказал Арбак. — Говори смело, не бойся.

Юлия села подле египтянина и с любопытством оглядела комнату, изысканная роскошь которой затмевала даже великолепие дома ее отца. Со страхом разглядывала она иероглифы на стенах, таинственные статуи, которые смотрели на нее из каждого угла, треножник, стоявший поодаль и, главное, мрачное и таинственное лицо самого Арбака. Белая ткань, прикрывавшая его черные, как вороново крыло, волосы, спадала к ногам; бледность делала его лицо еще выразительнее; темные пронизательные глаза, казалось, видели сквозь

покрывало и читали тайны ее тщеславной и грубой души.

— Что привело тебя, о дева, — сказал тихий, ровный голос, — сюда, в дом незнакомого человека, пришельца с Востока?

— Его слава, — отвечала Юлия.

— Какова же она? — спросил он со странной, едва заметной улыбкой.

— И ты еще спрашиваешь, о мудрый Арбак! Разве не говорит о твоей мудрости весь город?

— Действительно, я накопил кое-какие знания, — сказал египтянин. — Но к чему все эти таинства красавице вроде тебя?

— Увы! — сказала Юлия, которая несколько ободрилась, услышав привычную ей лесть. — Разве печаль не ищет утешения у мудрости, и разве тот, кто любит безответно, не знает печали?

— Как! — сказал Арбак. — Может ли безответная любовь быть уделом женщины, столь прекрасной, что ее красота видна даже под складками этих богатых одежд? Благоволи же, о дева, поднять покрывало, чтобы я, по крайней мере, увидел, так ли прекрасно твое лицо, как и фигура.

Юлия, видно, была не прочь показать свои прелести и вместе с тем надеялась заставить чародея принять в ней участие, поэтому после недолгого колебания она подняла покрывало и открыла лицо, которое показалось бы египтянину и в самом деле привлекательным, если бы не ухищрения цирюльника.

— Ты несчастна в любви, — сказал он. — Вот тебе мой совет: повернись лицом к неблагодарному. Ничего лучшего я не могу тебе посоветовать.

— Оставь эти любезности! — сказала Юлия. — Я прошу тебя помочь мне любовными чарами.

— Прекрасная незнакомка! — сказал Арбак не без презрения. — Любовные чары не входят в число тайн, на которые я тратил по ночам масло.⁶⁴

— Это правда? Тогда извини меня, великий Арбак, и прощай.

— Постой, — сказал Арбак, который, несмотря на страсть к Ионе, не остался равнодушен к красоте своей гостьи; и, не будь он так слаб, ему, быть может, захотелось бы утешить прекрасную Юлию иными средствами, нежели сверхъестественная мудрость. — Постой. Хотя я признаюсь, что оставил всякие зелья и снадобья тем, кто только этим ремеслом и занимается, все же сам я не безразличен к красоте и в юности, быть может, тоже пользовался этими зельями. Я могу помочь тебе, если ты будешь со мной искренна. Скажи мне прежде всего: ты не замужем, как я могу судить по твоей одежде?

— Нет, — сказала Юлия.

— И, не имея состояния, ты хотела бы пленить какого-нибудь богатого жениха?

— Я богаче того, который меня отверг.

— Странно, очень странно! И ты любишь его?

— Не знаю, люблю ли я его, — отвечала Юлия надменно, — но я хочу восторжествовать над соперницей, хочу, чтобы отвергнувший меня был у моих ног и отвергнут, которую предпочел мне.

— Обычное женское тщеславие, — сказал египтянин серьезно, без насмешки. — И еще одно, прекрасная дева: назови мне имя того, кого ты любишь. Неужели есть такой человек в Помпеях, который может презирать богатство или быть слепым к красоте?

— Он из Афин, — отвечала Юлия потупясь.

— А! — вскричал египтянин и покраснел. — В Помпеях есть только один молодой и знатный афинянин. Значит, ты говоришь о Главке!

— Ах! Не выдавай меня! Это действительно он.

⁶⁴ То есть проводил бессонные ночи над книгами: в светильниках и лампах у древних горело масло.

Египтянин откинулся назад, задумчиво глядя на дочь торговца и что-то бормоча про себя. До сих пор его только забавляли доверчивость и надменность гостя, но теперь он подумал: а нельзя ли ее сделать орудием мести?

— Я вижу, что ты не можешь помочь мне, — сказала Юлия, обиженная его долгим молчанием. — Сохрани же, по крайней мере, мою тайну. Еще раз прощай!

— Прекрасная дева, — сказал египтянин серьезно, — твоя просьба тронула меня — я тебе помогу. Слушай же. Сам я никогда не занимался этими мелочами, но знаю ту, которая в них сведуща. У подножия Везувия, менее чем в четырех милях от города, живет могущественная ведьма. Под обильными росами новой луны она собрала травы, которые обладают силой привораживать любовь навеки. Ее искусство может повергнуть возлюбленного к твоим ногам. Найди ее и скажи, что тебя послал Арбак; она трепещет перед этим именем и даст тебе самые сильные зелья.

— Увы! — отвечала Юлия. — Я не знаю дороги к жилищу той, о которой ты говоришь! Хоть путь и близок, он опасен для девушки, которая тайно уходит из отцовского дома. Там растет дикий виноград, скрывая глубокие пропасти. Я не могу довериться незнакомому проводнику: доброе имя женщины в моем положении легко опорочить. Мне безразлично, пусть все знают о моей любви к Главку, но я не хочу, чтобы думали, что я добилась его любви колдовством.

— Мне нужно еще хоть три дня, чтобы оправиться, — сказал египтянин, встал и, словно пробуя свои силы, прошелся по комнате нетвердыми шагами. — Тогда я сам провожу тебя. Придется подождать.

— Но Главк женится на проклятой неаполитанке!

— Женится?

— Да. В начале будущего месяца.

— Так скоро! Ты это точно знаешь?

— Мне сказала ее собственная рабыня.

— Этому не бывать! — заявил египтянин решительно. — Не бойся ничего, Главк будет принадлежать тебе. Но как ты заставишь его выпить зелье?

— Мой отец пригласил Главка на пир послезавтра, — кажется, вместе с этой неаполитанкой. Я сумею опоить его.

— Решено! — сказал египтянин, и глаза его сверкнули такой свирепой радостью, что Юлия, задрожав, потупилась. — Прикажи приготовить к завтрашнему вечеру носилки. Есть у тебя носилки?

— Конечно, есть, — сказала Юлия, гордясь своим богатством.

— Прикажи их приготовить. В двух милях от города есть увеселительное заведение, где часто бывают богатые люди, там великолепные купальни и сады редкой красоты. Ты сделаешь вид, будто отправляешься туда, и там я, если только буду жив, встречу тебя в роще у статуи Силена и сам отведу к ведьме. Мы подождем, пока с восходом вечерней звезды стада и пастухи уйдут на отдых; тогда темнота скроет нас, и никто не встретится на пути. А теперь иди домой и ничего не бойся. Клянусь Аидом, даю тебе слово Арбака, египетского чародея, что Иона никогда не выйдет замуж за Главка!

— И Главк будет принадлежать мне! — подхватила Юлия.

— Быть по-твоему, — сказал Арбак.

И Юлия, опасаясь предстоящего свидания, но подстрекаемая ревностью и досадой даже больше, чем любовью, все же решилась.

Оставшись один, Арбак произнес:

— О светлые звезды, которые никогда не лгут, вы уже начинаете исполнять свои обещания — успех в любви и победу над врагами. В тот самый час, когда я не мог найти средства для мести, вы послали эту красивую дуру, чтобы указать мне путь. — Он замолчал, глубоко задумавшись. — Да, — продолжал он уже спокойнее, — я не мог сам дать ей яд, а вдруг меня выследят и обвинят в смерти афинянина! Но ведьма — самое подходящее орудие для моих планов!

Он кликнул раба, велел ему поскорее идти вслед за Юлией и узнать, кто она такая. Сделав это, он вышел в портик. Небо было ясное и безоблачное, но Арбак, хорошо знавший его изменчивость, по нескольким облачкам, медленно плывшим по ветру далеко на горизонте, понял, что близится гроза.

— Это похоже на мою месть, — сказал он. — Небо чистое, но надвигаются тучи.

ГЛАВА VI

Южная гроза. Пещера колдуньи.

Когда дневной зной понемногу спал, Главк с Ионой отправились подышать свежим воздухом. В те времена римляне пользовались различными экипажами. Богатые люди, когда ездили без спутников, обычно пользовались уже описанной нами колесницей, запряженной парю; знатные матроны ездили в колясках, обычно двухколесных; кроме того, древние пользовались также носилками — большим паланкином, более удобным, чем современный, так как в нем можно было не сидеть, а лежать, меньше чувствуя неприятные толчки. Был еще просторный экипаж с откидным верхом, употребляемый как для дальних путешествий, так и для прогулок по окрестностям города, — в нем свободно размещались трое или четверо пассажиров. В таком экипаже наши влюбленные, сопровождаемые рабыней Ионы, и отправились на прогулку. Милях в десяти от города были в то время руины древнего храма, очевидно греческого; а так как Главку и Ионе все греческое было дорого, они решили осмотреть эти руины и направились туда.

Сначала дорога шла среди виноградников и оливковых рощ, потом, петляя и поднимаясь все выше к Везувию, стала более неровной, лошади шли медленно, с трудом; и в каждом просвете меж деревьями виднелись те серые, угрюмые пещеры, изрытые опаленные огнем скалы, которые описаны Страбоном; впоследствии потоки лавы и время скрыли их от человеческого глаза. Солнце, склоняясь к закату, бросало на гору длинные и густые тени; кое-где в дубовых и буковых рощах еще слышалась пастушеская свирель. Иногда они видели на склоне изящную козочку с шелковистой шкурой, витыми рогами и блестящими серыми глазами, которая и теперь еще под небом Авзонии воскрешает эклоги Марона;⁶⁵ виноградные лозы, уже тронутые краснотой, гирляндами свисали с деревьев. Легкие облака так медленно плыли по голубому небу, что казались неподвижными, а справа сверкала спокойная гладь моря, по которой скользило какое-то судно, и солнечный свет искрился на воде во всем многообразии нежных красок.

— Как красиво! — сказал Главк вполголоса. — Не потому ли зовем мы землю нашей матерью? С какой нежной любовью изливает она щедроты равно на всех своих детей! И даже те бесплодные места, которым природа отказала в красоте, она тоже одаряет улыбкой. Взгляни на земляничные деревья и лозы, которыми она одела сухую почву на склонах этого угасшего вулкана. Ах, в такой час здесь легко представить себе, что сейчас смеющееся лицо фавна высунется из этих зеленых гирлянд или что мы увидим в густом лабиринте ветвей горную нимфу. Но нимфы исчезли, прекрасная Иона, когда родилась ты!

Приехав к руинам, они осмотрели их с тем благоговением, с каким мы осматриваем священные реликвии наших предков. Они пробыли там до тех пор, пока Геспер не появился на розовеющем небе, и, возвращаясь домой, были молчаливее прежнего, ибо в сумраке, под звездами, оба еще сильнее чувствовали, как они любят друг друга.

Тем временем гроза, которую предугадал египтянин, уже собиралась над ними. Сначала далекий раскат грома возвестил о предстоящей борьбе стихий; затем по небу быстро

⁶⁵ А в з о н и я — Италия (авзоны — имя одной из групп италийских племен). Марон — Публий Вергилий Марон, замечательный римский поэт I века до н. э. Кроме знаменитой поэмы «Энеида», ему принадлежит сборник пастушеских стихотворений, обычно называемых буколиками или эклогами,

побежали темные гряды облаков. Гроза в этих местах налетает с невероятной быстротой, и в те далекие времена это вполне могло внушить людям, полным суеверий, мысль о гневе богов. Крупные капли тяжело упали сквозь листву придорожных деревьев, а потом нестерпимо яркая молния быстрым зигзагом сверкнула прямо перед глазами, и ее поглотил сгущающийся мрак.

— Скорей, мой добрый возница! — крикнул Главк. — Гроза настигает нас!

Раб стал погонять мулов, и они понеслись вскачь по неровной каменистой дороге, а тучи все сгущались, все ближе гремел гром и сильнее хлестал дождь.

— Ты боишься? — шепнул Главк, который воспользовавшись грозой, пододвинулся ближе к Ионе.

— С тобой я не боюсь ничего, — ответила она тихо.

В этот миг экипаж, непрочный и ненадежный (какими, несмотря на их красоту, были на практике многие изобретения того времени), въехал в глубокий ухаб, поперек которого лежало упавшее дерево. Возница с проклятиями хлестнул мулов, чтобы преодолеть препятствие, колесо соскочило с оси, и экипаж опрокинулся.

Главк быстро выбрался из-под него и поспешил помочь Ионе, которая, к счастью, осталась невредима. Не без труда они подняли экипаж и увидели, что он больше не может служить им укрытием: пружины, удерживавшие верх экипажа, лопнули, и дождь заливал сиденья.

Что оставалось делать? До города было еще довольно далеко, а вокруг ни жилья, ни людей, которые могли бы оказать помощь.

— В миле отсюда есть кузница, — сказал возница. — Пойду поищу ее, может быть, кузнец починит хоть колесо. О Юпитер, как хлещет дождь! Моя госпожа промокнет, прежде чем я вернусь.

— Беги скорей, — сказал Главк. — А мы пока где-нибудь укроемся.

У дороги росли деревья, и Главк увлек Иону под самое большое из них. Сорвав с себя плащ, он хотел укрыть ее, но ливень был так силен, что сразу промочил плащ насквозь. Главк шептал своей прекрасной путнице ободряющие слова, как вдруг молния ударила в дерево совсем рядом с ними и со страшным треском разнесла в щепы его огромный ствол. Они поняли опасность, и Главк, озираясь, стал искать укрытие понадежней.

— Мы сейчас недалеко от Везувия, — сказал он. — Там, на склоне горы, должна быть какая-нибудь пещера, заросшая виноградом. Надо только найти это убежище, оставленное нимфами.

С этими словами он вышел из-под деревьев и, бросив печальный взгляд в сторону горы, увидел невдалеке, во мраке, дрожащий красноватый огонек.

— Наверно, это огонь в очаге какого-нибудь пастуха или виноградаря, его свет приведет нас под гостеприимный кров. Ты побудь здесь, пока я... или нет, но не могу оставить тебя в опасности!

— Я пойду с тобой, — сказала Иона. — Открытое место лучше, чем предательский кров этих ветвей.

Почти неся Иону на руках, Главк, сопровождаемый дрожащей рабыней, пошел на красноватый огонек, который все горел. Они прошли открытое поле, и теперь дикий виноград мешал им идти, а путеводный огонек был виден лишь изредка. Ливень все усиливался. Молнии ослепительно сверкали, и путники спешили вперед, надеясь, если потеряют из виду огонек, найти какой-нибудь домик или пещеру. Лозы сплетались все гуще, огонек исчез совсем, но узкая тропинка, по которой они продвигались с таким трудом при свете частых и долгих вспышек молний, вела их дальше. Дождь вдруг перестал. Перед ними угрюмо высились обрывистые и неровные глыбы застывшей лавы, которые казались еще страшнее при свете молний. Порой молнии повисали над серыми кучами пепла, давно уже обомшелыми или поросшими низкими деревьями, словно тщетно искали чего-нибудь более достойного своей ярости; иногда, оставляя сушу во мраке, они широкой полосой протягивались над морем, а потом устремлялись вниз, так что вода словно вспыхивала; и так

ярок был этот блеск, что взгляду открывались даже очертания дальних мысов, от вечного Мизена с его высоким челом до прекрасного Суррента, окаймленного горами.

Наши влюбленные остановились в растерянности, но тут мрак, сгустившийся между двумя вспышками молний, снова окружил их, и они увидели высоко над собой, но совсем близко все тот же таинственный свет. Новая молния озарила небо и землю. Домов поблизости не было, но там, в пещере, огонь, не затмеваемый больше небесным сиянием, снова стал виден. Они решили подняться к пещере. Им пришлось петлять среди скал, местами поросших кустарником, но они подходили все ближе и наконец очутились у входа в пещеру, очевидно образованную огромными глыбами, которые откололись от горы и легли наклонно одна к другой, образовав нечто вроде двускатной крыши. Вглядевшись во мрак, оба невольно попятнулись в суеверном страхе. В глубине пещеры горел огонь; над очагом висел небольшой котел; на высоком и тонком железном шесте торчал грубый светильник; на той стене, возле которой горел огонь, были развешаны во много рядов, видимо для просушки, всякие травы. У огня лежала лиса и смотрела на пришельцев блестящими красноватыми глазами, она ошетибилась и глухо ворчала. Посреди пещеры стояла странная глиняная фигура о трех головах — это были черепа собаки, лошади и кабана; перед этим диким изображением всеми почитаемой Гекаты был низкий треножник.

Но не обстановка пещеры заледенила кровь в жилах путников, которые со страхом заглядывали внутрь, а вид ее обитательницы. У огня сидела старуха, и свет падал ей прямо в лицо. Быть может, ни в одной стране не увидишь столько ужасных старух, сколько в Италии, ни в одной стране красота не превращается с возрастом в такое жуткое и отталкивающее уродство. Но эта старуха не была безобразна; напротив, лицо ее еще сохраняло правильные, резкие и надменные черты; когда она уставила на них неподвижный взгляд, под которым они замерли, лицо у нее было как у покойницы — остекленевшие мутные глаза, синие сморщенные губы, ввалившиеся щеки, редкие седые волосы, мертвенно-зеленая кожа, словно еще до погребения припорошенная могильной землей.

— Это труп, — сказал Главк.

— Нет, она двигается. Это злой дух! — пробормотала Иона, запинаясь, и прижалась к нему.

— Бежим отсюда! — пробормотала рабыня. — Это ведьма с Везувия!

— Кто вы? — спросил глухой, замогильный голос. — И что вам здесь нужно?

Голос был страшен и безжизнен, он как нельзя более подходил к лицу говорившей и казался скорее голосом какой-нибудь бесплотной тени, скитающейся по берегу Стикса, чем живого смертного. Иона готова была уйти, несмотря на то что снаружи бесновалась гроза, но Главк, хоть и не без опаски, ввел ее в пещеру.

— Мы живем в городе, и нас застигла гроза, — сказал он. — Мы пришли на огонек и просим приюта. Позволь нам обогреться у твоего очага.

Когда он заговорил, лисица вскочила, бросилась к пришельцам, оскалив белые клыки, и заворчала еще более угрожающе.

— Лежать! — крикнула колдунья.

И, услышав голос хозяйки, лисица сразу легла, прикрыла морду хвостом и лишь зорко поглядывала на людей, вторгшихся в ее убежище.

— Идите к огню, если хотите, — сказала старуха, поворачиваясь к Главку и его спутникам. — Я не люблю живых — никого, кроме совы, лисы, жабы и змеи, так что не могу пригласить вас от души. Но садитесь без приглашения, эти тонкости ни к чему.

Старуха говорила на странной варварской латыни, пересыпая свою речь словами из какого-то более древнего и грубого диалекта.

Она не двинулась с места, но следила каменным взглядом, как Главк бережно снимает с Ионы плащ и усаживает ее на бревно — единственное, на что можно было сесть в пещере, — и поярче раздула угли. Рабыня, ободренная смелостью своих хозяев, тоже сняла длинный плащ и робко присела к очагу, в сторонке от них.

— Боюсь, что мы тебя обеспокоили, — сказала Иона своим серебристым голосом.

Колдунья не ответила. У нее был такой вид, словно она на миг пробудилась из мертвых, а теперь снова погрузилась в вечный сон.

— Вы брат и сестра? — спросила она после долгого молчания.

— Нет, — отвечала Иона, краснея.

— Муж и жена?

— Нет, — ответил Главк.

— А, влюбленные! Ха-ха-ха! — Колдунья засмеялась так громко, что в пещере отдалось эхо.

Сердце Ионы замерло, когда старуха вдруг развеселилась неизвестно почему. Главк поспешил пробормотать заклятие, а рабыня стала мертвенно-бледной, как и сама колдунья.

— Чего ты смеешься, старая ведьма? — спросил Главк сурово, но не без робости, после того как произнес заклинание.

— Разве я смеялась? — спросила ведьма рассеянно.

— Она выжила из ума, — шепнул Главк и сразу перехватил взгляд старухи, загоревшийся злобным и живым блеском.

— Ты лжешь, — сказала она отрывисто.

— Не очень-то ты гостеприимна, — сказал Главк.

— Тс! Не надо ее сердить, дорогой Главк! — шепнула Иона.

— Я скажу тебе, почему я смеялась, когда узнала, что вы влюбленные, — проговорила старуха. — Потому, что старым и дряхлым приятно видеть молодых, вроде вас, которые возненавидят друг друга, да, возненавидят, возненавидят, ха-ха-ха!

Теперь уже Иона произнесла заклятие против этого ужасного пророчества.

— Да сохранят нас боги! — сказала она. — Но ты, бедная женщина, видно, никогда не ведала любви, не то ты знала бы, что любовь неизменна.

— Вы думаете, я не была молода? — сказала ведьма. — А теперь вот я стара, отвратительна и ужасна. Таково человеческое тело, таково и сердце.

Она снова погрузилась в зловещее молчание, словно жизнь покинула ее.

— Ты давно здесь живешь? — спросил Главк немного погодя: ему было не по себе от этого молчания.

— А? Да, давно.

— Но ведь это скверное жилище.

— Скверное! Этого мало — под нами ад! — сказала старуха, указывая костлявым пальцем вниз. — И я открою тебе, тайну: темные силы там, в недрах земли, прогневались на живущих сверху — на вас, молодых, беспечных и красивых.

— Эти злые речи несовместны с гостеприимством, — сказал Главк. — В другой раз я лучше останусь в грозу под открытым небом, чем укроюсь в твоей пещере.

— И хорошо сделаешь. Никто, кроме отверженных, не должен искать меня!

— Почему — кроме отверженных? — спросил афинянин.

— Я ведьма этой горы, — отвечала старуха с недоброй усмешкой. — Мое дело — возвращать надежду отчаявшимся: для несчастных в любви у меня есть приворотные зелья; для жадных — способы разбогатеть; для злодеев — средства мщения; а для счастливых и добрых у меня есть лишь то, что и у самой жизни, — проклятия! А теперь оставьте меня в покое.

И мрачная обитательница пещеры снова впала в молчание, такое упорное и угрюмое, что Главк тщетно пытался втянуть ее в дальнейший разговор. По ее неподвижному и замкнутому лицу невозможно было даже понять, слышит ли она его. К счастью, гроза, которая была столь же короткой, как и яростной, начала утихать; дождь лил все слабее; наконец тучи рассеялись, выглянула луна, и ее призрачный свет проник в уединенное жилище ведьмы. Никогда, быть может, не освещала она группы, которая была бы более достойна кисти художника. Молодая, прекрасная Иона сидела у грубого очага, влюбленный Главк, уже забыв о присутствии ведьмы, устроился у ее ног, глядя ей в лицо и шепча нежные слова, а чуть поодаль застыли бледная, испуганная рабыня и зловещая ведьма, устремившая

на них свои ужасные глаза. Но прекрасная пара была безмятежна и бесстрашна (ибо любовь вселяет в сердца бесстрашие) в этой темной и жуткой пещере, где было так много странного. Лисица злобно смотрела на них из своего угла; и только теперь, повернувшись к колдунье, Главк в первый раз увидел у ее ног большую змею, которая приподняла голову с блестящими глазами; видимо, яркий цвет плаща афинянина, брошенного на плечи Ионы, разозлил ее — она угрожающе подняла голову еще выше, готовясь броситься на неаполитанку; Главк быстро выхватил головню из очага, а змея, разъяренная этим, выползла из своего укрытия и с громким шипением вытянулась вверх, став ростом почти с грека.

— Ведьма! — крикнул Главк. — Прогони свою тварь, не то я ее убью!

— У нее вырвано жало, — отозвалась колдунья, пробуждаясь.

Но, едва она произнесла эти слова, змея бросилась на Главка. Грек, который был начеку, мгновенно отскочил в сторону и так сильно и ловко ударил змею по голове, что она, извиваясь, упала прямо в огонь.

Ведьма вскочила и встала перед Главком. Лицо ее уподобилось лику самой злобной из фурий, таким свирепым было его выражение, но даже теперь оно сохраняло следы красоты.

— Ты нашел приют под моим кровом, — сказала она медленно, спокойным тоном, который совсем не вязался с выражением ее лица, — ты грелся у моего очага, и ты заплатил злом за добро: ты ударил и, наверно, убил существо, которое любило меня и принадлежало мне, мало того — существо, которое больше всех других освящено богами и почитаемо людьми. Выслушай же, что тебя ждет. Клянусь Луной, покровительницей колдуний, и Орком, носителем гнева, я проклинаю тебя! Будь же проклят! Да сгинет твоя любовь, да будет опозорено твое имя, пусть ляжет на тебя клеймо ада, пусть высохнет твое сердце, и да вспомнишь ты в свой смертный час пророчество колдуньи с Везувия! А ты... — продолжала она, резко поворачиваясь к Ионе и подняв правую руку.

Но Главк перебил ее.

— Ведьма! — воскликнул он. — Остановись! Меня ты прокляла, и я поручаю себя воле богов. Я не боюсь и презираю тебя! Но скажи хоть слово против нее, и я превращу проклятие на твоих гнусных губах в предсмертный стон. Берегись!

— Дело сделано, — сказала колдунья со страшной улыбкой, — потому что в твоей судьбе проклята и она, которая тебя любит. Я слышала, как она прошептала твое имя, и теперь знаю способ предать тебя демонам. Главк, ты обречен!

Сказав это, ведьма отвернулась от афинянина, вытащила змею из огня и, став на колени возле своей извивающейся любимицы, больше к ним не оборачивалась.

— О Главк! — сказала Иона в ужасе. — Что мы наделали! Бежим отсюда. Гроза утихла. Добрая женщина, прости нас, возьми обратно свои слова, ведь он только защищался. Прими от меня в знак примирения этот дар. — И, наклонившись, Иона положила на колени старухе тяжелый кошелек.

— Прочь! — сказала старуха со злобой. — Прочь! Только Парки могут развязать узел проклятья.

— Пойдем, милая! — сказал Главк нетерпеливо. — Неужели ты думаешь, что боги на небе или под землей слушают бессильные вопли выжившей из ума ведьмы? Пойдем!

Долго еще отдавался в пещере громким эхом зловещий смех колдуньи. Она не удостоила их больше ни словом.

Выйдя на воздух, влюбленные вздохнули свободнее. Но воспоминание о пещере, о речах и хохоте ведьмы долго еще не покидало Иону; и даже Главк не мог избавиться от тяжелого чувства. Гроза утихла, только изредка вдалеке, среди темных туч, громыхал гром или короткая вспышка молнии затмевала на миг свет луны. Не без труда они снова выбрались на дорогу, где нашли свой экипаж, который уже кое-как починили, и возница призывал Геркулеса, вопрошая его, куда подевались господа.

Напрасно Главк пытался ободрить Иону — мужество покинуло ее; да и сам он утратил свою жизнерадостность. Вскоре они были уже у городских ворот. Когда ворота отворились, чтобы их пропустить, показались рабы с носилками.

— В такой поздний час запрещено покидать город! — крикнул часовой человеку в носилках.

— Еще не так поздно, — отозвался голос, и, услышав его, влюбленные вздрогнули, потому что он был им хорошо знаком. — Я должен побывать на вилле у Марка Полибия и скоро вернусь. Я египтянин Арбак.

Часовой успокоился, и носилки двинулись дальше, едва не задев экипаж.

— Арбак здесь, в этот час! Едва оправившись после болезни! Для чего он покидает город? — сказал Главк.

— Увы! — сказала Иона и заплакала. — Сердце мое чувствует недоброе. Да сохранят нас боги! Или хотя бы, — добавила она про себя, — да сохранят они моего Главка!

Г Л А В А VII

Властитель Огненного пояса и его помощница. Судьба начертала пророчество огненными буквами, но кому суждено их прочесть?

Арбак дождался, пока гроза прошла, и под покровом ночи отправился на поиски колдуньи с Везувия.

Его несли надежные рабы, на которых он привык полагаться в своих тайных экспедициях, и он, лежа в носилках, с тайной радостью думал о мести и о любви. Так как расстояние было небольшое, а рабы двигались немногим медленнее мулов, Арбак скоро оказался на узкой дороге, которую наши влюбленные, к сожалению, не нашли; огибая густые виноградники, она вела прямо к жилищу ведьмы. Здесь он вылез из носилок и, велев рабам укрыться среди лоз от взглядов случай - путников, нетвердыми шагами, опираясь на длинную палку, один поднялся по мрачному и крутому склону.

Ни капли дождя не упало больше с ясного неба; но вода печально стекала с тяжелых лоз и скапливалась лужицами в ямах и расселинах.

«Какие неподобающие философу страсти, — думал Арбак, — ведут меня, едва вставшего со смертного ложа и привычного к роскоши, по ночным дорогам! Но Страсть и Мщение, устремленные к цели, могут превратить Тартар в Елисейские поля».

Высоко в небе, светлая и печальная, висела луна. Освещая дорогу мрачному путнику, она отражалась в каждой луже, а потом скрылась за горой. Арбак увидел тот же свет, что и его жертвы, но теперь, когда его не оттеняли черные тучи, он не казался таким кроваво-красным.

Наконец Арбак остановился неподалеку от пещеры перевести дух; потом, как всегда, с сосредоточенным и величественным видом вошел в нечестивое жилище.

Когда он вошел, лисица вскочила и долгим воем предупредила хозяйку о приходе нового гостя.

Ведьма уже опять сидела на своем месте в мертвой неподвижности. У ее ног на ложе из сухих трав лежала раненая змея. От быстрого взгляда египтянина не укрылось, как она, извиваясь, корчилась от боли и бессильной ярости, поблескивая чешуей в свете очага.

— Лежать! — приказала колдунья лисе, как и раньше, и лиса легла молча, но настороженно.

— Встань, слуга Ночи и Эреба! — сказал Арбак повелительно. — Старший собрат приветствует тебя! Встречай же его.

Ведьма посмотрела на высокую фигуру египтянина и на его темное лицо. Она смотрела долго и пристально, а он стоял перед ней, скрестив руки на груди, и лицо его было гордым и надменным.

— Кто ты, — спросила она наконец, — назвавший себя старшим собратом колдуньи пылающих полей и дочери вымершей этрусской расы?

— Я тот, — отвечал Арбак, — у кого смиренно просили знаний все чародеи с севера и

юга, с востока и запада, от Ганга и Нила до равнин Фессалии и берегов мутного Тибра.

— В здешних краях есть лишь один такой человек, — сказала колдунья. — Не ведая его достоинств и тайной славы, люди зовут его египтянином Арбаком. Для тех же, кто выше и мудрее остальных, имя его — Гермес, Властитель Огненного пояса.

— Взгляни же, — сказал Арбак. — Это я.

С этими словами он распахнул плащ и открыл пояс, сверкавший, как огонь, с пряжкой, на которой были выгравированы знаки, видимо знакомые колдунье. Она сразу вскочила и бросилась к ногам Арбака.

— Так это ты, о Властитель могучего пояса! — сказала она с глубочайшим смирением. — Прими мой привет.

— Встань! — сказал египтянин. — Ты мне нужна.

Он сел на то же бревно, на котором сидела Иона, и знаком предложил сесть колдунье.

— Ты говоришь, — начал он, когда она повиновалась, — что ты дочь древнего этрусского племени, которое жило в горах, и стены, окружавшие этрусские города до сих пор высятся над жилищами разбойничьего народа, захватившего их древние владения. Этруски частью пришли из Греции, частью были изгнаны из более южных и древних земель. Но в любом случае ты производишь из Египта, ибо греки, поработившие аборигенов-илотов,⁶⁶ — это беспокойные сыновья Нила, которых он изгнал из своего лона. Итак, о колдунья, ты производишь от предков, которые поклялись в верности моим предкам. Твое происхождение и твое ремесло подчинили тебя Арбаку. Слушай же и повинуйся!

Ведьма склонила голову.

— Как ни велико наше искусство в чародействе, — продолжал Арбак, — мы иногда вынуждены для достижения своих целей прибегать к естественным средствам. Гадание на кольце, хрустале, пепле, травах порой оказывается ошибочным; точно так же и высшие тайны Луны не избавляют даже обладателя Огненного пояса от необходимости прибегать иногда к простым человеческим способам для достижения простых целей. Слушай же внимательно. Я знаю, ты сведуща в тайной силе всех трав; тебе известны травы, которые убивают, выжигают душу из тела или замораживают кровь в жилах так, что ее не растопить никакому солнцу. Не переоцениваю ли я твое искусство? Говори правду!

— Могущественный Гермес, они действительно мне известны. Соблаговоли взглянуть на мое ужасное высохшее лицо; оно стало мертвым, потому что я днем и ночью варю в этом котле ядовитые травы.

Услышав это, египтянин отодвинулся от омерзительного котла.

— Хорошо, — сказал он. — Я вижу, ты постигла принцип высшего знания, который гласит: «Пренебрегай телом, дабы изощрить ум». Но — к делу. Завтра, едва загорятся звезды, к тебе придет тщеславная девушка и будет просить зелья, чтобы отнять у другой возлюбленного и приворотить его. Так вот, вместо своих приворотных снадобий дай ей самый сильный яд. Пусть любовник шепчет свои нежные клятвы теням.

Ведьма задрожала с головы до ног.

— Прости меня! Прости... грозный учитель! — сказала она, запинаясь. — Но я не смею. Закон в этих городах суров и бдителен: меня схватят и казнят.

— На что же тогда твои зелья и снадобья, тщеславная колдунья? — спросил Арбак насмешливо.

Ведьма закрыла руками свое зловещее лицо.

— Ах! Много лет назад, — сказала она вдруг тихо и печально, — я любила и надеялась на ответную любовь.

— Но при чем тут твоя любовь, ведьма? Делай, что тебе велят! — сказал Арбак с гневом.

⁶⁶ И л о т а м и назывались государственные крепостные в Древней Спарте. Они вели свое происхождение от коренных жителей Пелопоннеса, покоренных греками-дорийцами в XI–X веках до н. э. Все, что говорит здесь Арбак о происхождении греков и этрусков, — миф, не имеющий ни малейшей научной ценности.

— Подожди, — продолжала старуха. — Подожди, молю тебя. Я любила. Другая девушка, не такая красивая, как я — да, клянусь Немесидой, не такая красивая! — сманила моего избранника. Я была из того таинственного этрусского племени, которое лучше всех знало секреты черной магии. Моя мать сама была колдуньей, она мне сочувствовала. Из ее рук я получила зелье, которое должно было вернуть его любовь, и яд, чтобы отравить соперницу. О, обрушьте на меня, ужасные стены! Руки у меня дрожали, и я перепутала чаши. Мой любимый и в самом деле упал к моим ногам, но мертвый, мертвый! С тех пор жизнь стала мне не мила. Я сразу состарилась и посвятила себя тайному ремеслу моего племени. Но какая-то неодолимая сила владеет мной, и я предала себя страшному проклятию: до сих пор я ищу самые ядовитые травы, до сих пор готовлю яды и до сих пор мне чудится, будто я отравлю ненавистную соперницу. Я наливаю отраву в чашу и вижу, как она обращает в прах ее красоту. Я просыпаюсь по ночам и вижу трепещущее тело, пену на губах, остекленевшие глаза моего Авла, которого я убила собственной рукой! — и высохшая старуха вся затряслась.

С любопытством глядя на нее, Арбак думал: «И у этого мерзкого существа сохранились человеческие чувства! Она все еще корчится на пепле, оставленном тем же огнем, который пожирает Арбака! Таковы мы все! Непостижимы страсти смертных, которые объединяют высших и низших».

Он молча ждал, пока она успокоится. Она сидела теперь, раскачиваясь из стороны в сторону и уставившись неподвижными глазами на Арбака, и крупные слезы катились по ее мертвенно-бледным щекам.

— Это действительно печальная история, — сказал Арбак. — Но такие чувства можно испытывать лишь в юности — возраст ожесточает наши сердца, и мы можем думать лишь о себе; как нарастает с каждым годом новый слой на панцире краба, так и корка, покрывающая наше сердце, с каждым годом становится все толще. Забудь об этом безумстве молодости! А теперь послушай меня. Я жажду мщения и повелеваю тебе — повинуйся! Для этого я и разыскал тебя. Человек, которого я хочу уничтожить, встал на моем пути, несмотря на мои чары. Он весь соткан из золота и пурпура, из улыбок и взглядов, у него нет ни души, ни ума, нет ничего, кроме красоты — будь она проклята! — и клянусь Орком и Немесидой, этот червь, этот Главк, должен умереть.

И, распаляясь с каждым словом, забыв о своей слабости, о своей странной слушательнице, обо всем, кроме мстительной злобы, египтянин большими шагами расхаживал по мрачной пещере.

— Главк! Ты сказал «Главк», о могущественный учитель! — воскликнула ведьма, и ее тусклые глаза загорелись ненавистью, которую у одиноких и отверженных рождает мелкие оскорбления.

— Да, так его зовут. Но какое значение имеет имя? Пускай оно через три дня станет именем мертвеца!

— Выслушай меня, — сказала ведьма после недолгого раздумья, в которое она погрузилась после слов египтянина. — Я твоя рабыня, слуга тебе. Пощади меня! Если я дам той, о которой ты говоришь, яд для Главка, меня непременно выследят — мертвые всегда находят мстителей. Мало того, грозный властитель: если узнают, что ты приходил сюда, если твоя ненависть к Главку станет известна, тебе самому понадобится все твое тайное искусство, чтобы спастись.

— А! — сказал Арбак, останавливаясь как вкопанный. Такова слепота страсти, которая постигает даже самых проникательных людей: в первый раз осторожному и осмотрительному Арбаку пришло в голову, какому риску он подвергает самого себя.

— Но, — продолжала ведьма, — если вместо снадобья, от которого перестанет биться его сердце, я дам ему другое, которое иссушит и расстроит ум, сделает того, кто его выпьет, ни на что не годным, жалким безумцем, погруженным во мрак, если он отупеет и состарится раньше времени, ведь твоя цель все равно будет достигнута, не так ли?

— О колдунья! Ты больше не слуга мне, а сестра, равная Арбаку! Насколько женский

ум даже во мщении изобретательней нашего! Насколько хуже смерти такая судьба!

— А риска почти никакого, — продолжала ведьма, радуясь своему злобному плану, — потому что наша жертва могла лишиться рассудка из-за множества причин, которых люди побоятся доискиваться. Он мог быть в винограднике и увидеть нимфу⁶⁷ или само вино могло оказать такое же действие — ха-ха-ха! То, в чем могут быть замешаны боги, люди никогда не расследуют слишком тщательно. Но пусть даже случится худшее, пусть узнают, что это любовные чары, — не беда: ведь приворотное зелье нередко вызывает безумие, и даже той красавице, которая его опоит, будет оказано снисхождение. Могущественный Гермес, доволен ты моей хитростью?

— За это ты проживешь на двадцать лет больше, — отвечал Арбак. — Я заново проведу линию твоей жизни среди бледных звезд — Властитель Огненного пояса умеет быть благодарным. И, кроме того, колдунья, вот эти золотые орудия построят тебе жилье поуютней: сослужив мне службу, ты заработала больше, чем гадая на решетке и на лезвии тысяче невежественных крестьян.

Сказав это, он бросил на пол тяжелый кошелек, который звякнул, радуя слух ведьмы, любившей сознавать, что она может купить удобства, которые презирала.

— Прощай, — сказал Арбак. — Смотри же, бодрствуй до утра, вари зелье. Ты заставишь повиноваться себе всех своих сестер, когда расскажешь на вашем сборище, что твой покровитель и друг — египтянин Гермес. Увидимся завтра вечером.

Не слушая напутствий и благодарностей колдуньи, он быстрыми шагами вышел из пещеры на лунный свет и поспешил вниз с горы.

Ведьма, проводившая его до выхода, долго стояла, глядя ему вслед; и когда лунный свет озарял ее призрачную фигуру и мертвенно-бледное лицо, казалось, будто Арбак чудесным образом убежал от страшного Орка, а она, стоя впереди ужасной толпы теней у черных врат, тщетно молит его вернуться и вздыхает, мечтая вновь быть вместе с ним. Потом колдунья медленно вернулась в пещеру, со вздохом подобрала тяжелый кошелек, взяла светильник и прошла в самый дальний угол. Темный проход, который круто спускался вниз, скрытый валунами и скалами так, что можно было увидеть, только подойдя совсем близко, открылся перед ней. Она спустилась вниз по этому мрачному коридору, который словно вел к чреву Земли, и, подняв камень, положила свое сокровище и ямку, где при свете светильника заблестели монеты различного достоинства, полученные от доверчивых и благодарных людей.

— Люблю смотреть на вас, — сказала она, — потому что когда я вас вижу, то чувствую себя и впрямь могущественной. И я проживу лишних двадцать лет, чтобы накопить еще! О великий Гермес!

Она снова завалила ямку камнем, прошла еще несколько шагов и остановилась перед глубокой ровной лещиной. Она нагнулась и услышала странный глухой грохот, который, если воспользоваться простым, но верным сравнением, напоминал скрежет ножа на точиле. Клубы черного дыма, завиваясь спиралью, врывались в пещеру.

— Тени сегодня расшумелись больше обычного, — сказала ведьма, встряхивая седой головой. Заглянув в щель, она увидела далеко внизу длинные огненные полосы. — Странно, — сказала она, попятившись. — Всего два дня назад был виден лишь тусклый далекий свет. Что же это предвещает?

Лисица, которая шла следом за своей хозяйкой, с тоскливым воем бросилась назад, в пещеру, подняв хвост. Ведьма вздрогнула от ее беспричинного воя — и те суеверные времена это считалось дурным знаком. Она пробормотала заклятие и поспешила в пещеру, где, колдуя над травами, приготовилась исполнить волю египтянина.

— Он назвал меня старой дурой, — сказала она, меж тем как из бурлящего котла густо

⁶⁷ По понятиям древних, встреча с нимфой приносила безумие, и о сумасшедшем говорили, что он «одержим нимфами».

повалил пар. — Когда челюсть отвиснет, зубы вывалятся и сердце еле бьется, жалок тот, кто упадет в слабоумие. Но когда, — продолжала она с торжествующей улыбкой, — молодой, красивый и сильный вдруг лишается разума, это ужасно! Гори, огонь, кипи, вода, набухай, трава, варись, жаба, — я его прокляла, и да падет на него проклятье!

В ту же ночь и в тот же час, когда происходил этот ужасный разговор между Арбаком и колдуньей, Апекид принял крещение.

ГЛАВА VIII

Дальнейший ход событий. Заговор зреет.

— И ты не боишься, Юлия, идти сегодня вечером к ведьме на Везувий, да еще вместе с этим ужасным человеком?

— Отчего же, Нидия? — отвечала Юлия робко. — Ты в самом деле думаешь, что это страшно? Эти старые ведьмы со своими волшебными зеркалами, решетками и травами, собранными под луной, я думаю, просто ловкие обманщицы. Они, наверно, ничего и не знают, кроме тех чар, за которыми я обращаюсь к их искусству, а эти чары лишь результат знания полевых трав и целебных растений. Чего же мне бояться?

— А ты не боишься своего спутника?

— Кого, Арбака? Клянусь Дианой, я никогда не видела более почтительного мужчины, чем этот чародей! Не будь он таким смуглым, он был бы даже красив.

Хоть Нидия и была слепа, ей стало ясно, что Юлия не из тех, кого могли испугать ухаживания Арбака. Поэтому она не стала ее больше убеждать, но в ее смятенном сердце росло неодолимое желание узнать, действительно ли с помощью колдовства можно приворожить того, кого любишь.

— Возьми меня с собой, благородная Юлия, — сказала она наконец. — Я не могу служить тебе защитой, но хотя бы буду возле тебя.

— Охотно, — отвечала дочь Диомеда. — Но как же быть? Мы, наверно, вернемся поздно, а тебя хватятся дома.

— Иона добрая, — сказала Нидия, — если ты разрешишь мне переночевать в твоём доме, я скажу, что ты, давняя моя покровительница, пригласила меня к себе на целый день петь фессалийские песни...

Когда наступил вечер, Юлия улеглась в свои просторные носилки, где вместе с ней поместилась и Нидия, и они направились к загородным баням, о которых говорил Арбак. Избегая, по приказанию Юлии, модных мест, рабы-носильщики пришли на маленькую круглую лужайку, где в свете звезд поблескивала статуя Силена: веселый бог, у ног которого лежала пантера, облокотился о скалу, держа у рта кисть винограда, которой он, видимо, любовался, прежде чем ее съесть.

— Я не вижу чародея, — сказала Юлия, озираясь.

При этих словах египтянин медленно появился из-за деревьев, и тусклый свет заиграл на его длинных одеждах.

— Здравствуй, красавица! — сказал он. — Но погоди. Кто это с тобой? Нам не нужны свидетели.

— Это только слепая цветочница, о мудрый чародей, — отвечала Юлия. — Она сама родом из Фессалии.

— А, Нидия, — сказал египтянин. — Я ее знаю.

Нидия подалась назад и вздрогнула.

— Ты была в моем доме, — сказал у нее над ухом его голос. — Помни же клятву. Молчание и тайна, а не то берегись! «И все же, — добавил он про себя, — зачем нужно посвящать в наши дела даже слепую девчонку?» — И обратился к Юлии: — Неужели ты не доверяешь мне? Я совсем не так страшен, как это кажется.

И он осторожно отвел Юлию в сторону.

— Колдунья не любит, когда к ней приходит много людей сразу, — сказал он. — Пускай Нидия подождет тебя здесь, нам она ни к чему. Твоя красота и шатность — достаточная для тебя защита. Да, Юлия, я знаю твоё имя.

Тщеславная Юлия, как мы уже видели, была не из робких. Любезности Арбака ей польстили, и она охотно согласилась, чтобы Нидия подождала у бань; Нидия тоже не настаивала. Когда она услышала голос египтянина, весь страх перед ним проснулся в её душе, и она рада была, что ей не нужно идти вместе с ним.

Она отошла к баням и села в одной из раздевален. Много горьких мыслей одолевало её, когда она сидела там, погруженная в вечную тьму. Она думала о несчастной своей судьбе, вдали от родины, от материнской ласки. Она была лишена света дня, и чужие люди направляли её шаги, а единственное нежное чувство приносило ей лишь страдания — её любовь была безнадежна, и тусклый луч надежды мелькнул в её уме лишь тогда, когда она подумала о силе любовных чар.

Природа посеяла в сердце этой бедной девушки семена добродетели, которым не суждено было взойти. Несчастье не всегда смягчает человеческую душу, нередко оно ожесточает её. Если мы считаем, что судьба незаслуженно обошлась с нами суровее, чем с другими, то мы готовы считать весь мир своим врагом, бросаем ему вызов, подавляем в себе доброту, даем волю темным страстям, которые так легко вскипают от чувства несправедливости. Проданная в рабство ещё ребенком, она попала к негодяю хозяину, а потом, когда её снова продали, судьба девушки стала ещё горше, и добрые чувства, которые жили в душе Нидии, были омрачены.

Время шло. Наконец в комнате, где сидела Нидия, все ещё погруженная в мрачные размышления, послышались легкие шаги.

— Благодарение бессмертным богам, — сказала Юлия, — я вернулась из этой ужасной пещеры! Пойдем, Нидия. Скорей!

И только в носилках Юлия заговорила снова.

— Ах! — сказала она дрожа. — Какое это было зрелище! Какое ужасное колдовство! И лицо у этой ведьмы как у мертвеца. Но не будем говорить об этом. Я получила зелье — она ручается за его действие. Моя соперница станет ему безразлична, и меня, меня одну будет обожать Главк

— Главк! — воскликнула Нидия.

— Да! Я сказала тебе, что люблю не его, но теперь вижу, что тебе можно довериться. Я люблю этого красавца грека!

Чувство ужаса охватило Нидию. Она помогла разлучить Главка с Ионой, но лишь для того, чтобы им силою магии завладела другая. Сердце её чуть не разорвалось, она задыхалась, но в темноте носилок Юлия не видела её волнения; она продолжала рассказывать о действии зелья и о своем близком торжестве над Ионой, то и дело вспоминая ужасное зрелище — каменное лицо Арбака и покорность ему ужасной колдуньи.

Тем временем Нидия справилась с собой. У неё мелькнула мысль: ведь сегодня она будет спать в одной комнате с Юлией и может сама завладеть приворотным зельем.

Добравшись до дома Диомеда, они спустились в покои Юлии, где их ожидал ужин.

— Выпей вина, Нидия, ты, наверно, озябла. Сегодня свежо, я совсем окоченела.

И Юлия, не сморгнув, выпила пряного вина.

— Дай мне подержать фиал с зельем, — сказала Нидия. — Он совсем маленький! Какого цвета жидкость?

— Она прозрачна как хрусталь, — отвечала Юлия, отбирая фиал у Нидии. — Её не отличить от воды. Колдунья уверяет, что зелье совершенно безвкусно. И, хотя фиал маленький, его вполне достаточно для того, чтобы вызвать у человека любовь на всю жизнь; зелье можно подлить в любую жидкость. Главк даже не заметит, что выпил его, и почувствует лишь действие чар.

— Значит, с виду оно совсем как вода?

— Да, бесцветное и прозрачное. Совершенно прозрачное. Оно как самая эссенция

лунной росы. О светлый напиток! Как ярко ты озаряешь мои надежды, блестя сквозь хрустальный фиал!

— А чем он закрыт?

— Только одной пробочкой. Вот я ее вынула. Запаха никакого. Как странно: зелье, которое ничего не говорит ни одному чувству, способно повелевать всеми чувствами вместе!

— Оно действует сразу?

— Обычно, да. Но иногда проходит несколько часов, прежде чем оно подействует.

— Ах, какой сладкий запах! — сказала Нидия, беря со стола флакончик с духами.

— Тебе нравится? Флакон украшен драгоценными камнями. Ты не хотела вчера взять у меня браслет, возьми же духи.

— Эти духи будут напоминать слепой девушке щедрую Юлию. Если флакон стоит не слишком дорого...

— О, у меня есть тысяча флаконов подороже. Возьми его, дитя!

Нидия наклонила голову в знак благодарности и спрятала флакон под одеждой.

— А зелье действует одинаково, кто бы ни дал его?

— Даже если его даст самая уродливая старуха на свете, Главку она покажется красавицей, и он никого не будет любить, кроме нее!

Юлия, выпив вино, оживилась. Она громко смеялась, болтала о всякой всячине и только под утро позвала своих рабынь, чтобы ее раздели.

— Я не могу расстаться с этим напитком, пока не придет время пустить его в ход. Покойся же под моей подушкой, светлый дух, и пошли мне сладкие сны!

С этими словами она положила флакон под подушку. Сердце Нидии сильно билось.

— Отчего ты пьешь воду, Нидия? Ведь рядом стоит вино.

— Мне жарко, — отвечала слепая девушка. — Я хочу охладиться. Я поставлю воду подле своей постели: вода освежает в летние ночи, когда роса сна не орошает губы. Прекрасная Юлия, утром Иона будет меня ждать, я уйду от тебя рано, быть может, прежде, чем ты проснешься, поэтому прими мои поздравления.

— Благодарю. Когда мы увидимся снова, Главк уже будет у моих ног.

Они легли, и Юлия, уставшая от тревог и волнений дня, сразу заснула. Но Нидия не смыкала глаз, ее одолевали тревожные мысли. Она прислушивалась к ровному дыханию Юлии; привыкшая улавливать малейший звук, она вскоре убедилась, что Юлия крепко спит.

— А теперь помоги мне, Венера! — сказала Нидия шепотом.

Она тихонько встала, вылила духи, подаренные Юлией, на мраморный пол, несколько раз ополоснула флакон водой, а потом, легко найдя ложе Юлии (ведь ночь была для нее все равно что день), сунула дрожащую руку под подушку и схватила фиал с зельем. Юлия не шелохнулась, ее дыхание оведало горящую щеку слепой девушки. Тогда Нидия, вынув пробку, перелила содержимое в свой флакон, налила в фиал прозрачной воды, на которую, как сказала ей Юлия, так походило зелье, и положила фиал на прежнее место. Потом она прокралась к своему ложу и, обуреваемая беспокойными мыслями, стала ждать рассвета.

Когда взошло солнце, Юлия еще спала. Нидия бесшумно оделась, тщательно спрятала свое сокровище под одеждой, взяла палку и поспешно вышла из дому.

Привратник Медон ласково приветствовал ее, когда она спускалась по ступеням на улицу. Но она этого не слышала; в голове ее вихрем проносились мысли, и каждая мысль была исполнена страстью. Она чувствовала на своем лице свежий утренний воздух, но он не охладил ее горящую кровь.

— Главк, — шептала она. — Все приворотные зелья на свете не заставят тебя любить меня так, как я люблю тебя! Иона!.. Но прочь сомнения! Прочь раскаяние! Главк, моя судьба в твоей улыбке! И твоя тоже! О надежда, о радость! О восторг! Твоя судьба у меня в руках!

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВА I

Размышления о религиозном пыле ранних христиан. Два человека принимают опасное решение. И стены имеют уши, особенно стены священные

Всякий, кто изучает историю раннего христианства, видит, как необходим был для его распространения тот ревностный, бесстрашный, непримиримый дух, который владел его приверженцами и поддерживал мучеников. Для господствующей религии дух нетерпимости пагубен, а религию слабую и преследуемую, он укрепляет. Христиане должны были презирать и ненавидеть все другие религии, чтобы преодолеть их искусства, должны были твердо верить не только в то, что священное писание — это истина, но и в то, что это единственная истина, которая несет спасение, чтобы найти в себе силы переносить суровость этой религиозной доктрины и подвигнуть себя на нелегкий и опасный труд обращения язычников. Строгий дух секты, признававший добродетель достоянием немногих избранных и лишь им одним суливший блаженство на небесах, считавший других богов исчадиями ада, а другие религии — дьявольским наваждением, естественно, вызывал у христиан стремление обратить в свою веру всех людей, близких их сердцу. Этот круг еще более расширяло стремление приумножить славу божию. Христианин смело навязывал свои догматы, преодолевая скептицизм одних, отвращение других — и мудрое презрение философа, и благочестивый страх толпы. Самая нетерпимость давала ему лучшее орудие для достижения цели: мягкосердечному язычнику начинало в конце концов казаться, что и в самом деле должно быть что-то святое в таком невиданном усердии людей, которые не останавливаются ни перед чем, ничего не страшатся и даже под пыткой и перед лицом смерти не ищут утешения в философии, а отдают себя на волю вечного судии, — ведь это было так не похоже на умозрительные споры философов. Это же рвение сделало церковника в средние века изувером, не знающим сострадания и пощады, но в ранние времена оно делало христианина героем, не знающим страха.

Не последним среди этих решительных, дерзких и упорных людей был Олинф. Едва Апекид прошел обряд крещения, назарянин поспешил разъяснить ему, что он не может больше носить сан и одеяние жреца. Невозможно исповедовать веру в единого бога и продолжать, хотя бы притворно, поклоняться алтарям дьявола.

Но этого мало: неугомонный и порывистый Олинф хотел с помощью Апекида разоблачить в глазах обманутых людей лживость оракулов Исиды. Он решил, что небо послало ему орудие, чтобы вывести из заблуждения толпу и, быть может, подготовить обращение всего города. Они договорились встретиться вечером после крещения в уже описанной нами роще Кибелы.

— Когда в следующий раз будут вопрошать оракула, — сказал Олинф проникновенным голосом, — ты выйдешь к ограде и во всеуслышание расскажешь про обман, а потом предложишь всем войти и своими глазами увидеть грубый, но коварный механизм, про который ты мне рассказывал. Не бойся, бог, который защитил Даниила, защитит и тебя;⁶⁸ мы, верные, будем среди толпы, мы поддержим тебя; при первой же вспышке народного возмущения я сам водружу на алтаре пальмовую ветвь, символ евангелия, и в устах зазвучит пламенное слово бога живого.

Апекид, горячий и увлекающийся, охотно согласился. Он был рад сразу же показать свою преданность секте, в которую он вступил, и его благочестивые чувства еще больше укрепляла ненависть к обману, которому он сам так недавно поддался, и желание отомстить

⁶⁸ Библейское предание гласит, что пророк Даниил был брошен персидским царем Дарием в ров со львами, но бог послал своего ангела, и тот «заградил пасть львам».

обманщикам. В этом лихорадочном увлечении (ведь пылкость необходима для всех безрассудных и возвышенных поступков) ни Олинф, ни Апекид не видели препятствий к осуществлению своего плана, хотя толпа, благоговевая перед священными алтарями великой египетской богини, могла не поверить даже разоблачительному свидетельству ее жреца.

Апекид согласился с готовностью, которая обрадовала Олинфа. Они расстались, решив, что Олинф посоветуется с главными членами христианской общины и заручится их поддержкой. Вышло так, что через два дня после этого разговора предстоял один из праздников в честь Исиды. Это был удобный случай для осуществления намеченного плана. Они уговорились встретиться на следующий вечер на том же месте и окончательно обсудить все подробности.

Свой разговор они закончили возле святилища, или небольшой часовни, которую я уже описывал выше, и, как только христианин и жрец ушли, мрачный и уродливый человек появился из-за часовни.

— Я следил за тобой не зря, брат мой, — сказал он. — Ты, жрец Исиды, не для пустой болтовни встретился с этим злобным христианином. Увы! Как жаль, что я не слышал весь ваш разговор! Но и этого довольно. Я понял, что ты хочешь раскрыть толпе священные тайны и завтра вы снова встретитесь на этом же месте, чтобы все решить окончательно. Пусть же Осирис обострит мой слух, чтобы я узнал все про вашу неслыханную дерзость! Тогда я сразу же посоветуюсь с Арбаком. Мы нанесем вам, друзья, удар, не менее сильный, чем вы готовите нам. А пока ваша тайна будет погребена в моей груди.

Бормоча это, Кален — ибо это был он — завернулся в плащ и задумчиво пошел восвояси.

ГЛАВА II

Хозяин, повар и кухня

В тот же день Диомед давал пир для самых избранных из своих друзей. В числе гостей были красавец Главк, прекрасная Иона, эдил Панса, высокородный Клодий, бессмертный Фульвий, щеголеватый Лепид, эпикуреец Саллюстий. Но, кроме них, Диомед ожидал еще старого сенатора из Рима (человека заслуженного и пользовавшегося милостью при императорском дворе) и знаменитого воина из Геркуланума, который сражался в армии Тита против иудеев и сильно нажился во время войн. Друзья часто говорили ему, что отечество в неоплатном долгу перед ним за его бескорыстные ратные труды. Однако этим число гостей не ограничивалось; и, хотя, строго говоря, у римлян в то время считалось дурным тоном приглашать на пир менее трех и более девяти гостей, любители показать себя часто нарушали это правило. Мы знаем из истории, что один из самых знаменитых любителей удовольствий давал пиры для трехсот избранных. Однако Диомед оказался скромнее и удовлетворился лишь тем, что пригласил гостей вдвое больше числа муз. Пирующих было восемнадцать — число, которое и в наше время довольно популярно.

Было утро. Диомед, хотя он разыгрывал из себя благородного и ученого человека, отлично знал по своему опыту в торговле, что под присмотром хозяина слуги гораздо расторопней. Поэтому, не подпоясав тунику на толстом животе, в легких туфлях и с короткой палкой, которой он то грозил, то бил по спине какого-нибудь нерадивого раба, он обходил свою роскошную виллу.

Он не погнушался зайти и в то святилище, где жрецы пира готовили свои жертвы. Когда он вошел в кухню, уши его приятно оглушил звон блюд и сковородок, властные окрики и проклятия. Во всех помпейских домах кухни были маленькие, но тем не менее оснащенные великим множеством всяких очагов, котлов, кастрюль, сковородок, ножей, ложек, без которых настоящий повар, все равно древний или современный, считает совершенно немислимым что-либо приготовить. А так как топлива тогда, как и теперь, в тех краях не хватало и стоило оно дорого, то требовалась немалая ловкость, чтобы приготовить

разнообразные блюда на слабом огне. Удивительное изобретение для этой цели — переносную кухню ветчиной с большой фолиант, где была печь на четыре кастрюли и котелок для кипячения воды, — можно и сейчас увидеть в неаполитанском музее.

В тесной кухне сновало множество незнакомых людей.

— Ого! — буркнул Диомед. — Этот проклятый Конгрион согнал целую когорту поваров себе на подмогу! Толку от них никакого, только лишний расход. Клянусь Вакхом, трижды счастлив я буду, если рабы не выпьют у меня несколько амфор вина. Увы, руки у них загребушие, туники просторные. Горе мне!

Повара тем временем занимались своим делом, видимо не замечая Диомеда.

— Эй, Эвклион, подай сковороду для яичницы! Это у вас самая большая? Да ведь она всего на тридцать три яйца; а в домах, куда меня обычно приглашают, в самую маленькую сковороду, если нужно, пойдет пятьдесят.

«Бессовестный плут! — подумал Диомед. — Говорит так, будто яйца стоят сестерций сотня!»

— Клянусь Меркурием! — воскликнул бойкий поваренок, едва начавший обучаться ремеслу. — Где это виданы такие старые формы для сладостей? С этой утварью невозможно показать свое искусство! Да у Саллюстия в самых нехитрых формах для пирожных вся осада Трои: там тебе и Гектор, и Парис, и Елена, да еще маленький Астианакт и троянский конь в придачу!

— Молчи, дурак! — сказал Конгрион, повар Диомеда, который, видимо, главную роль уступил своим собратям. — Мой хозяин не из тех мотов, которые все хотят устроить по последней моде, сколько бы это ни стоило!

— Ты лжешь, негодный раб! — воскликнул Диомед в гневе. — Ты уже стоил мне достаточно, чтобы разорить самого Лукулла! Ну-ка, подойди, я с тобой поговорю!

Раб, хитро подмигнув своим собратям, повиновался.

— Ах ты прохвост! — сказал Диомед с гневом. — Как посмел ты созвать всех этих негодяев в мой дом? Да у каждого из них на лбу написано, что он вор!

— Уверяю тебя, хозяин, что это всё самые почтенные люди, лучшие повара в городе, их очень трудно нанять. Но ради меня. .

— Ради тебя, несчастный! — перебил его Диомед. — Сколько украденных у меня денег, сколько утаенных монет, сколько хорошего мяса, проданного потом в городских предместьях, сколько тысяч, уплаченных якобы за поврежденную бронзу и разбитую посуду, ты отдал им, чтобы они работали ради тебя?

— Да нет же, хозяин, ты напрасно меня подозреваешь. Будь я проклят, если..

— Не клянись! — снова перебил его взбешенный Диомед. — А то боги поразят тебя за ложную клятву, и я останусь без повара перед самым пиром!.. Но довольно, мы еще поговорим об этом. Следи покуда хорошенько за своими негодными помощниками и не рассказывай мне завтра басни про разбитые блюда и невесть куда исчезнувшие чаши, не то я исполосую тебе всю спину! И помни: ты заставил меня немало заплатить за этих фригийских рябчиков. Клянусь Геркулесом, этих денег хватило бы скромному человеку на целый год, так смотри же, чтоб рябчики не пережарились. В последний раз, Конгрион, когда я давал пир друзьям, ты, хвастун, обещал на славу приготовить мелосского журавля, а он вышел твердый, как камень с Этны, словно все пламя Флегетона выжгло из негосоки. Будь же осторожен и умерен, Конгрион. Умеренность — мать великих деяний; если не бережешь я некие деньги, то по крайней мере заботься всегда нем добром имени.

— Такая будет трапеза, какой в Помпеях со времен Геркулеса не видели!

— Легче, легче — опять твои проклятые похвальбы! Но слушай, Конгрион, у мальчишки, который ругал мои формы для сладостей, у этого остроязычного новичка, было ли что-нибудь, кроме дерзости, на языке, когда он порочил красоту моих форм? Я не хочу быть старомодным, Конгрион.

— Нет, просто у нас, поваров, такой обычай, — отвечал Конгрион, — порицать кухонную утварь, чтобы подчеркнуть наше искусство. Формы для сладостей очень красивые,

но я посоветовал бы хозяину при случае купить новые..

— Довольно! — воскликнул Диомед, который, видимо, поклялся никогда не давать своему рабу договорить. — Теперь берись за дело — старайся превзойти самого себя. Пусть все завидуют Диомеду, что у него такой повар, пусть рабы в Помпеях назовут тебя Конгрионом Великим. Ступай!.. Или нет, постой, ты ведь не все деньги потратил, что я дал тебе на расходы?

— Увы, все! За соловьиные языки, римскую колбасу, устрицы из Британии и всякие мелочи, которые и не перечислить, еще не заплачено. Но это не беда. Все верят в долг главному повару богача Диомеда!

— О расточитель! Какие траты! Какое излишества! Я разорен! Но ступай же, поторапливайся. Присматривай, пробуй, старайся, лезь из кожи вон! Пусть римский сенатор не презирает скромного торговца из Помпеи. Иди, раб, и помни про фригийских рябчиков.

Повар исчез, а дородный Диомед прошествовал в более приятные комнаты. Все было как он велел: Фонтаны весело журчали, цветы были свежими, мозаичные полы блестели как зеркало.

— Где моя дочь Юлия? — спросил он.

— Принимает ванну.

— А, хорошо, что мне напомнили! Время не ждет. Надо принять ванну и мне...

ГЛАВА III

Прием и пир в Помпеях

Саллюстий и Главк не спеша шли к дому Диомеда. Несмотря на дурные привычки, у Саллюстия было немало достоинств. Он был бы преданным другом, полезным гражданином, короче говоря — превосходным человеком, если б не вбил себе в голову, что должен быть философом. Воспитанный в школах, где римляне преклонялись перед эхом греческой мудрости, он усвоил те искаженные доктрины, в которые поздние эпикурейцы превратили простое учение своего великого учителя. Он целиком предался наслаждениям и вообразил, что мудрецом может быть лишь веселый пьяница. Однако он был образован, умен и добр, а искренняя непосредственность самих его пороков казалась добродетельной рядом с безнадежной испорченностью Клодия и расслабленной изнеженностью Лепида; поэтому Главк любил его больше прочих, а он, в свою очередь, ценил благородные качества афинянина и любил его почти так же, как холодную мурену или чашу лучшего фалернского.

— Противный старик этот Диомед, — сказал Саллюстий, — но у него есть некоторые достоинства — в винном погребе.

— И очарование — в его дочери.

— Правда, Главк. Но мне кажется, это тебя не очень трогает. По-моему, Клодий хочет занять твоё место.

— Желаю ему успеха. Красавица Юлия, конечно, ничьими исканиями пренебрегать не будет.

— Ты слишком строг к Юлии. Но в ней действительно есть что-то порочное — в конце концов, они отлично подойдут друг для друга. По-моему, мы очень снисходительны к этому ничемному игроку!

— Развлечения странным образом объединяют разных людей, — отвечал Главк. — Он меня забавляет..

— И льстит тебе. Да к тому же делает это мастерски! Он посыпает свои хвалы золотой пылью.

— Ты часто намекаешь, что он нечист на руку. Скажи, ты и в самом деле так думаешь?

— Дорогой Главк, римский аристократ должен поддерживать свое достоинство, а это обходится недешево. Клодию приходится мошенничать, как последнему плуту, чтобы жить, как подобает благородному мужу.

— Ха-ха! Ну, да я теперь бросил играть в кости. Ах, Саллюстий, когда я женюсь на Ионе, то, надеюсь, искуплю безумства юности. Мы оба рождены для лучшей жизни, мы созданы, чтобы служить в более возвышенных храмах, чем хлев Эпикура.

— Увы! — возразил Саллюстий печально. — Что знаем мы?.. Жизнь коротка, за гробом мрак. Нет иной мудрости, кроме той, которая говорит: «Наслаждайся!»

— Клянусь Вакхом, я иногда сомневаюсь, берем ли мы, наслаждаясь, от жизни все, что она может дать!

— Я человек умеренный, — сказал Саллюстий, — и довольствуюсь малым. Мы поступаем как злодеи, опьяняясь вином, когда стоим у порога смерти, но, если б мы этого не делали, бездна казалась бы такой ужасной! Признаюсь, я был склонен к мрачности, пока не пристрастился к вину, — оно вливает в тебя новую жизнь, мой милый Главк.

— Да! Но каждое утро за ней следует новая смерть.

— Верно, похмелье неприятно. Но, будь это не так, никто не стал бы читать книги. Я читаю по утрам, потому что, клянусь богами, до полудня я больше ни на что не годен.

— Фу, дикарь!

— Подумаешь! Да постигнет судьба Пенфея того, кто не признает Вакха.

— Ну, Саллюстий, при всех твоих недостатках ты лучший пьяница, какого я знаю! Право, если моя жизнь будет в опасности, ты единственный во всей Италии протянешь руку, чтобы меня спасти.

— Может быть, и не протяну, если это случится во время ужина. Нет, серьезно, мы, итальянцы, ужасно себялюбивы.

— Таковы все люди, которые лишены свободы, — сказал Главк со вздохом. — Только свобода заставляет человека жертвовать собой ради другого.

— В таком случае, свобода — очень тяжелая вещь для эпикурейца, — заметил Саллюстий. — Но вот мы и пришли.

Так как вилла Диомеда одна из самых больших, какие до сих пор раскопаны в Помпеях, и более того — построена по специальному плану для загородных домов, принятому в римской архитектуре, небезынтересно коротко описать расположение комнат, через которые проследовали гости.

Они вошли через тот небольшой вестибул, где мы уже познакомились со стариком Медоном, и сразу миновали колоннаду, которую в архитектуре называют перистилем; ибо главная разница между городским домом и загородной виллой состояла прежде всего в том, что эта колоннада помещалась там, где в городских домах был атрий. Посреди перистилия был открытый двор с бассейном. Из этого перистилия вниз вела лестница к службам; узкий коридор по другую его сторону выходил в сад, с боков к колоннаде примыкали небольшие помещения, предназначенные, вероятно, для приезжих гостей. Еще одна дверь, слева от входа, вела в маленький треугольный портик, примыкавший к домашним баням; за ним была гардеробная, где висели праздничные одежды рабов, а может быть, и хозяина. Через семнадцать столетий были найдены остатки этих древних нарядов: ветхие, истлевшие, они сохранились, увы, дольше, чем предполагал их бережливый хозяин.

Но вернемся в перистиль и попытаемся теперь окинуть взглядом весь дом, следуя за гостями.

Пусть читатель сначала представит себе колонны портика, увитые гирляндами цветов; цоколи колонн были красные, а стены вокруг сверкали разнообразными фресками; за раздернутыми занавесями был таблин, который по желанию закрывался застекленными дверьми, вдвигавшимися в стену. По обе стороны от таблина были небольшие комнаты, в одной из которых хранились драгоценности; все эти комнаты, так же как и таблин, сообщались с длинной крытой галереей, которая обоими концами выходила на террасы, а между террасами, примыкая к средней части галереи, находился зал, где в тот день был приготовлен пиршественный стол. Все эти комнаты, хотя располагались почти на уровне земли, были на один этаж выше сада; а террасы переходили в открытые, поддерживаемые колоннами галереи, которые опоясывали сад.

Внизу, на уровне сада, были комнаты, уже описанные нами, — почти все они принадлежали Юлии.

Диомед встречал гостей в крытой галерее.

Торговец разыгрывал из себя любителя литературы и поэтому питал слабость ко всему греческому; Главку он оказывал особое внимание.

— Ты увидишь, мой друг, — сказал он, взмахивая рукой, — что у меня здесь все в несколько классическом духе, так сказать, на аттический манер. Зал, в котором мы будем пировать, устроен в подражание грекам. Благородный Саллюстий, говорят, что в Риме таких залов нет.

— О! — отвечал Саллюстий с легкой улыбкой. — У вас в Помпеях умеют подбирать и заимствовать все достойное из Греции и Рима. Вот если бы ты, Диомед, подбирал яства так же хорошо, как архитектурные украшения!

— Ты увидишь, увидишь, мой милый Саллюстий, — сказал торговец. — У нас в Помпеях есть вкус, есть и деньги.

— И то и другое меня радует, — отвечал Саллюстий. — А вот и прекрасная Юлия!

Как я уже говорил, главное различие в обычаях у афинян и римлян заключалось в том, что у первых женщины из скромности почти никогда не принимали участия в развлечениях, у вторых же они были частым украшением пиров; но в таких случаях пиры обычно заканчивались рано.

Красавица Юлия вошла в зал в великолепных белых одеждах, расшитых жемчугом и золотыми нитями.

Едва она ответила на приветствия Главка и Саллюстия, как почти одновременно вошли Панса с женой, Лепид, Клодий и римский сенатор; после них явилась вдова Фульвия; за ней — поэт Фульвий, у которого со вдовой не было ничего общего, кроме имени; потом вошел воин из Геркуланума, сопровождаемый своей «тенью», и менее знатные гости. Ионы еще не было.

У древних принято было хвалить все, что попадалось на глаза, поэтому считалось дурным тоном, войдя в дом, сразу же садиться. Обменявшись приветствиями, которые обычно состояли в рукопожатии, как и у нас, а иногда, при более дружеских отношениях, в объятиях, гости несколько минут осматривали комнаты, любуясь бронзой, картинами, мебелью.

— Какая прекрасная статуя Вакха! — сказал римский сенатор.

— Да что там, это пустяк! — отозвался Диомед.

— Какие чудные картины! — сказала Фульвия.

— Пустяк! — отвечал хозяин.

— Красивые светильники! — воскликнул воин.

— Красивые! — подхватила его «тень».

— Пустяк, пустяк! — твердил торговец.

Тем временем Главк отошел к одному из окон галереи, соединявшей террасы, и Юлия последовала за ним.

— Скажи, Главк, неужели у вас в Афинах принято избегать прежних друзей? — спросила она.

— О нет, прекрасная Юлия!

— И все же, думается мне, Главк поступает именно так.

— Главк никогда не избегает друзей! — ответил грек, подчеркивая последнее слово.

— Может ли Юлия считать себя его другом?

— Такой прелестный друг сделал бы честь императору.

— Ты не ответил на мой вопрос, — сказала влюбленная Юлия. — А правда ли, что ты обожаешь неаполитанку Иону?

— Разве красота не достойна обожания?

— А, хитрый грек, ты ускользаешь от ответа! Но скажи, Юлия в самом деле может быть твоим другом?

— Я благословлю богов и отмечу белым камешком тот день, когда она окажет мне эту честь.

— Но, даже когда ты говоришь это, в глазах твоих беспокойство, ты бледнеешь, невольно отворачиваешься— тебе не терпится поспешить навстречу Ионе.

Ибо в этот миг вошла Иона, и Главк действительно выдал свои чувства, что не укрылось от ревнивой красавицы.

— Разве восхищение одной женщиной делает меня недостойным дружбы другой? Неужели и ты поддерживаешь клевету, которую возводят поэты на твой пол?

— Не знаю. Во всяком случае, я постараюсь убедить себя в том, что ты прав. Главк, еще одно слово. Ты женишься на Ионе, это правда?

— Если судьбе будет угодно осчастливить меня.

— Прими же от меня в знак нашей дружбы подарок для твоей невесты. Нет, нет, не отказывайся! Ты знаешь, таков обычай — друзья, поздравляя жениха и невесту, дарят им маленькие подарки.

— Юлия! Я не могу отказаться от знака твоей дружбы. Я приму подарок как доброе знамение от самой Фортуны.

— Если так, то после пира, когда гости уйдут, спустись ко мне в комнату, и ты получишь его из моих рук. Смотри же, не забудь! — сказала Юлия и подошла к жене Пансы, отпустив Главка к Ионе.

Вдова Фульвия и супруга эдила были заняты высоким и серьезным спором.

— О Фульвия! Уверяю тебя, по последним сведениям, завитые волосы начинают выходить в Риме из моды. Теперь носят высокие прически, как у Юлии, или в виде шлема, как у меня, надеюсь, это производит впечатление. Уверяю тебя, Веспию (Веспием звали героя из Геркуланума) моя прическа очень нравится.

— И никто давным-давно не причесывается на греческий манер, как Иона.

— А, пробор спереди и пучок сзади? Да это просто смешно! Похоже на статую Дианы! И все же Иона хороша, правда?

— Да, мужчины так говорят. Она выходит замуж за афинянина, желаю ей счастья. Но, сдастся мне, она недолго будет ему верна. Эти чужеземки не отличаются верностью.

— А, Юлия! — сказала Фульвия, когда дочь торговца подошла к ним. — Ты еще не видела тигра?

— Нет.

— Как же, ведь все дамы ходили на него смотреть. Он такой красавец!

— Надеюсь, для него и для льва найдется какой-нибудь преступник, — отвечала Юлия. — Твой муж, — она повернулась к жене Пансы, — должен действовать решительней.

— Увы, законы у нас слишком мягкие, — отвечала дама с прической шлемом. — Так мало преступлений, и к тому же гладиаторы избаловались! Самые храбрые бестиарии соглашаются сражаться только против кабана или быка, а как доходит дело до льва или тигра, они считают, что это слишком серьезная игра.

— Надо одеть их в женское платье, — сказала Юлия с презрением.

— А видели вы новый дом Фульвия, нашего любимого поэта? — спросила жена Пансы.

— Нет. А он красивый?

— Очень! В лучшем вкусе. Но говорят, моя дорогая, что у него там такие неприличные картины! Он не показывает их женщинам. Фу, какой дурной тон!

— Эти поэты всегда со странностями, — сказала она. — Но он интересный человек. И какие чудесные стихи пишет! Наша поэзия, к счастью, расцветает, и старый хлам уже просто невозможно читать.

— Совершенно верно, — сказала дама с прической шлемом. — Насколько больше силы и энергии в современной поэтической школе!

В это время к дамам подошел воин.

— Когда я вижу такие хорошенькие лица, то готов примириться с тем, что сейчас нет войны, — сказал он.

— Ах! Вы, герои, такие льстецы! — отвечала Фульвия, торопясь принять любезность на свой счет.

— Клянусь этой цепью, которой меня собственноручно наградил император, — сказал воин, играя короткой цепью, висевшей у него на шее как воротник, вместо того чтобы спускаться на грудь по моде мирных людей, — клянусь этой цепью, ты ко мне несправедлива! Я человек прямой, как и подобает солдату.

— А как ты находишь помпейских дам вообще? — спросила Юлия.

— Клянусь Венерой, они прекрасны! Правда, все они ко мне благосклонны, и это удваивает их очарование в моих глазах.

— Мы любим воинов, — сказала жена Пансы.

— Я это знаю. Клянусь Геркулесом, даже неловко быть слишком знаменитым в этих городах. В Геркулануме некоторые залезали на крышу моего атрия, чтобы взглянуть на меня через водосток. Восхищение сограждан приятно, но в конце концов оно становится тягостным.

— Правда твоя, Веспий! — воскликнул поэт, подходя к ним. — Я это чувствую.

— Ты! — сказал величественный воин, оглядывая тщедушного поэта с невыразимым презрением. — А в каком легионе ты служил?

— Ты можешь увидеть мои трофеи на форуме, — сказал поэт, бросая на женщин многозначительный взгляд. — Я был среди соратников самого великого мантуанца.⁶⁹

— Я не знаю никакого полководца из Мантуи, — сказал воин сурово. — В какой кампании ты участвовал?

— В Геликонской.⁷⁰

— Никогда не слышал.

— Ах, Веспий, он просто шутит, — сказала Юлия со смехом.

— Шутит! Клянусь Марсом, со мной шутки плохи!

— Да ведь сам Марс был влюблен в мать шуток,⁷¹ — сказал поэт, немного встревоженный. — Знай же, о Веспий, что я поэт Фульвий. Это я делаю воинов бессмертными!

— Да сохранят нас боги! — шепнул Саллюстий Юлии. — Если Веспия сделать бессмертным, какой образец назойливого хвастуна получают от нас потомки!

Воин, казалось, был смущен. Но тут, ко всеобщему облегчению, гостей пригласили к столу.

Мы уже рассказывали, как пировали в Помпеях, и не станем занимать читателя, подробно описывая блюда и перечисляя их названия.

Диомед, большой любитель церемоний, назначил особого раба рассаживать гостей по местам.

Пиршественный стол был составлен из трех: один в середине и два с боков под прямым углом к нему. Гости располагались только с внешней стороны столов; внутреннее пространство оставалось свободным для слуг. На одном конце сидела Юлия как хозяйка; на другом — Диомед. На углу среднего стола поместился эдил, на противоположном углу — римский сенатор; это были почетные места. Других гостей рассадили так, что молодые (мужчины и женщины) сидели отдельно от пожилых. Это было очень удобно, но те, кто хотел считаться молодым, легко могли обидеться.

Иону посадили рядом с Главком. Ложа были отделаны черепаховыми пластинами и покрыты сверху пуховыми покрывалами с дорогой вышивкой. Стол был украшен резьбой по

⁶⁹ Великий мантуанец — Вергилий, уроженец Мантуи.

⁷⁰ Геликон — гора в Греции, на которой, согласно мифам, обитали Музы.

⁷¹ Мать шуток — богиня Афродита (Венера).

бронзе, слоновой кости и серебру. Здесь были изображения богов, ларов и священной солонки. Над столом и ложами висел роскошный балдахин. На каждом углу стояли высокие светильники, ибо, хотя был еще день, в комнате царил полумрак. По залу были расставлены треножники с благовонными курениями, а на капителях колонн красовались большие вазы и всякие серебряные украшения. Обычай требовал неизменных возлияний в честь богов, и Весту как царицу богов домашнего очага обычно чествовали первой.

Когда эта церемония была завершена, рабы усыпали ложа и пол цветами и на голову каждому гостю задели венок из роз, связанных липовым лыком, перевитых лентами и плющом и украшенных аметистом,⁷² — каждое из этих растений считалось средством против опьяняющего действия вина; только венки женщин не были ими украшены, потому что женщине считалось неприличным пить вино на людях. Диомед счел нужным назначить царя или распорядителя пира — этот важный титул иногда присваивался по жребию, а иногда, как теперь, хозяином дома. Диомед долго колебался. Старый сенатор был слишком угрюм и немощен, чтобы справиться с такими обязанностями; эдил Панса вполне подходил для этого, но предпочесть низшего по рангу было бы оскорблением для сенатора. Взвешивая достоинства остальных гостей, богач поймал беззаботный взгляд Саллюстия и вдруг назвал имя веселого эпикурейца.

Саллюстий принял эту честь с подобающей скромностью.

— Я буду милостивым повелителем для тех, кто пьет усердно, — сказал он. — К непокорным же буду суровее самого Миноса. Берегитесь!

Рабы поднесли каждому из гостей таз с ароматной водой, и этим омовением начался пир. Стол ломился от закусок.

Пока разговор не стал общим, Иона и Главк могли потихоньку перешептываться, а это было для них приятней, чем слушать лучших ораторов мира. Юлия не спускала с влюбленных горящего взгляда.

Но от Клодия, сидевшего в середине, откуда ему хорошо видна была Юлия, не укрылась ее досада, и он поспешил этим воспользоваться. Он обратился к ней через стол с обычными любезностями. Клодий был благородного происхождения и недурен собой, а тщеславная Юлия не настолько была влюблена в Главка, чтобы остаться равнодушной.

Бдительный Саллюстий все время неусыпно следил за рабами; он поднимал чашу за чашей с такой быстротой, словно решил исчерпать огромные погреба, которые еще и сейчас сохранились под домом Диомеда. Достойный торговец начал уже жалеть о своем выборе, так как пришлось открывать одну амфору за другой. Рабы, все юные (младшие, которым не было еще и десяти лет, разливали вино, а другие, постарше лет на пять, разбавляли его водой), казалось, разделяли рвение Саллюстия; Диомед покраснел, когда заметил, с каким удовольствием поддерживали они старания царя пира.

— Прости меня, сенатор! — сказал Саллюстий. — Я вижу, ты уклоняешься от возлияний; твоя тога с пурпуровой каймой тебя не спасет — пей!

— Клянусь богами, — сказал сенатор, кашляя, — я уже весь в огне. Ты мчишься с такой быстротой, что сам Фаэтон по сравнению с тобой ничто. Я слаб, любезный Саллюстий: придется тебе освободить меня.

— Ни за что, клянусь Вестой! Я равно беспристрастен ко всем своим подданным — пей!

Бедный сенатор принужден был повиниться законам пира. Увы! Каждая чаша приближала его к стигийским болотам.⁷³

— Легче, легче, любезный царь! — стонал Диомед. — Мы уже начинаем...

⁷² Греческое слово «аметистос» означает «предохраняющий от опьянения». Так назывался сорт винограда, из которого давили легкое, почти не опьяняющее вино.

⁷³ То есть к царству мертвых, опоясанному полу заболоченной рекой Стиксом.

— Измена! — воскликнул Саллюстий. — Я не потерплю за этим столом сурового Брута, не потерплю вмешательства в мои повеления!

— Но здесь женщины...

— Пускай полюбят пьяниц. Разве Ариадна не была влюблена в Вакха?

Пир продолжался; языки развязались, гости зашумели. Последняя перемена блюд — десерт был уже на столе; рабы разносили воду с миррой и иссопом для омовения. Тем временем напротив гостей поставили круглый столик, и из него вдруг, словно по волшебству, забила благоуханная струя, обрызгивая стол и пирующих; после этого балдахин был отдернут, и гости увидели, что под потолком протянут канат, и один из тех танцовщиков, которыми Помпеи так славились, стал показывать свое искусство прямо у них над головами.

Этот призрак скакал как безумный, и достаточно было ему поскользнуться, чтобы разmozжить голову кому-нибудь из зрителей; но пирующие смотрели на это зрелище с интересом и хлопали, когда танцовщик совершал особенно трудный прыжок и ухитрялся при этом не упасть на гостя, который ему особенно понравился. Особое предпочтение он оказал сенатору, совсем было соскользнув с каната и ухватившись за него рукой в последний миг, когда все уже думали, что голову римлянина постигнет та же участь, что и голову поэта, которую орел принял за черепаху. Наконец танцовщик остановился, и Иона, не привыкшая к таким зрелищам, вздохнула с облегчением. Снаружи раздалась музыка. Тогда он стал танцевать еще быстрее; мелодия переменилась, и он снова замер, словно был заколдован, и музыка не могла рассеять чары. Он представлял больного какой-то необычайной болезнью, который танцует и не в силах остановиться, — только определенная мелодия может его излечить. Наконец музыканты, видимо, нашли эту мелодию; танцовщик сделал прыжок, соскочил с каната на пол и скрылся.

Одно искусство пришло на смену другому: музыканты, сидевшие на террасе, заиграли тихую, нежную мелодию, и из-за стены едва слышно донеслось пение..

Солнце тем временем стало клониться к закату, но гости, пировавшие уже несколько часов, не замечали этого в затемненном зале. Уставший сенатор и воин, которому нужно было еще вернуться в Геркуланум, встали, подав этим сигнал для общего разъезда.

— Еще минуту, друзья мои, — сказал Диомед. — Если вы хотите так скоро оставить меня, то по крайней мере должны принять участие в нашей последней игре.

Подозвав одного из слуг, он что-то шепнул ему. Раб вышел и вскоре вернулся с небольшой чашей, в которой лежали навощенные таблички, тщательно запечатанные и с виду совершенно одинаковые. Каждый из гостей должен был купить табличку, уплатив самую мелкую серебряную монету; весь интерес этой лотереи (любимого развлечения императора Августа, который ее и ввел) заключался в неравноценных, а иногда и совсем неуместных выигрышах, указанных на табличках. Так, например, поэт с кислым видом вытянул свое стихотворение (ни один аптекарь еще не проглатывал с меньшей охотой собственную пилюлю); воину достался ларчик со шпильками, что дало пищу для остроумия насчет Геракла и прялки;⁷⁴ вдова Фульвия выиграла большую чашу для вина, Юлия — мужскую застежку, а Лепид — коробку для рукоделия. Самый подходящий выигрыш достался игроку Клодию, который покраснел от досады, когда ему поднесли меченые игральные кости. Общее веселье несколько омрачило событие, которое сочли дурным знаком: Главку достался самый ценный выигрыш — мраморная статуэтка Фортуны греческой работы, но, подавая ему статуэтку, раб уронил ее, и она разбилась.

Все содрогнулись и невольно вскрикнули, призывая богов отвести беду.

Один только Главк, хотя он, вероятно, был суеверен не менее остальных, остался невозмутим.

⁷⁴ Согласно мифу, Геракл должен был три года прослужить лидийской царице Омфале, и царица приказала ему отложить в сторону палицу и львиную шкуру и прясть шерсть вместе с рабынями.

— Милая Иона, — шепнул он нежно неаполитанке, которая сама побледнела как мрамор, — я принимаю это знамение. Оно означает, что, дав мне тебя, Фортуна не может больше дать ничего — она разбила свое изображение, благословив меня твоим.

Чтобы рассеять впечатление, которое произвел этот случай на собравшихся, Саллюстий, украсив свою чашу цветами, поднял ее за здоровье хозяина. Затем была поднята чаша за императора; и наконец — прощальная чаша в честь Меркурия, чтобы он ниспослал всем приятные сны, после чего Саллюстий отпустил тетей.

Экипажами и носилками в самих Помпеях пользовались редко, потому что город был небольшой, а улицы узкие. Почти все гости, надев сандалии, которые они сняли при входе в пиршественный зал, и заиснувшись в плащи, отправились домой пешком в сопровождении своих рабов.

Тем временем Главк, видя, что Иона ушла, двинулся к лестнице, которая вела вниз, и рабыня проводила его в комнату, где уже ждала Юлия.

— Главк! — сказала она потупясь. — Я вижу, что ты действительно любишь Иону. Она и в самом деле прекрасна.

— Юлия так очаровательна, что может позволить себе быть великодушной, — отвечал грек. — Да, я люблю Иону. Желая тебе, чтобы среди всех твоих поклонников нашелся один столь же искренний.

— Я буду молить об этом богов. Смотри, Главк, эти жемчуга я дарю твоей невесте. Да пошлет ей Юнона здоровье, чтобы она долгие годы могла их носить. — С этими словами она протянула ему шкатулку с ожерельем из довольно крупных и ценных жемчужин.

В Помпеях было принято делать такие подарки перед свадьбой, и Главк мог без колебаний принять ожерелье, хотя про себя независимый и гордый афинянин решил отплатить Юлии подарком втрое ценнее. Когда он начал благодарить, Юлия остановила его и налила вина в небольшую чашу.

— Ты много выпил с моим отцом, — сказала она, улыбаясь. — Выпей же одну чашу со мной. Желая здоровья и счастья твоей невесте!

Она едва коснулась губами края чаши и передала ее Главку. Обычай требовал, чтобы Главк осушил ее до дна, что он и сделал. Юлия, не зная о том, что Нидия ее обманула, смотрела на него горящими глазами. Хотя колдунья сказала ей, что зелье может подействовать не сразу, она надеялась восторжествовать мгновенно и была разочарована, когда увидела, что Главк спокойно поставил чашу и продолжал говорить с ней тем же ровным, но вежливым тоном, что и раньше. И, хотя она удерживала афинянина, сколько позволяло приличие, его поведение ничуть не изменилось.

«Зато завтра, — подумала она, подавляя разочарование, — горе Главку!»
И поистине — горе ему!

ГЛАВА IV

Приворотное зелье. Его действие

Придя домой, Главк застал у себя в саду Нидию. Слепая девушка пришла, надеясь, что он вернется рано. Измученная страхом, тревогой и ожиданием, она решила при первой же возможности дать ему выпить приворотного зелья и в то же время надеялась, что такой случай не представится.

Вся в огне, с громко бьющимся сердцем она ждала Главка до самого вечера. Он прошел через колоннаду, как раз когда зажглись первые звезды и небо оделось и багрянец.

— Дитя мое, ты ждешь меня?

— Нет, я просто поливала цветы и присела отдохнуть.

— Сегодня был жаркий день, — сказал Главк, садясь на скамью у колоннады.

— Очень.

— Позови Дава. Я выпил много вина, мне жарко, пускай принесет чего-нибудь

освежающего.

Нидии неожиданно представилась возможность, которую она искала: он сам, по собственной воле, давал ей случай осуществить замысел. Она дышала быстро и тяжело.

— Я сама приготовлю тебе летний напиток, который любит Иона, — сказала она. — Мед со слабым вином, охлажденный снегом.

— Спасибо! — сказал он. — Если Иона его любит, этого достаточно; даже яд был бы для меня благодетелем.

Нидия нахмурилась, но сразу же улыбнулась. Она ушла и вскоре принесла напиток. Главк взял у нее чашу. Чего не отдала бы Нидия за счастье прозреть хоть на один час и увидеть, как ее надежды претворятся в действительность, увидеть первые проблески воображаемой любви; торжественней, чем это делают персы, поклониться восходу солнца, которое, как верила ее доверчивая душа, должно сверкнуть сквозь ее унылую ночь! Как не похожи были в этот миг мысли и чувства слепой девушки на чувства и мысли тщеславной красавицы! Какие ничтожные и пустые страсти обуревали Юлию! Какая жалкая досада, какая мелкая мстительность, какая жажда презренного торжества составляли то чувство, которое она громко называла любовью! Но в диком сердце девушки из Фессалии была лишь чистая, всепобеждающая, неизменная страсть — противоречивая, не женская, безумная, и все же без примеси грубых побуждений. Любовь для нее была дороже жизни — могла ли она упустить возможность добиться взаимности!

Она прислонилась к стене, и лицо ее, только что залитое краской, теперь побелело как снег; судорожно сжав руки, приоткрыв губы, потупив глаза, она ждала, что скажет Главк.

Главк поднес чашу к губам и уже выпил около четверти, как вдруг взглянул на Нидию, и его так поразила происшедшая в ней перемена, застывшее страдальческое, незнакомое выражение ее лица, что он перестал пить и, все еще держа чашу у рта, воскликнул:

— Нидия, Нидия, что с тобой! Ты больна? Ах, твое лицо красноречивее слов. Что у тебя болит, дитя?

Он поставил чашу и встал, чтобы подойти к ней, как вдруг холодная боль пронзила его сердце, голова закружилась и затуманилась. Земля ускользала из-под его ног, он словно шел по воздуху, могучая неземная радость вторглась в его душу, он чувствовал себя слишком легким, чтобы ходить по земле, ему хотелось летать, ему даже казалось, что у него выросли крылья. Против воли он разразился громким, диким смехом. Он хлопнул в ладоши, подпрыгнул—он был словно пифия⁷⁵ в экстазе, а потом его странный восторг исчез так же внезапно, как и появился, хоть и не без следа. Главк теперь чувствовал, что кровь шумит и кипит в его жилах; казалось, она вздымается, ликует, бурлит подобно реке, которая, выйдя из берегов, мчится к океану. У него громко стучало в ушах, он чувствовал, как кровь приливает к голове, жилы на висках вздуваются, словно не могут сдержать ее яростный натиск, а потом мгла застлала ему глаза, и сквозь эту мглу он видел сверкающие стены, а нарисованные на них фигуры двигались, скользя, словно призраки. Но удивительнее всего, что он не чувствовал себя больным, не поник под бременем сумасшествия, обрушившегося на него. Чувства его словно обновились, они стали свежими и чистыми, как будто в него влилась новая юность. Он падал в пропасть безумия, не подозревая об этом!

Нидия не ответила на его вопрос — она лишилась дара речи, когда его дикий и ужасный смех пробудил ее от страстного ожидания. Она не могла видеть его нурных движений, его шатких, нетвердых шагов, но она слышала его речь — отрывистую, бессвязную, безумную. В ужасе она бросилась к нему, шаря руками в пустоте, коснулась его колен, а потом, упав на землю, обняла их, плача от волнения и страха.

— О скажи мне что-нибудь! Скажи! Ты меня не возненавидел? Говори же!

⁷⁵ Пифия — жрица храма Аполлона Пифийского в Дельфах. Во внутренней, самой священной части храма стоял золотой треножник. Пифия всходила на него и, опьяняясь ядовитыми испарениями, поднимавшимися из-под земли, выкрикивала бессвязные и непонятные слова, которые затем истолковывались другими жрецами как вещания бога.

— Клянусь светлой богиней, прекрасная земля этот Кипр! О! Жилы наполняются вином вместо крови! Теперь они вскрыли вены вон тому фавну, чтоб показать, как кровь бурлит и сверкает. Пойди сюда, старый, веселый бог! Ты верхом на козле, да? Какая у него длинная, шелковистая шерсть! Он стоит всех парфянских коней. Но, скажу я тебе, твое вино слишком крепко для нас, смертных. Ах, до чего ж хорошо! Ветви не колышутся. Зеленые волны леса пленили ипотопили под собою Зефир! Ни ветерка, листва неподвижна, и я вижу сны, я сплю, сложив крылья на недвижимом вязе; смотрю вниз и вижу, как голубойпоток искрится в свете тихого полдня. Фонтан, фонтан бьет! Ах, светлый источник, ты не застишь солнце Греции, хотя тянешься к нему своими серебристымируками. Но кто там крадется через заросли? Она скользит, как луч лунного света... На голове у нее венок из дубовых листьев, в руке — перевернутая ваза, из которой сыплются мелкие пурпурные ракушки и льется сверкающая вода. Ах, погляди на это лицо! Такого еще не видели глаза смертного. Гляди! Мы одни. Только я и она в огромном лесу. На ее губах нет улыбки — она подходит сурово и печально. А! Беги, это нимфа! Это одна из диких ореад! Кто увидит ее, сходит с ума! Беги! Ой, она на меня сейчас поглядит!

— О Главк, Главк! Ты не узнаешь меня? Перестань так кричать, не то твои слова убьют меня!

Новая перемена произошла в пылающем и помраченном мозгу несчастного афинянина. Он положил руки на мягкие волосы Нидии; он гладил ее, с тоской смотрел на нее, а потом, так как в разорванной цепи его мыслей еще уцелело несколько звеньев, ее лицо, видимо, напомнило ему Иону, и от этого его безумие стало еще ужаснее, оно теперь было окрашено страстью, и он закричал:

— Клянусь Венерой, Дианой, Юноной, что, хотя теперь у меня вся земля на плечах, как у моего земляка Геракла (да, тупой Рим, все великие были из Греции, и, если б не мы, у тебя не было бы богов!), я сброшу ее в хаос за одну улыбку Ионы. О прекрасная, любимая, — сказал он нежно и жалобно, — ты меня не любишь! Ты жестока ко мне! Египтянин оклеветал меня, и ты не знаешь, какие ужасные часы провел я под твоим окном, не знаешь, как бродил я до рассвета, надеясь, что ты, мое солнце, наконец взойдешь, а ты не любишь меня, ты меня покинула! Не покидай же меня хоть теперь! Я чувствую, что мне недолго осталось жить. Дай мне полюбоваться на тебя перед смертью. Я из светлой земли твоих отцов, я бродил по холмам Филы, я собирал гиацинты и розы в оливковыххрощах на берегах Иллисса. Ты не можешь покинуть меня, потому что наши отцы были братья. Говорят, эта страна прекрасна, безмятежна, но я увезу тебя собой... О! Черная тень, зачем встаешь ты между мной и моей любимой! На твоем челе печать смерти, на твоих губах улыбка, которая убивает. Твое имя Орк, но на земле тебя зовут Арбаком. Видишь, я тебя знаю! Прочь, черная тень, твои чары бессильны!

— Главк! Главк! — прошептала Нидия, разжав руки и падая в тоске, раскаянии и горе на землю.

— Кто звал меня? — спросил он громко. — Иона! Это она! Ее похитили, надо спасти ее. Где мой стиль? А, вот он! Я спешу на помощь, Иона! Сейчас, сейчас!

С этими словами афинянин одним прыжком проскочил портик, промчался через дом и побежал по освещенным звездами улицам быстрыми, хоть и неверными шагами, что-то громко бормоча. Ужасное зелье жгло ему кровь — его действие, видимо, еще усилилось от выпитого перед тем вина. Привыкшие к ночным гулякам горожане, подмигивая, с улыбкой давали ему дорогу; они, разумеется, думали, что он одержим Вакхом, которого не зря так почитали в Помпеях; но те, что успели разглядеть его лицо, вздрагивали от непонятного страха, и улыбка исчезала с их губ. Бессознательно направляясь к дому Ионы, он пробежал по оживленным улицам, пересек почти пустынный квартал и очутился в безлюдной роще Кибелы, где Апекид накануне разговаривал с Олинфом.

ГЛАВА V

Различные действующие лица встречаются. Потoki, которые текли врозь, сливаются воедино.

Арбак, которому не терпелось узнать, дала ли Юлия его ненавистному сопернику ужасное зелье и что из этого вышло, решил пойти к ней вечером и удовлетворить свое любопытство. Как уже было сказано, мужчины в те времена часто носили при себе таблички и стиль для письма, а приходя домой, снимали их вместе с поясом. По существу, под видом письменных принадлежностей римляне носили при себе острое и грозное оружие. Таким стилем Кассий поразил в Сенате Цезаря. Надев пояс и плащ, Арбак вышел из дому, опираясь на длинную палку, потому что все еще нетвердо стоял на ногах, хотя надежда и жажда мщения вместе с его собственным искусством врачевателя помогли ему восстановить свои природные силы, и направился к вилле Диомеда.

Как прекрасны лунные ночи в Италии! День здесь так быстро переходит в ночь, что сумерки едва уловимы. На миг небо тронет багрянец, по морю скользнут розовые блики, тень вступит в борьбу со светом, и вот уж загорелись бесчисленные звезды, взошла луна, и над землей властвует ночь.

Яркий, но мягкий лунный свет озарял древнюю рощу, посвященную Кибеле. Могучие деревья, которые росли здесь с незапамятных времен, отбрасывали на землю длинные тени, и сквозь их ветви проглядывали звезды, густо усеивавшие тихий небосвод. Маленький храм, белевший посреди рощи, на фоне темной листвы, был исполнен какой-то жуткой торжественности, он напоминал о святости этого места.

Кален, держась в тени деревьев, быстро прошел через рощу, добрался до часовни и, осторожно раздвинув густые ветви позади нее, надежно спрятался; спереди была часовня, сзади — деревья, так что ни один случайный прохожий не мог его увидеть. И снова все затихло; лишь издали доносились возгласы пирующих или музыка, звучавшая на улицах, потому что в те времена, как и теперь, итальянцы в летние ночи долго гуляли, наслаждаясь после знойного дня прохладой и лунным светом.

С холма, на котором раскинулась роща, сквозь деревья было видно огромное, словно окрашенное пурпуром море, подернутое вдали рябью, белые домики Стабий и Лактарийский хребет, смутно вырисовывавшийся на прекрасном южном небе. Но вот в дальнем конце рощи появился Арбак, спешивший к дому Диомеда, и в тот же миг на пути его встретился Апекид, который шел на свидание с Олифмом.

— А, это ты, Апекид! — сказал Арбак, сразу узнав его. — В последний раз мы расстались врагами. С тех пор я очень хотел увидеться с тобой, потому что все еще считаю тебя своим учеником и другом.

Услышав голос египтянина, Апекид вздрогнул, резко остановился и посмотрел на Арбака; презрение пересилило чувство обманутого доверия.

— Подлый обманщик! — сказал он наконец. — Значит, ты вырвался из когтей смерти! Но не вздумай снова заманивать меня в свои гнусные сети. Ретиарий, у меня есть против тебя оружие!

— Тише! — сказал Арбак шепотом, и только дрогнувшие губы да краска, появившаяся на смуглых щеках, выдали, как оскорбили слова жреца гордость этого надменного потомка фараонов. — Тише, говорю тебе! Нас могут услышать, а если кто-нибудь, кроме меня, подслушает твои слова...

— Ты мне грозишь? А что, если меня услышит весь город?

— Тогда духи моих предков не позволят мне пощадить тебя. Меня охватило безумие ревности, и я жестоко поплатился за него. Прости меня. Я, никогда не просивший прощения ни у одного смертного, смиряю свою гордость. Мало того: я готов искупить обиду, я готов жениться на твоей сестре. Подумай, что этот легкомысленный грек в сравнении со мной? У меня несметные богатства, происхождение столь древнее, что перед ним все ваши греческие

и римские имена кажутся вчерашними, знания — но про это тебе все известно. Отдай за меня сестру, и я всей своей жизнью искуплю минутную ошибку.

— Египтянин, если бы даже я согласился, все равно моей сестре ты противен. Конечно, я сам грешен и могу простить тебе, что ты сделал меня орудием обмана, но никогда не прощу, что ты, грязный лжец, принудил меня разделить твои пороки. Трепещи! Близок час, когда ты и твои лживые идола будут разоблачены. Твоя подлая жизнь будет извлечена на свет, все узнают про поддельных оракулов, храм Исиды станут презирать, имя Арбака — произносить с ненавистью. Трепещи!

Румянец на лице египтянина сменился мертвенной бледностью. Оглядевшись, он удостоверился, что поблизости никого нет, а потом устремил на Апекида черные глаза с такой злобой и угрозой, что человека, не обуреваемого ревностным желанием служить богу, это ужасное лицо привело бы в ужас. Но молодой прозелит не дрогнул и ответил взглядом, исполненным гордого вызова.

— Апекид, — сказал египтянин дрожащим и сдавленным голосом, — берегись! Что ты замыслил? Говоришь ли ты под влиянием внезапного гнева, без умысла, или у тебя уже готов план? Подумай, не спеши с ответом.

— Я говорю по вдохновению истинного бога, рабом которого теперь стал, — смело отвечал христианин, — и знаю, что по его воле людская отвага уже сочла дни твоего лицемерия и дьявольского служения! Солнце не взойдет и трех раз, как ты узнаешь все. Трепещи, злобный колдун, и прощай.

Все свирепые и темные страсти, унаследованные Арбаком от его предков, но обычно как-то скрытые под лицемерной приветливостью или философской невозмутимостью, вырвались на волю. Мысли вихрем завертелись в его голове; перед ним был союзник Главка, человек, который даже для его законного брака с Ионой воздвиг неодолимое препятствие, разрушивший все его планы, очернивший его имя, угрожавший осквернить святыню, которой он служил, хоть и не верил в нее, упрямый и неукротимый разоблачитель его обманов и пороков. Его любовь, его слава, более того — самая жизнь оказалась в опасности; видимо, был даже назначен день и час, когда осуществится какой-то замысел против него. Теперь он узнал, что Апекид принял христианство! Ему был известен неукротимый дух прозелитов этой веры. Так вот он каков, его враг! Египтянин схватился за стиль — Апекид был беззащитен перед ним. Они стояли возле часовни. Арбак еще раз огляделся; вокруг не было ни души, тишина и безлюдье побуждали его действовать.

— Умри же, безумец! — пробормотал он. — Прочь с моего пути!

И в тот миг, когда Апекид повернулся, чтобы уйти, Арбак занес стиль и, протянув руку над его левым плечом, дважды вонзил острое оружие ему в грудь.

Апекид молча, без единого стола, упал, пораженный в сердце, возле священной часовни.

Мгновение Арбак смотрел на него со свирепой радостью. Но он тотчас понял всю опасность, которой подверг себя. Он тщательно вытер оружие о траву и об одежду своей жертвы, потом плотно закутался в плащ и хотел уже уйти, как вдруг увидел человека, который, странно пошатываясь, шел по дорожке. Мягкий свет луны упал на его лицо, белое как мрамор. Египтянин узнал Главка. Несчастный обезумевший грек пел какую-то бессвязную и дикую песню, состоявшую из обрывков гимнов и священных од.

«Ага! — подумал египтянин, мгновенно поняв, в чем дело. — Значит, адское зелье подействовало и судьба послала тебя сюда, чтобы разом поразить обоих моих врагов!»

Быстро, даже раньше, чем эта мысль мелькнула у него в голове, он спрятался за часовню, и из укрытия, как тигр из логова, следил за своей второй жертвой.

Египтянин узнал Главка.

Он увидел блуждающий и беспокойный блеск в красивых глазах афинянина, судорожно искаженное, бледное, как у статуи, лицо и бескровные губы. Ясно было, что как ни помрачены его чувства, но когда он подошел к трупу Апекида, из груди которого

медленно текла на траву темно-красная струя, это жуткое зрелище заставило его остановиться. Он постоял немного, приложил руку ко лбу, словно собираясь с мыслями, и проговорил:

— Как! До чего ж крепко ты спишь, Эндимион! Что нашептала тебе Луна? Я ревную, пора проснуться.

И он нагнулся, чтобы поднять тело.

Забыв про свою слабость, египтянин выскочил из укрытия, сильным ударом сбил Главка с ног, так что тот упал на труп христианина, и закричал во всю силу своих легких:

— Эй, люди! Помогите! Сюда, сюда! Убийство, убийство возле самой святыни! Помогите, держите убийцу!

И он наступил на грудь Главка. Но это была напрасная предосторожность: под действием зелья, оглушенный падением, грек лежал неподвижно и только иногда бессвязно бредил.

Арбак все кричал, призывая на помощь, и, быть может, какое-то раскаяние, какие-то угрызения совести — ибо, несмотря на свои преступления, он еще не утратил всех человеческих чувств — закрались в его душу; беспомощность Главка, его бессвязные речи, его поврежденный ум произвели на египтянина даже большее впечатление, чем смерть Апекида, и он сказал чуть слышно:

— Бедная плоть! Бедный рассудок! Где же теперь душа этого юноши? Я мог бы пощадить тебя, мой соперник, бывший соперник, но судьба моя должна свершиться, я должен пожертвовать тобой ради своего спасения.

И, чтобы заглушить голос совести, он закричал еще громче, выхватил стиль из-за пояса у Главка, испачкал его в крови убитого и бросил рядом на землю.

Тут, тяжело дыша, подбежали несколько человек и окружили их. У некоторых были факелы, ненужные в эту лунную ночь; кроваво-красные, они зловеще сверкали, трепеща на фоне темных деревьев.

— Поднимите труп, — сказал египтянин, — и хорошенько стерегите убийцу.

Они подняли тело и в ужасе, в священном негодовании узнали жреца своей обожаемой Исиды; но еще больше, пожалуй, поразились они, когда увидели, что убийца — блестящий и всеми любимый афинянин.

— Главк! — в один голос вскричали они. — Возможно ли?

— Я скорей поверил бы, что сам египтянин сделал это, — шепнул один своему соседу.

Но вот сквозь растущую толпу властно протиснулся центурион.

— Как! Пролита кровь! Кто убийца?

Зрители указали на Главка.

— Он? Клянусь Марсом, он скорее похож на жертву. Кто его обвиняет?

— Я, — сказал Арбак, надменно выступая вперед, и драгоценные камни, украшавшие его одежду, сверкнув перед глазами центуриона, сразу убедили этого достойного воина в надежности свидетеля.

— Прости меня... Как твое имя? — спросил он.

— Арбак. Меня хорошо знают в Помпеях. Проходя через рощу, я увидел этого грека и жреца — они о чем-то разговаривали. Меня удивили порывистые движения грека, его нелепые жесты и громкий голос. Мне показалось, что он или пьян, или сошел с ума. Вдруг он занес стиль. Я бросился к нему, но не успел остановить удар. Он дважды пронзил свою жертву, потом наклонился над ней, и тут я в ярости и негодовании сбил его с ног. Он не сопротивлялся, и это еще больше убеждает меня, что он был не в своем уме, когда совершил преступление, потому что я только недавно оправился после болезни и мой удар был слаб, а Главк, как видишь, молод и силен.

— Он открыл глаза, шевелит губами, — сказал центурион. — Говори, арестованный, что можешь ты ответить на обвинение?

— Обвинение? Ха-ха! Это ловко: когда старая ведьма напустила на меня змею и Геката стояла рядом, ухмыляясь от уха до уха, что мне было делать? Но я болен, мне дурно, змея

ужалила меня. Отнесите меня в постель и пошлите за лекарем. Сам старик Асклэпий придет ко мне, если вы скажете ему, что я грек. О, пощадите, пощадите, я горю! Мозг горит! — И с душераздирающим стоном афинянин снова упал.

— Бредит, — сказал центурион с жалостью. — Он потерял рассудок и в безумии убил жреца. Кто-нибудь видел его сегодня?

— Я видел его утром, — сказал один из толпы. — Он проходил мимо моей лавки и поздоровался со мной. Он казался здоровым и в своем уме, не хуже любого из нас.

— А я видел его полчаса назад, — сказал другой.: — Он шел по улице и что-то бормотал, странно размахивая руками, — точь-в-точь как говорил египтянин.

— Показания подтверждаются. Видимо, это правда. Во всяком случае, нужно отвести обвиняемого к претору. А жаль, он так молод и богат! Но преступление ужасно: убить жреца Исиды, да еще в священном облачении, возле нашей самой древней часовни!

Эти слова заставили толпу осознать весь ужас совершившегося кошунства. Все содрогнулись в благочестивом страхе.

— Неудивительно, что земля тряслась, если она носит такое чудовище! — сказал один.

— За решетку его, за решетку! — закричала толпа. А один голос, пронзительный и радостный, перекрыл все остальные:

— Зверям теперь не нужен гладиатор! Эй, эй! Веселья сладок зов!

Это был голос молодой женщины, которая недавно разговаривала с Медоном.

— Правда, правда, ведь скоро игры! — закричало несколько человек, и при этой мысли всякая жалость к обвиняемому исчезла.

Молодой и красивый, он как нельзя больше подходил для арены.

— Найдите какие-нибудь доски или носилки для убитого, — сказал Арбак. — Жреца Исиды нельзя нести в храм на руках непосвященных, точно мертвого гладиатора.

Труп Апекида почтительно положили на землю, лицом вверх, и несколько человек отправились на поиски досок, чтобы отнести тело, не прикасаясь к нему.

В этот миг толпа заколыхалась, чья-то высокая фигура протиснулась сквозь нее, и перед египтянином нетал Олинф. Сначала он с невыразимой печалью и ужасом взглянул на окровавленную грудь и лицо, на котором застыла мука смерти.

— Убиенный! — сказал он. — Любовь к богу привела тебя сюда. Они узнали про твою благородную цель и смертью твоей отвратили свой позор.

Тут он резко обернулся, и глаза его остановились на надменном египтянине.

Он даже слегка вздрогнул, его лицо выразило отвращение и ужас перед этим страшным злодеем. Христианин смотрел на Арбака, как птица на василиска, — долго и безмолвно. Но потом, поборов невольный испуг, Олинф протянул правую руку и громко сказал:

— Апекид убит! Где же убийца? Выходи, египтянин! Именем бога живого я говорю: «Ты тот человек».⁷⁶

На смуглом лице Арбака промелькнула едва заметная тревога, которая тут же сменилась негодованием и презрением, когда зрители, на миг остолбенев от этих смелых и решительных слов, стали подступать все ближе к двум людям, которые были в центре внимания.

— Я знаю, кто меня обвиняет, — гордо сказал Арбак. — Нетрудно догадаться, почему он возводит на меня клевету. Граждане Помпеи, знайте, что этот человек — самый рьяный из назарейян, или христиан, не знаю, как они там называются! Неудивительно, что он в своей злобе смеет обвинять египтянина в убийстве жреца египетской богини.

— Знаем его! Знаем этого пса! — кричали в толпе. — Это Олинф, христианин или,

⁷⁶ В одной из книг Библии рассказывается, как царь Давид сперва отнял у своего подданного любимую жену, а потом приказал поставить его в самом опасном месте на поле боя, и тот был убит. Тогда к царю явился пророк Нафан (Натан) и рассказал ему о богаче, который отобрал у бедняка соседа его единственную овечку. Давид в гневе спросил: «Кто это сделал? Он достоин смерти!» И Нафан отвечал ему словами, которые здесь произносит Олинф.

вернее, безбожник! Он не признает богов!

— Тише, братья, — сказал Олинф с достоинством. — Убитый жрец перед смертью принял христианскую веру — он раскрыл мне темные дела этого египтянина и лживость оракулов Исиды. Он готовился заявить об этом во всеуслышание. Этот юноша — чужеземец, он никому не причинил зла, у него не было врагов. Кто мог пролить его кровь, как не человек, который боялся его свидетельства? Это египтянин Арбак!..

Центурион опять протиснулся вперед.

— Прежде всего, есть ли у тебя, Олинф или как там тебя зовут, какие-нибудь доказательства виновности Арбака, кроме этих необоснованных подозрений?

Олинф молчал, а египтянин презрительно рассмеялся:

— Ты утверждаешь, что убитый жрец Исиды — один из секты назареев, или христиан?

— Да.

— Тогда поклянись этой святыней, этой статуей Кибелы, этим самым древним святилищем в Помпеях, что убитый принял твою веру!

— Жалкий человек! Я не признаю ваших идолов! Ненавижу ваши храмы! Как же могу я клясться Кибелой?

— Смерть безбожнику! Земля разверзнется и поглотит нас, если мы будем терпеть этих злодеев в священной роще! Смерть ему!

— Бросить их на растерзание зверям! — добавил женский голос в толпе. — Одного — льву, а другого — тигру!

— Если ты, назареянин, не веришь в Кибелу, какого же из наших богов ты признаешь? — спросил центурион, не обращая внимания на крики.

— Никакого!

— Послушайте, что он говорит! — закричали в толпе.

— О жалкие слепцы! — продолжал христианин, возвышая голос. — Как можно верить в идолов из дерева и камня? Неужели вы воображаете, что они могут видеть и слышать или же помогать вам? Разве этот немой кумир, вырезанный руками человека, — богиня? Вот, убедитесь в ее ничтожестве и в своем безумии!

Он бросился к часовне и, прежде чем кто-либо понял его намерение, низверг деревянную статую с пьедестала.

— Смотрите! — крикнул он. — Ваша богиня не может даже отомстить за себя. Разве достойна она почитания?

Больше ему не дали сказать ни слова — таким грубым и дерзким было кощунство, совершенное к тому же в столь священном месте, что даже самые равнодушные пришли в ярость. Все, как один, бросились на Олинфа, и, если б не вмешательство центуриона, его разорвали бы на части.

— Тише! — крикнул центурион громким и властным голосом. — Пусть этот осквернитель святыни предстанет перед законным судом. Мы и так понапрасну потеряли много времени. Отведите к судьям обоих преступников. А тело жреца положите на носилки и отнесите в его дом.

В этот миг вперед выступил человек в облачении жреца Исиды.

— Я требую, чтобы прах был отдан храму в согласии с обычаем.

— Повинуйтесь жрецу, — сказал центурион. — Как убийца?

— Без сознания или спит.

— Не будь его преступление таким тяжким, я пожалел бы его. Ну, идемте.

Арбак повернулся и встретился взглядом со жрецом — это был Кален; и в его взгляде было что-то настолько значительное и злое, что египтянин пробормотал про себя:

«Неужели он видел?»

Молодая женщина выскочила из толпы и поглядела на Олинфа в упор.

— Клянусь Юпитером, крепкий малый! Любо-дорого глядеть! Говорю вам, одного сожрет тигр, а другого — лев!

— Ого-го! — закричала толпа. — Одного — лев, а другого — тигр! Вот так удача! Ура!

ГЛАВА VI,

*из которой читатель узнает о дальнейшей судьбе Главка.
Испытание дружбы. Вражда утихает, любовь тоже, потому что
одна из любящих слепа*

Была уже поздняя ночь, а улицы и площади в Помпеях все еще кишели народом. Но лица праздных гуляк были серьезней обычного. Они переговаривались, собираясь большими группами, испытывая жуткое и вместе с тем приятное чувство от этого разговора, потому что обсуждали вопрос жизни и смерти.

Какой-то молодой человек быстро прошел через красивый портик храма Фортуны и довольно сильно толкнул толстого Диомеда, который направлялся домой, в свою пригородную виллу.

— Эй! — жалобно крикнул торговец, с трудом сохраняя равновесие. — Что у тебя, глаз нет? Или ты думаешь, я бесчувственный? Клянусь Юпитером, ты чуть дух из меня не вышиб; еще один такой удар, и моя душа отправится прямо в Аид.

— А, Диомед! Это ты! Прости меня. Я задумался о превратности жизни. Наш бедный друг Главк... Ох! Кто бы мог подумать!

— Но скажи мне, Клодий, его действительно будут судить в Сенате?

— Да. Говорят, преступление так ужасно, что сам Сенат должен вынести приговор. Главка приведут туда под стражей ликторов.

— Значит, его судят публично?

— Конечно. Где ты был, что не знаешь этого?

— Я уехал в Неаполь по делам на другое утро после преступления и только что вернулся. Как это неприятно — ведь в тот самый вечер он был у меня в доме.

— Без сомнения, он виновен, — сказал Клодий, пожимая плечами. — А так как это преступление неслыханное, Сенат поторопится вынести приговор до начала игр.

— До начала игр! О боги! — вскричал Диомед, вздрагивая. — Неужели его бросят на растерзание зверям? Ведь он так молод и богат!

— Твоя правда. Но ведь он грек. Будь он римлянин, нашлись бы тысячи смягчающих обстоятельств. Иные из этих чужеземцев рождаются богатыми, но в трудную минуту мы не должны забывать, что они, в сущности, рабы. Конечно, мы, представители высших классов, всегда мягкосердечны, и будь наша воля, он наверняка отделался бы легко: ведь, между нами говоря, кто такой этот жалкий жрец Исида? Да и сама Исида! Но толпа суеверна, она требует крови преступника. Опасно противиться общественному мнению.

— А этот святотатец — христианин, или назарейнин, или как их там называют?

— Бедняга! Если он принесет жертву Кибеле или Исиде, его помилуют, если нет — он будет растерзан тигром. По крайней мере, я так думаю. Но все решит суд. Ведь пока урна пуста, грек еще может избежать роковой «тэты».⁷⁷ Но довольно об этом мрачном деле. Как поживает прекрасная Юлия?

— Хорошо.

— Передай ей привет. Но постой! Я слышу, в доме претора скрипнула дверь. Кто вышел оттуда? Клянусь Поллуксом, это египтянин! Что ему нужно было у нашего друга претора?..

Арбак, пройдя узкую улицу, подошел к дому Саллюстия, как вдруг увидел темную фигуру — у дверей лежала какая-то женщина, закутанная в плащ.

Она была так неподвижна и призрачна, что всякий, кроме Арбака, почувствовал бы

⁷⁷ Голосуя, судьи клали в урну либо камешек, либо навощенную табличку, на которой условным знаком писали свое мнение. Одним из таких знаков была буква «тэта», первая буква слова «танатос» — смерть.

суеверный страх, решив, будто видит одного из мрачных лемурув, которые любят посещать пороги домов, прежде им принадлежавших. Но этот вздор был не для Арбака.

— Встань! — сказал он, касаясь ногой лежащей. — Ты не даешь мне пройти.

— А! Кто это? — воскликнула она и встала с земли; лунный свет озарил бледное лицо и широко раскрытые, но незрячие глаза Нидии. — Кто ты? Мне знаком твой голос.

— Слепая девушка! Что ты здесь делаешь в этот поздний час? Фу! Разве подобает это твоему полу и возрасту? Ступай домой.

— Я знаю тебя, — сказала Нидия тихо. — Ты египтянин Арбак. — И, словно повинуюсь внезапному порыву, она упала к его ногам, обхватила его колени и воскликнула в исступлении: — О страшный и могущественный человек! Спаси его, спаси! Он не виноват — это все я! Он здесь, в этом доме, больной, умирающий, и я всему причина! Меня не пускают к нему, гонят прочь. Исцели его! Ты ведь знаешь какую-нибудь траву, чары, которые противодействуют другим чарам, потому что он сошел с ума от приворотного зелья.

— Тише, дитя! Я знаю все. Ты забыла, что я вместе с Юлией ходил в пещеру колдуньи. Это Юлия дала ему зелье, но ты должна молчать, чтобы не запятнать ее имя. Не упрекай себя — чему быть, того не миновать. А я пойду к преступнику, его еще можно спасти. Пусти меня!

С этими словами Арбак вырвался из рук отчаявшейся девушки и громко постучал в дверь.

Через несколько секунд он услышал, как отодвигаются тяжелые засовы, и привратник, приоткрыв дверь, спросил, кто пришел.

— Это я, Арбак. У меня к Саллюстию важное дело, которое касается Главка. Я пришел от претора.

Привратник, зевая и кряхтя, впустил египтянина. Арбак прошел в триклиний, где Саллюстий ужинал со своим любимым вольноотпущенником.

— Арбак? В этот поздний час? Выпей чашу вина.

— Нет, милый Саллюстий. Я осмелился беспокоить тебя по делу, а не ради удовольствия. Как твой узник? В городе говорят, что он опомнился.

— Увы! Это правда, — отвечал добрый, но беззаботный Саллюстий, вытирая глаза. — Но его душа и тело так истерзаны, что я едва узнаю в нем веселого гуляку, который был мне приятелем. Всего удивительнее, что он не может объяснить причину своего внезапного безумия; он лишь смутно помнит, что произошло. И, несмотря на твое свидетельство, мудрый египтянин, он торжественно клянется, что невиновен в смерти Апекида.

— Саллюстий, — серьезно сказал Арбак, — поступок твоего друга во многом заслуживает снисхождения. И, если мы добьемся от него признания его вины, если он расскажет, что заставило его совершить убийство, можно будет надеяться на милосердие Сената. Ведь ты знаешь, Сенат имеет власть смягчать законы или, напротив, делать их еще суровее. Я был у высшего представителя власти в городе, и он разрешил мне поговорить сегодня ночью с глазу на глаз с афинянином. Ведь завтра, сам знаешь, будет суд.

— Ну что ж, — сказал Саллюстий, — ты будешь достоин своего имени и славы, если сможешь что-нибудь узнать у него. Попытайся. Бедный Главк! У него был такой хороший аппетит, а теперь он ничего не ест.

И добрый эпикуреец совсем растрогался при этой мысли. Он вздохнул и приказал рабам налить еще вина.

— Ночь проходит, — сказал египтянин. — Проводи меня к пленнику.

Саллюстий кивнул и повел его в каморку, которую охраняли два сонных раба. Дверь отперли. По просьбе Арбака Саллюстий ушел, и египтянин остался наедине с Главком.

Высокий красивый светильник, какие были в моде в то время, одиноко горел возле узкого ложа. Его свет падал на бледное лицо афинянина, и Арбак, увидев, как оно изменилось, пожалел свою жертву. Румянец исчез, щеки ввалились, губы были бескровны и искривлены; яростной была борьба между разумом и безумием, жизнью и смертью. Молодость и сила Главка победили, но юность крови и души, самая жизнь, бывшая ключом,

исчезли.

Египтянин тихо сел подле ложа; Главк лежал молча, не замечая его. Наконец после долгого молчания Арбак заговорил:

— Главк, мы были врагами. Теперь я пришел к тебе один, поздней ночью как друг и, быть может, спаситель.

Как прыгает конь, почуяв тигра, так Главк, едва слышав резкий голос своего недруга, вскочил, дрожа и задыхаясь от волнения. Их взгляды встретились, и некоторое время они смотрели друг другу прямо в глаза. Афинянин то краснел, то бледнел, а смуглые щеки египтянина стали чуть светлее. Наконец Главк с глухим стоном отвернулся, приложил руку ко лбу, откинулся назад и пробормотал:

— Неужели я еще сплю?

— Нет, Главк, ты не спишь. Клянусь своей правой рукой и головой моего отца, ты видишь перед собой человека, который готов тебя спасти. Слушай же! Я знаю, что ты сделал, но знаю и причину твоего поступка, о которой ты сам не подозреваешь. Ты совершил убийство, это так, — кощунственное убийство. Не хмурься, не дрожи — я видел это собственными глазами. Я могу тебя спасти, могу доказать, что ты лишился рассудка и действовал бессознательно. Но ради своего спасения ты должен сознаться. Подпиши вот это признание, что ты убил Апекида, и ты избежишь рокового приговора.

— Что я слышу? Я убил Апекида? Разве я не видел, что он лежал на земле мертвый, весь в крови? И ты хочешь меня убедить, что я это сделал? Ты лжешь! Вон отсюда!

— Не торопись, Главк. Твое преступление доказано. Вполне понятно, ты не помнишь того, что совершил в безумии, ведь в здравом уме одно зрелище этого злодеяния заставило бы тебя содрогнуться. Но я сейчас освежу твою измученную память. Помнишь, вы шли с Апекидом и спорили из-за его сестры; он всегда был нетерпим и, сделавшись назаряянином, хотел обратить и тебя. Вы поссорились. Он поносил твой образ жизни и клялся, что не позволит Ионе выйти за тебя замуж, и тогда ты в гневе и безумии ударил его стилем. Ну вспомни же! Прочитай этот папирус, там все написано. Подпиши его, и ты спасен.

— Варвар, дай мне этот лживый папирус, я его изорву! Я — убийца брата Ионы! Мне признаться, что я коснулся хоть волоса на голове того, кого она любила! Да я скорей тысячу раз умру!

— Берегись, — прошипел Арбак. — Иного выбора у тебя нет: или ты подпишешь признание, или угодишь в пасть льву!

Посмотрев на Главка, египтянин с радостью заметил при этих словах явные следы волнения. Легкая дрожь прошла по телу афинянина, губы его искривились, страх и сомнения отразились на лице и в глазах.

— Великие боги, — сказал он тихо, — как превратна судьба! Только вчера жизнь улыбалась мне — Иона была моя, молодость, здоровье, любовь осыпали меня своими дарами, а теперь — боль, безумие, позор, смерть! И за что? Что я сделал? Ах, может быть, я все еще безумен?

— Подпиши это и ты спасен! — сказал египтянин тихим, вкрадчивым голосом.

— Никогда, искуситель! — воскликнул Главк в бешенстве. — Ты меня еще не знаешь. Ты не знаешь гордую душу афинянина! Лик смерти мог испугать меня на миг, но теперь страх прошел. А бесчестье страшно вовеки! Кто добровольно опозорит свое имя, чтобы спасти жизнь? Кто променяет спокойствие души на угрызения совести? Кто примет бесчестье и погубит себя в глазах людей и любимой женщины? Если несколько жалких лет жизни можно купить лишь ценой такой низкой трусости, не надейся, египетский варвар, что им станет тот, кто ступал по той же земле, что Гармодий, и дышал тем же воздухом, что Сократ. Уйди! Оставь меня жить с чистой совестью или умереть без страха!

— Подумай хорошенько! Клыки льва, вопли жестокой толпы, глазеющей на твои предсмертные муки, на изуродованные члены. Твой труп даже не похоронят; позор, которого ты хочешь избежать, заклеит тебя на веки вечные.

— Ты бредишь! Не я, а ты сумасшедший! Позор не в том, что подумают другие, —

важно быть чистым в собственных глазах. Уйдешь ты наконец? Мнепротивно смотреть на тебя! Я всегда тебя ненавидел, а теперь презираю!

— Что ж, я уйду, — сказал Арбак. Уязвленный и озлобленный, он был не в силах подавить жалость и восхищение перед своей жертвой. — Я уйду. Мы встретимся еще дважды — на суде и в амфитеатре. Прощай!

Египтянин медленно встал, подобрал полы своей одежды и вышел. Он зашел на минуту к Саллюстию, который бодрствовал над чашей, и глаза у него уже были хмельные.

— Он все еще безумен или запирается. Нет ни какой надежды спасти его.

— Не говори так, — сказал Саллюстий, который не чувствовал неприязни к обвинителю афинянина, так как не очень верил в добродетель и был скорее тронут несчастьями своего друга, чем убежден в его невиновности. — Не говори так, мой милый египтянин! Такой добрый кутила должен быть спасен, если есть хоть малейшая возможность. Вахх против Исиды!

— Посмотрим, — сказал египтянин.

Засовы снова загремели, и дверь отворилась; Арбак очутился на улице. Бедная Нидия вскочила на ноги.

— Ты спасешь его? — воскликнула она, стискивая руки.

— Дитя, пойдем со мной. Я прошу тебя ради него, мне нужно с тобой поговорить.

— И ты его спасешь?

Слепая девушка не дождалась ответа, как ни напрягала слух. Арбак уже ушел далеко по улице; она поколебалась и молча пошла за ним.

— Эту девушку надо держать взаперти, — пробормотал египтянин задумчиво, — не то она проболтается про зелье. Ну, а уж тщеславная Юлия не выдаст себя, она будет молчать.

ГЛАВА VII

Похороны у древних

Пока Арбак ходил разговаривать с Главком, горе и смерть царили в доме Ионы. Наутро над убитым Апекидом нужно было совершить торжественные похоронные обряды. Покойного перенесли из храма Исиды в дом его ближайшей родственницы, и Иона разом узнала про смерть брата и про обвинение против ее жениха. Сильная боль притупляет чувства, и так как рабы ничего ей не сказали, она не знала подробностей о судьбе Главка, не знала о его болезни, безумии и о предстоящем суде над ним. Она узнала только про обвинение и сразу с негодованием его отвергла; более того: услышав, что обвинитель — Арбак, она не могла уже отделаться от мысли, что убийца — сам египтянин. Но смерть брата требовала от нее совершения обрядов, которым древние придавали огромное значение, и не дала этой уверенности выйти за стены комнаты, где лежал покойный. Увы! Ионе не довелось исполнить тот трогательный долг, который обязывает ближайшего родственника ловить последний вздох любимого человека, когда душа его расстается с телом; ей пришлось лишь закрыть его остекленевшие глаза и искривленный рот, а потом бодрствовать возле тела брата, когда, помытый и натертый благовониями, он лежал в праздничных одеждах на ложе, отделанном слоновой костью, усыпать это ложе листьями и цветами, менять кипарисовую ветвь у порога. И в этих печальных обязанностях, в слезах и молитвах Иона забылась. Одним из самых прекрасных обычаев древних было хоронить молодых на рассвете, при первых лучах зари, потому что, стремясь смягчить жестокость смерти, они воображали, будто Аврора, любящая молодых, уносит их в своих объятиях; и, хотя на похоронах убитого жреца этот миф не мог служить утешением, обычай все же был соблюден.

Звезды одна за другой гасли на сером небе, и ночь медленно отступала перед утром, когда печальная процессия выстроилась у дома Ионы. Длинные и тонкие факелы, казавшиеся бледными в первых лучах зари, освещали лица, на которых застыло торжественное и напряженное выражение. И вот послышалась медленная и скорбная музыка,

которая соответствовала печальному обряду, и поплыла далеко по пустынным и безмолвным улицам; и хор женских голосов (плакальщиц, так часто изображаемых римскими поэтами) запел под аккомпанемент свирели и миссийской флейты погребальную песнь.

Твой дом украшен ветвью кипариса —
Не розами прекрасными обвит.
Здесь смерть и холод смертный. Покорись им!
Ступай, о странник! Ждет тебя Коцит.

Напрасно мы зовем тебя — не хочет
Смерть отступить. Напрасно кличем мы!
Твои венки увянут в Доме Ночи,
Цветы засохнут в Царстве Вечной Тьмы.

Ни песни удалой, ни разговора,
Ни солнечной полдневной красоты...
Ты Данаид печальных встретишь скоро
И алчных псов! И повстречаешь ты

Сизифа в споре с вечною горою —
На скалах, с вечным камнем на плечах,
Чудовищного сына Каллирои⁷⁸
И Лидии правителя.⁷⁹ Впотьмах

Бредут они. Искривлены их лица
И призрачен фигур ужасных ряд. .
Давно ждет челн. Пора и в путь пуститься.
Челн ждет давно.⁸⁰ Закончим же обряд.

Спешите! Не мешкайте! Среди деревьев сонных
Приют ушедших, город погребенных.
Скорбящие, ступайте по домам!
Ступайте все — велит умерший вам.

Когда звуки пения замерли, провожающие стали по обе стороны дверей; тело Апекида вместе с ложем, застланным пурпуровым покрывалом, вынесли из дому ногами вперед. Распорядитель печальной церемонии, сопровождаемый факельщиками в черном, подал знак, и процессия двинулась.

Впереди шли музыканты, играя медленный марш. Эту тихую, торжественную музыку то и дело перекрывали громкие тоскливые завывания похоронной трубы; следом шли наемные плакальщицы, распевавшие погребальные песни; женские голоса смешивались с голосами мальчиков, чей юный облик еще больше подчеркивал контраст между жизнью и

⁷⁸ Сын Каллирои — великан Герион, убитый Гераклом.

⁷⁹ Правитель Лидии — Тантал.

⁸⁰ Челн ждет давно — челн Харона, который переправляет души умерших через реки подземного царства. Для расплаты с Хароном древние клали в рот покойника медную монету.

смертью: зеленый лист рядом с увядшим. Но шуты, актеры и даже главный среди них, чьей обязанностью было представлять умершего (без них обычно не обходились похороны), не были допущены сюда, чтобы не будить ужасные воспоминания.

За плакальщицами шли жрецы Исида в своих белоснежных одеждах, босиком, держа в руках пучки колосьев, а следом несли изображения умершего и его мфинских предков. За носилками шла, окруженная своими рабынями, единственная родственница покойного, с непокрытой головой, распустив волосы, бледная как мрамор, но задумчивая и тихая. Лишь изредка ни ходила она из мрачного оцепенения, закрывала лицо руками и рыдала; она не проявляла свою печаль пронзительными причитаниями, отчаянными жестами, как делали люди, горевавшие менее искренне. В тот век, как и во все остальные, истинное горе было глубоким и тихим.

Процессия, пройдя улицу, вышла за городские ворота и очутилась у неогороженного кладбища, которое можно видеть и сейчас.

Как алтарь, сложенный из неоструганных сосновых досок, меж которыми помещались горючие материалы, высился погребальный костер; а вокруг стояли, поникнув, темные и мрачные кипарисы, которые всегда сажали подле могил.

Как только носилки были опущены на этот костер, провожающие стали по обе его стороны. Иона подошла к покойному и несколько минут неподвижно и безмолвно стояла возле него. С лица Апекида уже сошло выражение муки, которое оставила на нем насильственная смерть. Навеки улеглись страхи и сомнения, утихло кипение страстей, исчез благочестивый трепет, надежда и страх перед будущим — от всего этого освободилась грудь юноши, стремившегося к святой жизни. Что же осталось в ужасной безмятежности этого непроницаемого чела и бездыханных губ? Сестра смотрела на него, и все стояли не шевелясь; было что-то ужасное и вместе с тем умиротворяющее в этом молчании. И вдруг резко и внезапно его нарушил громкий, страстный крик — это вырвалось наружу долго сдерживаемое отчаяние.

— Брат мой! Брат мой! — кричала несчастная Иона, упав на труп. — Ты не обидел и мухи, могли ли у тебя быть враги? Неужели ты убит? Проснись! Мы вместе выросли! Неужели нам суждено так разлучиться? Ты не умер — ты спишь. Проснись же, проснись!

Ее пронзительный голос заставил встрепенуться плакальщиц, и они, жалея Иону, разразились громкими и грубыми причитаниями. Это остановило Иону. Она быстро и смущенно подняла голову, словно впервые заметила присутствующих.

— Ах, — пробормотала она, дрожа, — значит, мы не одни!

После короткого молчания она встала, и ее бледное прекрасное лицо снова было сосредоточенным и твердым. Нежными дрожащими руками она подняла веки умершего; но, когда мутные, остекленевшие глаза, больше не сверкавшие жизнью, взглянули на нее, она громко вскрикнула, словно увидела призрак. Оправившись, она снова и снова целовала его веки, губы, лоб, а потом, уже не сознавая, что делает, приняла из рук главного жреца храма Исида погребальный факел.

Иона теперь сидела одна, в стороне, закрыв лицо руками, и не видела пламени, не слышала скорбной музыки; ею владело только одно чувство — одиночество, к ней не пришло еще то священное утешение, когда мы ощущаем, что мы не одни, что умершие с нами.

Ветер быстро раздул пламя. А потом оно стало съеживаться, тускнеть и медленно, то и дело вспыхивая, угасло совсем. Оно казалось символом самой жизни: там, где только что все было движение и огонь, лежала теперь лишь куча тлеющего пепла.

Слуги затоптали последние искры, собрали угли. Прах Апекида, пропитанный самым лучшим вином и дорогими благовониями, был положен в серебряную урну, которую торжественно установили в одной из гробниц у дороги; туда же поместили чашу, полную слез, и мелкую монету, которую поэтическая фантазия все еще предназначала угрюмому лодочнику. Гробница была украшена венками и гирляндами, на алтаре зажгли благовонные курения, вокруг гробницы поставили светильники.

Когда все обряды были исполнены, одна из женщин трижды сбрызнула плакальщиц с ветви лавра, произнеся последнее слово: «Ступайте», — и погребение закончилось.

Но на другой день, когда жрец пришел на могилу с новыми дарами, он увидел, что к языческим приношениям чья-то рука добавила зеленую пальмовую ветвь. Он не тронул ее, не зная, что это погребальная эмблема христианства.

ГЛАВА VIII

Что случилось с Ионой

Многие остались, чтобы разделить со жрецами траурный пир, а Иона со своими рабынями пустилась и печальный путь домой. Теперь, отдав последний долг брату, она как бы вернулась к жизни и стала думать о своем женихе и об ужасном обвинении против него. Она ни на миг не поверила этому немыслимому обвинению, подозревала во всем Арбака и чувствовала, что долг перед любимым и перед убитым братом велит ей пойти к претору и сообщить о своих подозрениях, хотя они ничем не подкреплены. Расспросив своих рабынь, которые до сих пор, жалея свою госпожу, не рассказывали ей о состоянии Главка, она узнала, что он опасно болен, что он под стражей в доме Саллюстия, и уже назначен день суда.

— Милостивые боги! — воскликнула она. — Как могла я забыть о нем? Он, наверно, думает, что я его покинула! Скорей к нему на помощь, пусть все видят, что я, ближайшая родственница убитого, уверена в его невинности. Скорей! Скорей! Я успокою, утешу, ободрю его! А если мне не поверят, если мне не удастся их убедить, если его приговорят к изгнанию или к смерти, я разделю с ним его участь.

Она невольно ускорила шаги, едва понимая в своей растерянности, куда идет; то она хотела сначала пойти к претору, то бежать прямо к Главку. Она быстро вошла в городские ворота и очутилась на длинной улице. Двери домов были открыты, но улица словно вымерла; город еще не проснулся. И вдруг Иона увидела впереди нескольких людей, которые несли крытые носилки. Из носилок вышел высокий человек, и Иона громко вскрикнула, узнав Арбака.

— Прекрасная Иона, — сказал он нежно, делая вид, будто не замечает ее испуга. — Моя подопечная, моя ученица! Прости, что я беспокою тебя в твоём горе, но претор, думая о твоей чести, боится, как бы ты опрометчиво не вмешалась в предстоящее судебное разбирательство, — ведь положение твое весьма двусмысленно, ибо ты жаждешь отомстить за брата, но боишься, что покарают твоего жениха. Поэтому претор, зная, что у тебя нет друга или защитника, который позаботился бы о тебе и разделил с тобой траур, отечески мудро поручил тебя заботам твоего законного опекуна. Вот документ, это подтверждающий!

— Злобный египтянин! — сказала Иона, гордо отстраняясь от Арбака. — Прочь от меня! Это ты убил моего брата. И в твои руки, еще обагрённые его кровью, теперь предадут сестру? А, ты бледнеешь! Совесть мучит тебя! Ты трепещешь. Ты ждешь карающей молнии богов-мстителей. Уходи, оставь меня в моей печали!

— Горе расстроило твой рассудок, Иона, — сказал Арбак, тщетно пытаясь обрести обычное спокойствие. — Я прощаю тебя. Ты всегда найдешь во мне верного друга. Но улица — неподходящее место, я не могу поговорить здесь с тобой, утешить тебя. Сюда, рабы! Садись, моя подопечная, носилки ждут тебя.

Удивленные и напуганные рабыни окружили Иону и жались к ней.

— Арбак, — сказала старшая из них, — это не по закону! Разве не запрещено девять дней после похорон беспокоить родственников умершего и нарушать их одиночество?

— Женщина! — возразил Арбак, повелительно взмахнув рукой. — Взять подопечную в дом ее опекуна — не против погребальных законов. Говорю тебе, у меня есть приказ претора. Но мы мешкаем, это неприлично. Посадите ее в носилки.

С этими словами он крепко обхватил сопротивляющуюся Иону. Она попятилась,

посмотрела ему в лицо, а потом разразилась судорожным смехом.

— Ха-ха-ха! Вот это дело! Прекрасный опекун, отеческий закон! Ха-ха-ха!

И, сама вздрогнув от этого резкого, безумного смеха, она без чувств упала на землю. Арбак мгновенно поднял ее и положил в носилки. Рабы быстро двинулись вперед, и вскоре носилки с несчастной Ионой исчезли из глаз ее плачущих рабынь.

ГЛАВА IX

Нидия притворяется колдуньей

Арбак, оставив Нидию в своем доме, ушел и не вернулся. Час проходил за часом, и она в напряженном ожидании, вдвойне мучительном из-за ее слепоты, вытянув руки, стала шарить по своей темнице в поисках выхода; убедившись, что единственная дверь заперта, эта девушка, пылкая от природы, а сейчас подстегиваемая нетерпением, стала громко кричать.

— Эй, девчонка! — сказал, открывая дверь, раб, который ее стерег. — Тебя что, скорпион ужалил? Или ты думаешь, что мы здесь страдаем от тишины и можем спастись, как младенец Юпитер, только с помощью шума?

— Где твой хозяин? Почему меня держат взаперти? Я хочу уйти, выпусти меня.

— Увы, девушка, мало ты знаешь Арбака. Разве ты забыла, что воля его — закон? Он приказал запереть тебя, и тебя заперли, а меня поставили стеречь дверь. Ты не можешь выйти на волю, но можешь получить кое-что получше — еду и вино.

— Во имя Юпитера, — воскликнула Нидия, ломая руки, — скажи, почему меня здесь заточили? Что нужно могучему Арбаку от бедной и слабой девушки?

— Сам не знаю. Разве только он хочет, чтобы ты прислуживала своей госпоже, которую принесли сюда сегодня в носилках.

— Как! Иона тоже здесь?

— Да, она здесь, бедняжка. И боюсь, что не по своей воле. Но, клянусь храмом Кастора, Арбак любезен с женщинами. Ты знаешь, что он опекун твоей госпожи.

— Отведи меня к ней.

— Она больна, обезумела от гнева и негодования. И, кроме того, мне не велено это делать. А сам я сроду не рассуждаю. Когда Арбак поставил меня служить в этих комнатах, он сказал: «Я требую только одного — пока ты служишь мне, у тебя не должно быть ни ушей ни глаз ни мыслей. Ты должен только повиноваться».

— Что ж плохого, если я увижусь с Ионой?

— Не знаю. Но, если тебе скучно, я охотно поговорю с тобой, потому что мне самому тоскливо в моей каморке. Кстати, ты ведь родом из Фессалии — так не знаешь ли какого-нибудь гаданья, не умеешь ли предсказывать судьбу, как многие в твоей стране? Глядишь, и время быстрее пройдет.

— Молчи, раб, или, если уж хочешь болтать, расскажи, что ты слышал о Главке.

— Хозяин пошел на суд. Главку плохо придется за его преступление.

— Какое?

— Убийство жреца Апекида.

— А! — сказала Нидия, прижимая руку ко лбу. — Я об этом слышала, но ничего не поняла. Кто посмеет тронуть хоть волос на его голове?

— Боюсь, что это сделает лев.

— Милостивые боги! Какой ужас!

— Ну конечно, если его осудят, тогда палачом ему будет лев или, может, тигр.

Нидия подскочила, словно сердце ее пронзила стрела. Она громко вскрикнула, а потом, упав к ногам раба, закричала так, что тронула даже его грубое сердце:

— Ах! Скажи, что ты пошутил, обманул меня! Говори же, говори!

— Поверь мне, я ничего не смыслю в законах. Может быть, дело не так уж плохо. Но его обвиняет Арбак, а многие требуют жертвы для арены... Да тыне убивайся! Что тебе за дело до судьбы этого афинянина?

— Просто он был добр ко мне. Так ты не знаешь, что с ним будет? Арбак его обвиняет! О судьба! Люди, люди! Ах! Ведь они могут видеть его лицо, неужели у них хватит жестокости? Впрочем, разве сама любовь не была к нему жестокой?

Она уронила голову на грудь и замолчала. Жгучие слезы потекли по ее щекам, и раб, как ни старался, не мог ни утешить ее, ни вывести из оцепенения.

Когда раб вышел, Нидия попыталась собраться с мыслями. Арбак обвиняет Главку; Арбак заточил ее здесь; разве это не доказывает, что на свободе она могла бы помочь Главку? Да, видно, ее завлекли в западню: она помогла погубить человека, которого любила. О, как жаждала она вырваться на волю! Девушка забыла про все свои страдания и думала лишь о побеге. Взвешивая возможности избавления, она стала спокойной и сосредоточенной. Она знала многие женские хитрости и в рабстве научилась искусно владеть ими. Какой раб был лишен хитрости? Она решила обмануть своего стража и, вспомнив его суеверный вопрос про ее фессалийское искусство, подумала: а не поможет ли это найти средство для побега? В таких раздумьях она просидела до самого вечера и не спала всю долгую ночь, а когда на другое утро раб Сосий пришел к ней, она сразу завела с ним разговор о том, о чем он так недавно говорил с таким интересом.

Однако она понимала, что может убежать только ночью, поэтому ей пришлось смириться и ждать наступления темноты.

— Ночь, — сказала она, — единственное время, когда можно узнать веления судьбы. Тогда и приходи ко мне. Но что хочешь ты узнать?

— Клянусь Поллуксом, я хотел бы знать все, что знает мой хозяин! Но на это нечего и надеяться. Скажи мне, по крайней мере, скоплю ли я довольно денег, чтобы выкупиться на свободу, или же египтянин отпустит меня задаром? Иногда он бывает щедр. И потом, если это мне суждено, стану ли я хозяином той уютной лавочки с благовониями, которую давно уже присмотрел? Ремесло парфюмера благородное и как раз подходит для вольноотпущенника, который сам не лишен благородства!

— Так! Значит, ты хочешь получить ответы на эти вопросы? Для этого есть разные способы. Есть говорящий камень, который отвечает детским голосом, но этот камень редок и стоит дорого. А еще можно гадать по воде: демон являет в воде бледные и ужасные видения, предвещающие будущее. Но для этого нужны особые сосуды со священной водой, а у нас их нет. Поэтому, я думаю, самый простой способ удовлетворить твое желание — это воздушная магия.

— Надеюсь, в ней нет ничего страшного? — спросил Сосий с испугом. — Я не люблю призраков.

— Не бойся. Ты ничего и не увидишь, только узнаешь по бульканью воды, суждено тебе счастье или ист. Главное, как только взойдет вечерняя звезда, приоткрой ворота, чтобы демон мог войти, да положи у ворот фрукты и поставь сосуд с водой в знак гостеприимства; а через три часа после наступления сумерек принеси сюда чашу чистой и холодной воды, и ты узнаешь свою судьбу по фессалийскому способу, которому научила меня мать. Но не забудь оставить приоткрытыми ворота — от этого зависит все; их нужно открыть за три часа до того, как ты придешь, и так оставить до конца гаданья.

— Не беспокойся, — сказал простодушный Сосий. — Я знаю, что чувствует благородный человек, когда дверь захлопывают у него перед носом, как не раз поступал со мной повар. И знаю также, что уважаемая особа, каков, конечно, этот демон, будет довольна всяким знаком гостеприимства. А пока вот тебе завтрак.

— Что слышно насчет суда?

— Суд все еще идет, они там болтают да болтают, это будет тянуться до завтра.

— До завтра? Ты в этом уверен?

— Так говорят.

- А что Иона?
— Клянусь Вакхом, ей, видно, получше стало, раз у нее хватило сил заставить хозяина сегодня утром топтать ногами и кусать губы. Я видел, как он вышел от нее темнее тучи.
— Ее комната близко?
— Нет, она наверху. Но мне недосуг больше болтать с тобой.

ГЛАВА X

Оса осмеливается залететь в паучьи тенета

Наступил вечер второго дня суда. Примерно в это время Сосий должен был заглянуть в ужасную неизвестность, но в ворота, которые он оставил открытыми, пошел не таинственный дух земли или воды, а грузная и вполне земная фигура Калена, жреца Исиды. Он едва обратил внимание на скромные дары — кучку незрелых плодов и сосуд кислого вина, — которые благочестивый Сосий счел подходящими, чтобы приманить невидимого незнакомца. «Наверно, жертва богу сада, — подумал Кален. — Но клянусь головой моего отца, если этому богу всегда так мало жертвуют, придется ему отречься от своего божественного звания. Ах, если бы не мы, жрецы, богам пришлось бы туго. А теперь поспешу к Арбаку — я иду по зыбучим пескам, но должен прийти. В моих руках жизнь египтянина — во сколько же он ее оценит?»

Рассуждая так, он прошел через дверь в перистиль, где в эту звездную ночь горело несколько светильников, и тут сам Арбак вышел ему навстречу из двери за колоннадой.

— А, Кален! Ты ищешь меня? — сказал египтянин, и в голосе его послышалось некоторое замешательство.

— Да, мудрый Арбак. Надеюсь, я тебе не помешал?

— Ничуть. Только что мой вольноотпущенник Каллий трижды чихнул справа от меня, поэтому я знал, что меня ждет приятное, и вот боги послали мне Калена.

— Не пройти ли нам в твои покои, Арбак?

— Как хочешь. Но сегодня ночь такая ясная и теплая, а я еще чувствую слабость после болезни, воздух освежает меня. Пойдем лучше в сад, там нас никто не услышит.

— С удовольствием, — сказал жрец.

И «друзья» не спеша пошли на одну из многочисленных террас, уставленных мраморными вазами с цветами и деливших сад на части.

— Чудесная ночь, — сказал Арбак, — светлая и прекрасная, как двадцать лет назад, когда я впервые увидел берега Италии. Мой милый Кален, мы стареем. Нужно, по крайней мере, почувствовать, что мы жили.

— Ты-то можешь этим похвастать, — сказал Кален, осторожно наводя разговор на тайну, которая тяготила его, и чувствуя, что снисходительный и приветливый тон, которого удостоил его высокомерный египтянин, только усиливает его страх. — У тебя несметные богатства, железное здоровье, которое не поддается болезням, ты счастлив в любви, испытал бесчисленные удовольствия и в этот самый час наслаждаешься мщением.

— Ты намекаешь на афинянина. Да, завтра на рассвете будет вынесен смертный приговор. Сенат неумолим. Но ты ошибаешься: его смерть не принесет мне никакой радости, она только избавит меня от соперника в любви к Ионе. Никаких враждебных чувств к этому несчастному убийце у меня нет.

— Убийце! — повторил Кален медленно и многозначительно, после чего пристально посмотрел на Арбака.

Звезды слабым и ровным светом озаряли гордое лицо своего пророка, но оно ничуть не изменилось. Кален, разочарованный и смущенный, опустил глаза. Он быстро продолжал:

— Убийце! Конечно, можно обвинять его в этом преступлении, но есть люди, которые знают, что он невиновен.

— Говори яснее, — холодно сказал Арбак; тайное предчувствие подготовило его к

этому разговору.

— Арбак, — сказал Кален, понижая голос до шепота, — я был за часовней в священной роще. Я слышал все. Я видел, как твое оружие пронзило сердце Апекида. Я не виню тебя — ты порастил врага и отступника.

— Значит, ты видел все, — сухо сказал Арбак. — Я так и думал. Ты был один?

— Один, — отвечал Кален, удивленный спокойствием египтянина.

— А зачем ты спрятался за часовней?

— Я знал, что Апекид принял христианство и на этом месте должен встретиться со злобным Олинфом, чтобы обсудить план, как разоблачить священные тайны нашей богини перед народом. Я хотел выследить их и разрушить их замыслы.

— Говорил ли ты хоть одной живой душе о том, что видел?

— Нет, господин мой. Тайна погребена в груди твоего слуги.

— И даже твой родич Бурдон ничего не знает? Говори правду!

— Клянусь богами...

— Брось! Мы знаем друг друга — что нам боги!

— Тогда клянусь страхом возмездия — нет!

— А почему ты до сих пор не сказал ничего мне? Почему только накануне суда над афинянином посмел ты сказать Арбаку, что он убийца? И если ты так долго медлил, то почему говоришь теперь?

— Потому... потому... — Кален смутился и покраснел.

— Потому, — продолжал Арбак с ласковой улыбкой, дружелюбно похлопывая жреца по плечу, — потому, мой милый Кален — ты сейчас увидишь, как я буду читать в твоём сердце и объясню все твои поступки, — что ты ждал, пока я безнадежно запутаюсь, выступив с обвинением, и у меня не останется лазейки. Ты ждал, пока я добавлю к убийству лжесвидетельство, ибо после того как я сам возбудил в других жажду крови, ни богатство, ни власть не смогут меня спасти. И теперь, когда должен быть вынесен приговор невинному, ты говоришь мне это, чтобы я понял, какую ужасную сеть может завтра разорвать одно твое слово, хочешь увеличить этим цену своего молчания, показать, что собственная моя ловкость, с которой я разжигал ярость толпы, после твоего свидетельства обратится против меня же и если не Главк, то я сам попаду в пасть ко льву! Разве не так?

— Арбак, — сказал Кален, утратив всю свою наглость, — поистине ты чародей! Ты читаешь в сердцах, как по - писаному.

— Это мое призвание, — отвечал египтянин с тихим смехом. — Так вот, молчи, а когда все будет кончено, я сделаю тебя богачом.

— Прости, — сказал жрец, сразу сообразив, что надеяться на будущую щедрость жадного Арбака не приходится. — Ты сказал правду — мы знаем друг друга. Если ты хочешь, чтобы я молчал, то должен заплатить сколько-нибудь вперед, в виде жертвы Гарпократу. Если хочешь, чтобы роза, нежный символ скромности, пустила прочные корни, окропи ее сегодня золотым дождем.

— Как это остроумно и поэтично! — сказал Арбак все тем же ласковым тоном, который успокаивал и ободрял, хотя должен был встревожить и сдержать алчного собеседника. — Подожди только до завтра.

— К чему откладывать? А вдруг, когда я не смогу уже давать показания, не опозорив себя, потому что не дал их прежде, чем пострадал невинный, ты забудешь о моих условиях? Если ты уже сейчас колеблешься, мне не дожидаться от тебя благодарности в будущем.

— Ну, раз так, говори, сколько ты хочешь получить,

— Твоя жизнь драгоценна, а богатства несметны, — отвечал жрец с усмешкой.

— Это еще остроумней. Но говори же, сколько?

— Арбак, я слышал, что у тебя в подвале есть тайная сокровищница, что там, под массивными сводами, хранятся груды золота, вазы, драгоценные камни и все это может соперничать с казной божественного Нерона. Тебе ничего не стоит уделить Калену из своих сокровищ столько, чтобы он стал одним из самых богатых жрецов в Помпеях, и ты не

заметишь убыли.

— Пойдем же, Кален, — сказал Арбак ласково. — Ты мой старый друг и был мне верным слугой. Ты не можешь желать моей смерти, а я хочу, не скупясь, наградить тебя; мы спустимся сейчас в сокровищницу, о которой ты говорил, ты насладишься зрелищем золота и бесценных камней и возьмешь столько, сколько сможешь унести под одеждой. Увидев сокровища своего друга, ты поймешь, как глупо было бы вредить тому, кто награждает так щедро. А когда Главка не станет, ты снова побываешь в сокровищнице. Видишь, я говорю с тобой откровенно, как с другом.

— О величайший и благороднейший из людей! — вскричал Кален радостно. — Простишь ли мне обидные сомнения в твоей справедливости и щедрости?

— Тс! Еще один поворот, и мы спустимся под своды.

ГЛАВА XI

Раб вопрошает оракула. Слепцов может обмануть слепая. Два новых узника за одну ночь

Нидия с нетерпением ожидала Сосия, которому самому не терпелось поскорее пойти к ней. Совершив для храбрости многочисленные возлияния вином лучшего качества, чем то, которое он оставил для демона, доверчивый раб прокрался в комнату, где была заперта слепая девушка.

— Ну, Сосий, ты готов? Принес чашу с чистой водой?

— Да, конечно. Но меня дрожь пробирает. Ты уверена, что я не увижу демона? Я слышал, что они не очень-то любезны и хороши собой.

— Будь спокоен! А оставил ты ворота приоткрытыми?

— Да, и на столик около ворот положил несколько прекрасных орехов и яблок.

— Это хорошо. Значит, ворота не заперты и демон может войти?

— Конечно.

— Ну, тогда открой и дверь. Вот так. Оставь ее приотворенной. А теперь, Сосий, дай мне светильник.

— Как! Уж не собираешься ли ты его погасить?

— Нет. Но я должна произнести над ним заклинания. В нем дух огня. Садись.

Раб повиновался. Нидия, склонившись над светильником, что-то прошептала.

— Ну, сейчас явится призрак, — сказал Сосий. — Я уже чувствую, как его дыхание шевелит мне волосы.

— Поставь чашу с водой на пол. А теперь дай мне платок, я завяжу тебе глаза.

— Ага! Это всегда делают чародеи. Но не так туго, полегче!

— Вот. Ты ничего не видишь?

— Клянусь Юпитером, ничего! Все черно.

— А теперь спрашивай у духа что хочешь — шепотом, три раза. Если он ответит «да», ты услышишь, как вода забулькает, когда демон на нее подует, а если «нет», все будет тихо.

— А обмана не будет?

— Я поставлю чашу у твоих ног, вот так. Теперь я не смогу прикоснуться к ней без твоего ведома.

— Это ты хорошо придумала. О Вакх, будь ко мне милостив! Ты знаешь, что я всегда любил тебя больше остальных богов, и я посвящу тебе ту серебряную чашу, которую стащил в прошлом году у толстого домоправителя, если ты уговоришь водяного демона быть ко мне благосклонным. А ты, о дух, слушай... Смогу ли я выкупиться на свободу в будущем году? Ты знаешь это, потому что живешь в воздухе, и птицы, конечно, разболтали тебе все тайны этого дома, — знаешь, что последние три года я тащил все, что честно (я хочу сказать — безопасно) мог утащить, и все же мне не хватает двух тысяч сестерциев. Смогу ли я, о добрый дух, собрать недостающие деньги в этом году? Говори. Кажется, вода булькает? Нет,

все тихо, как в могиле. Ну, если не в этом году, так в будущем? Ага, я что-то слышу; демон скребется в дверь, он сейчас будет здесь. Значит, в будущем году, мой друг? Ведь это довольно большой срок. Что? Опять молчишь? Ну, через два с половиной года... через три... через четыре? Чтоб тебе провалиться, друг демон! Ты не женщина, это ясно, а то ты не молчал бы так долго. Через пять... шесть... через шестьдесят лет? Да возьмет тебя Плутон! Не буду больше спрашивать.

И Сосий со злостью пнул чашу ногой. Потом, долго шаря руками и еще дольше ругаясь, развязал платок, которым была окутана его голова, и увидел, что он в темноте.

— Что такое? Эй, Нидия!.. Светильник исчез. Ах, обманщица, она тоже исчезла. Но погоди, я тебя поймаю, и ты мне за все заплатишь!

Раб ощупью нашел дверь, но она была заперта снаружи. Он стал пленником вместо Нидии. Что было делать? Он не смел стучать и звать на помощь, боясь, что Арбак узнает, как его одурачили, а Нидия тем временем, наверно, уже добралась до ворот и улинула.

«Но она, я думаю, пойдет домой или, по крайней мере, будет где-нибудь в городе, — размышлял Сосий. — Завтра на заре, когда рабы появятся в перистиле, меня услышат. Тогда я побегу ее искать. Найду и приведу обратно, пока Арбак ничего не узнал. Да, это самое лучшее. Ах, маленькая обманщица, у меня руки чешутся поколотить тебя, да еще ничего не оставила, кроме чаши с водой! Хоть бы с вином, тогда у меня было бы какое-то утешение».

Пока Сосий, пойманный в ловушку, сетовал на свою судьбу и обдумывал, как поймать Нидию, она с той удивительной точностью и быстротой движений, которая, как мы знаем, была ей свойственна, тихо прошла перистиль, отыскала коридор, который вел в сад, и с бьющимся сердцем хотела уже направиться к воротам, как вдруг услышала приближающиеся шаги и страшный голос Арбака. Она замерла в ужасе, не зная, что делать; потом вдруг вспомнила, что есть другой коридор — он вел через огромный подвал к двери, которая тоже выходила в сад. Может быть, на ее счастье, эта дверь открыта? С этой мыслью она поспешно повернула назад, спустилась по узкой лесенке и вскоре была у входа в коридор. Увы, он оказался крепко запертым. Едва Нидия успела убедиться в этом, как позади нее раздался голос Калена, потом Арбак что-то тихо ему ответил. Она не могла оставаться на месте, возможно, они шли к этой самой двери. Она бросилась наугад и очутилась в незнакомом месте. Воздух здесь был сырой и холодный. Это ее ободрило. Она поняла, что попала в подвал или в какой-нибудь темный закоулок, куда вряд ли пойдет надменный хозяин, как вдруг ее острый слух снова уловил шаги и голоса. Она спешила все вперед, вытянув руки, которые теперь то и дело наталкивались на толстые и массивные колонны. Чутьем, еще более обострившимся от страха, она находила дорогу и спешила дальше, а воздух с каждым шагом становился все более сырым; и все же, когда Нидия время от времени останавливалась перевести дух, она снова слышала приближающиеся шаги и неясные голоса. Наконец путь ей преградила стена. Куда было спрятаться? Нидия надеялась найти какую-нибудь лазейку или нишу. Но нет! Она остановилась, в отчаянии ломая руки. Потом, слыша, что голоса приближаются, побежала вдоль стены и вдруг, ударившись об острый брус, торчавший из стены, упала. Хотя она больно ударилась, но не потеряла самообладания, не вскрикнула; она даже обрадовалась, потому что брус мог послужить ей укрытием. Она легла между брусом и стеной, так что по крайней мере с одной стороны ее не было видно, вся сжалась и затаив дыхание ожидала своей судьбы.

Тем временем Арбак и жрец направлялись в тайную сокровищницу, которой египтянин так хвастался. Они были теперь в большом подземном атриум, или зале; низкий потолок поддерживали короткие, толстые колонны, которые по своей форме были далеки от греческого изящества того периода. Единственный светильник, который нес Арбак, тускло освещал голые и неровные стены, сложенные из огромных камней грубо и неуклюже, без цемента. Обеспокоенные гады угрюмо смотрели на незваных гостей, а потом уползли в тень, под стены.

Калена пробрала дрожь, когда он огляделся и вдохнул сырой, нездоровый воздух.

Арбак заметил это и усмехнулся:

— Эти сырые подземелья дают роскошь верхним покоем. Они как труженики — мы презираем их за грубость, а они питают ту гордыню, которая ими пренебрегает.

— А куда ведет та темная галерея слева? — спросил Кален. — Здесь, во мраке, кажется, что у нее нет конца, как будто она уходит прямо в Аид.

— Напротив, она ведет наверх, к свету, — ответил Арбак небрежно. — А мы повернем направо, к нашей цели.

Зал, как это часто бывало в Помпеях, разделялся на два крыла, или коридора, хотя и не очень длинных, но казавшихся бесконечными из-за темноты, разогнать которую был бессилён светильник. «Друзья» свернули в правый коридор.

— Веселый Главк завтра переселится в жилище, не менее сырое, но гораздо менее просторное, — сказал Кален, когда они проходили то место, где, укрывшись в тени широкого бруса, лежала Нидия.

— Да, но зато перед этим у него будет вдосталь сухого места на арене. И подумать только, — сказал Арбак медленно и очень спокойно, — что одно твое слово могло бы его спасти и предать Арбака его участи.

— Но это слово никогда не будет сказано, — отозвался Кален.

— Верно, мой милый Кален! Никогда! — сказал Арбак, дружески обнимая жреца за плечи. — А теперь стой — мы пришли.

Дрожащий свет осветил маленькую дверцу, глубоко вделанную в стену и обитую поверх грубых и потемневших досок металлическими листами и скобами. Арбак вынул из-за пояса небольшое кольцо, на котором висело три или четыре коротких, но массивных ключа. О, как забилося жадное сердце Калена, когда он услышал скрежет ржавых замков, словно возмущавшихся тем, что кто-то входит в сокровищницу, которую они охраняли!

— Сюда, друг мой, — сказал Арбак. — Я подниму светильник повыше, чтобы ты мог осмотреть груды золота.

Нетерпеливый Кален не заставил себя просить дважды: он поспешно шагнул вперед. Но едва он ступил за порог, как сильная рука Арбака втолкнула его внутрь.

— Слово никогда не будет сказано! — воскликнул египтянин с громким торжествующим смехом и захлопнул дверь.

Кален покатился вниз по ступеням, но тут же, не чувствуя боли, вскочил и бросился к двери. Он отчаянно колотил по ней кулаком и вопил истошным голосом, больше похожим на звериный вой, чем на человеческий крик:

— Выпусти, выпусти меня! Не надо мне золота!

Его голос был едва слышен из-за толстой двери, и Арбак снова засмеялся. Потом он со злобой стукнул и дверь ногой и воскликнул, давая наконец себе волю:

— Все золото Далмации не купит тебе и корки хлеба! Подыхай с голоду, негодяй! На твои предсмертные стоны не откликнется даже эхо. Ты будешь грызть сам себя, и ни одна живая душа не узнает про жалкую смерть того, кто угрожал Арбаку и мог его погубить. Прощай!

— Смилуйся, пощади! Бездушный злодей, неужели ты...

Но Арбак уже не слышал, он быстро шел назад через темное подземелье. По пути ему попала толстая, раздувшаяся жаба; огонь осветил ее бесформенное туловище и красные глаза. Арбак обошел жабу стороной, чтобы не наступить на нее.

— Ты отвратительна, но повредить мне не можешь, — пробормотал он, — поэтому я не трону тебя.

Вопли Калена все еще слабо доносились до слуха египтянина. Он остановился и прислушался.

«Вот беда, — подумал он. — Я не смогу отплыть отсюда, пока эти крики не смолкнут навеки. Мои сокровища не там, а в противоположном крыле. Но когда рабы станут их выносить, они могут услышать крики. Впрочем, чего мне бояться? Через три дня, если он

будет еще жив, клянусь бородой моего отца, голос его ослабеет. Он будет нем как могила. Однако, клянусь Исидой, здесь холодно! Выпью-ка я добрую чашу пряного фалернского».

И египтянин, не знавший угрызений совести, плотнее запахнув одежды, поднялся наверх.

ГЛАВА XII

Нидия разговаривает с Каленом

То, что услышала Нидия, вселило в нее ужас и вместе с тем надежду. Завтра Главк будет приговорен. Но есть человек, который может спасти его, предав казни Арбака, и человек этот — в нескольких шагах от нее!

Она слышала его крики и вопли, его проклятия и молитвы, хотя они едва доносились из-за двери. Он был в темнице, но она знала тайну. Только бы убежать и найти претора — его еще успеют освободить, и афинянин будет спасен. Она чуть не задохнулась от волнения; рассудок ее мутился, она теряла сознание, но потом она овладела собой и, внимательно прислушавшись, убедилась, что Арбак ушел. Тогда, идя на крики, она добралась до той самой двери, которая захлопнулась за Каленом. Здесь ей яснее слышны были его отчаянные вопли. Трижды пыталась она заговорить с ним, и трижды голос ее не мог проникнуть сквозь толстую дверь. Наконец, нащупав замок, она наклонилась к скважине, и узник отчетливо услышал, как кто-то окликнул его по имени.

Кровь застыла у него в жилах, волосы встали дыбом. Какое таинственное, сверхъестественное существо могло проникнуть в это ужасное одиночество?

— Кто там? — спросил он, испугавшись еще больше. — Какой призрак, какой злобный дух зовет несчастного Калена?

— Жрец, — сказала девушка, — неведомо для Арбака я волею богов стала свидетельницей его вероломства. Если мне удастся самой вырваться отсюда, я спасу тебя. Но ответь мне сейчас, через эту скважину, на один вопрос.

— О добрый гений! — радостно воскликнул жрец, наклонившись к скважине. — Спаси меня, и я продам все чаши с алтаря, чтобы отплатить тебе за твою доброту.

— Мне нужно не твое золото, а твоя тайна. Правильно ли я расслышала? Можешь ли ты спасти афинянина Главка от казни?

— Могу, конечно, могу! Иначе зачем же Арбак — да растерзают его фурии! — заманил меня сюда и обрек на голодную смерть?

— Главка обвиняют в убийстве. Можешь ли ты опровергнуть обвинение?

— Только освободи меня, и он в безопасности, как никто в Помпеях. Я видел своими глазами, как Арбак нанес удар. Я могу разоблачить настоящего убийцу и спасти невинного. Но, если умру я, умрет и он. Ты заинтересована в его судьбе? О добрая незнакомка, в моем сердце решение его участи!

— И ты правдиво расскажешь все, что знаешь?

— Расскажу! Да развернется ад у моих ног, если я лгу. Я отомщу лживому египтянину. Месть! Месть! Месть!

Когда Кален, скрежеща зубами, выкрикнул эти слова, Нидия поняла, что самая его злоба сулит Главку оправдание. Сердце ее сильно билось. Неужели судьба смилуется и позволит ей спасти любимого?

— Хорошо, — сказала она. — Боги, которые привели меня сюда, помогут мне выбраться. Да, я чувствую, что смогу тебя выручить. Жди терпеливо и не теряй надежды.

— Но будь осторожна, будь благоразумна, милая незнакомка. Не вздумай обращаться к Арбаку — он бесчувственный как камень. Найди претора, расскажи ему все, пускай прикажет обыскать этот дом. Да приведи сюда солдат и хороших кузнецов — эти замки такие крепкие! Время идет, я могу умереть с голоду, если ты не поторопишься. Иди же, иди!.. Или нет, постой. . Как ужасно остаться одному! Здесь воздух как в склепе... и

скорпионы... и злые духи! Останься, не покидай меня!

— Нет, — сказала Нидия, которую ужас жреца наполнял тревогой, а она хотела поскорей все обдумать наедине. — Ради собственного твоего спасения я должна уйти. Пусть надежда будет тебе товарищем. Прощай!

Сказав это, она пошла через зал, меж колоннами, протянув руки, пока не добралась до коридора, который вел наверх. Но там она остановилась; она чувствовала, что безопаснее будет выждать, пока весь дом заснет, тогда она сможет выбраться незаметно. Поэтому она снова легла и стала считать уходящие минуты. Она не умела долго унывать, и сердце ее радостно билось: Главк в смертельной опасности, но она его спасет!..

ГЛАВА XIII

Нидия пробирается в сад. Удастся ли ей убежать и спасти афинянина?

Арбак, подогрев свою кровь большой чашей пряного и ароматного вина, которое так ценили знатоки, еще больше воспрянул духом. Людям свойственно гордиться своей изобретательностью, даже когда она служит преступной цели. Тщеславная натура заставляет их радоваться своей хитрости и ловко достигнутому успеху, а потом наступает ужасное раскаяние.

Но Арбак был не таков, чтобы терзаться раскаянием из-за какого-то презренного Калена. Он выбросил из головы самую мысль о страданиях жреца и его мучительной, медленной смерти; он чувствовал только, что ужасная опасность миновала и враг будет молчать. Оставалось лишь объяснить как-нибудь жрецам исчезновение Калена, но Арбак знал, что это будет нетрудно. Он часто посылал Калена с разными поручениями в соседние города и теперь мог сказать, что отправил его с дарами для храмов Исиды в Геркулануме и Неаполе, дабы умиловить богиню после смерти ее жреца Апекида. А когда Кален умрет, труп можно бросить в глубокие воды Сарна, и тогда — в путь. Если жреца найдут, подозрение скорее всего падет на безбожников назарейян: ведь они, конечно, захотят отомстить за гибель Олинфа на арене. Быстро обдумав все это, Арбак забыл о несчастном жреце...

Когда пришли слуги, чтобы раздеть его на ночь, он вспомнил о Нидии. Ему пришла мысль, что Иона не должна узнать о безумии своего жениха, иначе она не станет винить его в преступлении; а ведь она могла услышать от рабов, что Нидия здесь, и пожелать ее увидеть. Он повернулся к одному из своих вольноотпущенников.

— Каллий, беги к Сосию, — сказал он, — и скажи ему, чтобы он ни в коем случае не выпускал слепую Нидию из комнаты... Или нет, погоди. Сперва скажи рабыням, которые прислуживают Ионе, чтобы они не смели говорить ей, что слепая девушка в моем доме. Беги скорей!

Вольноотпущенник повиновался. Передав поручение Арбака служанкам Ионы, он стал искать Сосия. Этого достойного человека не было в его каморке; вольноотпущенник громко позвал его, и рядом, из комнаты Нидии, откликнулся голос:

— Ох, Каллий, это ты? Хвала богам! Отопри дверь, прошу тебя!

Каллий отодвинул засов, и из двери высунулось жалобное лицо Сосия.

— Как! Сосий, неужто ты заперся с молодой девушкой? Какой срам!..

— Проклятая маленькая колдунья! — нетерпеливо перебил его Сосий. — Она меня погубит.

И он рассказал Каллию про воздушного демона и про побег Нидии.

— Несчастный Сосий, теперь тебе хоть в петлю! Арбак только что велел сказать, чтобы ты ни на миг не выпускал ее из этой комнаты!

— Горе мне! — воскликнул раб. — Как же теперь быть? За это время она могла обойти половину города. Но завтра я поймаю ее там, где она бывает всегда. Только не говори никому, дорогой Каллий.

— Из дружбы к тебе я сделаю все, что не повредит мне самому. Но ты уверен, что ее уже нет в доме? А вдруг она прячется где-нибудь здесь?

— Возможно ли? Она легко могла выйти в сад, а ворота, я тебе говорю, были открыты.

— Нет, не могла! В это время в саду был Арбак с жрецом Каленом. Я выходил туда нарвать душистых трав для завтрашней ванны хозяину и видел твои дары на столике. Но ворота были закрыты. Будь спокоен, Кален вошел через сад и затворил за собой ворота.

— Но не запер их!

— Нет, не запер. Но меня рассердила такая небрежность — ведь любой вор мог украсть бронзовые украшения из перистилия, — и я сам запер их, а ключ взял с собой. Попадись мне привратник, я задал бы ему хорошенько. А ключ — вот он, у меня за поясом.

— О милостивый Вахх, не зря я молился тебе! Не будем же терять время. Пойдем поскорей в сад, может, она еще там.

Добродушный Каллий согласился помочь рабу.

Тщетно обыскав соседние комнаты и ниши в перистиле, они вышли в сад.

В это самое время Нидия решила покинуть свое укрытие. Тихо, вся дрожа, сдерживая дыхание, которое судорожно вырывалось из ее груди, то прячась за колоннами, увитыми гирляндами, то выходя из-за них и неслышно ступая по залитому лунным светом мозаичному полу, она прошла уже перистиль, спустилась с террасы в сад, проскользнула меж темными, недвижимыми деревьями и добралась до роковых ворот. Они были заперты! Всем знакомо то выражение боли, отчаяния, страха, которое появляется на лице слепого, когда его, если можно так выразиться, разочаровывает прикосновение. Но какими словами описать невыносимое, душераздирающее горе, которое отразилось теперь на лице Нидии? Снова и снова ее маленькие дрожащие руки ошупывали неумолимые ворота. Бедняжка! Неужели напрасно было твое благородное мужество, твои невинные хитрости, все твои попытки убежать от собаки и охотника? Всего в нескольких шагах от тебя, смеясь над твоими усилиями, над твоим отчаянием, зная, что теперь тебе не уйти, с жестоким терпением ожидают твои преследователи, чтобы схватить добычу, — к твоему счастью, ты не можешь их видеть!

— Тише, Каллий, не тронь ее. Посмотрим, что она будет делать, когда убедится, что ворота заперты крепко.

— Гляди! Подняла лицо к небу, что-то бормочет, опустила на землю. Нет! Клянусь Поллуксом, она задумала какую-нибудь новую хитрость, уж она-то не отступится. О Юпитер, до чего же упряма! Гляди, вскочила, идет назад, ищет лазейки. Советую тебе, Сосий, не мешкай. Хватай, пока она не улизнула из сада. Ну!

— А! Попалась! — воскликнул Сосий, хватая несчастную Нидию.

Крик слепой девушки, когда ее вдруг схватил тюремщик, был подобен последнему, «человечьему» крику зайца в зубах собаки или пронзительному испуганному воплю, который издает лунатик, когда его внезапно разбудят. В нем было столько боли и отчаяния, что всякий, кто услышал бы этот крик, никогда не забыл бы его. Девушке казалось, будто Главк тонет и у него из рук вырвали последнюю соломинку. Решалась его участь — жизнь или смерть; и смерть восторжествовала.

— О боги! Ее крик переполошит весь дом! А ведь Арбак спит так чутко. Заткни ей рот, — сказал Каллий.

— А вот тот самый платок, которым эта ведьма меня обморочила! Давай его сюда... Вот так. Теперь ты не только слепая, но и немая.

И, подхватив легкую, как пушинка, девушку на руки, Сосий быстро прошел через дом в ту комнату, откуда Нидия убежала. Там, вынув у нее изо рта кляп, раб оставил ее в мучительном и ужасном одиночестве, с которым едва ли могли сравниться даже муки Аида.

ГЛАВА XIV

Скорбь веселых друзей о человеческих несчастьях. Темница и ее жертвы

Кончился третий и последний день суда над Главком и Олинфом. Через несколько часов, после того как был вынесен приговор и суд разошелся, несколько молодых людей собрались на пир у Лепида, угощавшего их изысканными яствами и винами.

— Значит, Главк отрицал свою вину до конца? — спросил Клодий.

— Да. Но Арбак привел неопровержимые доказательства: он видел, как был нанесен удар, — отвечал Лепид.

— Да ведь этот жрец был человек угрюмый и злобный. Наверно, он поносил Главка за его веселую жизнь и не дал согласие на его брак с Ионией. Они повздорили. Главк, видно, вспылил и не совладал с собой. Он был пьян, а потом от раскаяния потерял рассудок и несколько дней не мог прийти в себя. Бедняга! Ясное дело, он сам не сознает своего преступления. Так, по крайней мере, считает проницательный Арбак, который был очень снисходителен в своих показаниях.

— Да, это принесло ему популярность. Но Сенат, учитывая смягчающие обстоятельства, не должен был выносить столь суровый приговор.

— Так он и сделал бы, если б не публика, которая неистовствовала. История со жрецом распалила этих жестоких людей, и они вообразили, что Главк благодаря своему богатству и знатности может избежать наказания. Поэтому они были предубеждены против него и требовали смертного приговора. По какой-то случайности Главк не принял в свое время римское гражданство. Сенат бессилен перед гневом толпы. Но тем не менее приговор был принят большинством всего в три голоса. Эй, раб! Налей-ка хиосского!

— А как изменился Главк! Но он по-прежнему тверд и бесстрашен!

— Посмотрим, хватит ли его твердости до завтра. Но велика ли тут заслуга, если этот проклятый безбожник Олинф не уступает ему в мужестве?

— Святотатец! — сказал Лепид с благочестивым гневом. — Неудивительно, что один из декурионов всего два дня назад был поражен громом, хотя на небе ниодной тучки не было. Боги мстят Помпеям за то, что мерзкий осквернитель святыни еще жив.

— Но Сенат проявил снисходительность: достаточно было Олинфу выразить раскаяние и бросить несколько крупинок ладана на алтарь Кибелы, и его отпустили бы с миром. Сомневаюсь, что эти назарейяне на нашем месте были бы так же терпимы к нам, если бы мы низвергли статую их божества, надругались над их обрядами и отрицали их веру.

— Суд учел смягчающие обстоятельства и оставил Главку надежду на спасение: ему разрешено выйти против льва с тем же самым стилем, которым он поразил жреца.

— А ты видел льва? Видел его клыки? Можно ли это назвать надеждой? Даже меч и щит были бы все равно что тростинка и клочок папируса против такого страшного зверя! Нет, я думаю, милосерднее было бы не томить его ожиданием. Его счастье, что по нашим человеколюбивым законам приговор, хоть и может быть вынесен не сразу, исполняться должен немедленно и игры в амфитеатре назначены на завтрашний день. Тот, кто ждет смерти, умирает дважды.

— А что до безбожника, — сказал Клодий, — то его бросят свирепому тигру безоружным. Исход этих схваток ясен. Ну, кто согласится заключить пари?

Все засмеялись — слишком уж нелеп был вопрос.

— Бедный Клодий! — сказал хозяин. — Потерять друга — это не шутка, но, когда никто не хочет ставить на его спасение, — это для тебя худшее несчастье.

— Конечно, это досадно. И ему и мне было бы утешением думать, что он до последнего вздоха приносил пользу друзьям.

— Публика довольна приговором, — сказал Панса серьезно. — Многие боялись, что нам некого будет бросить на растерзание зверям. Зато теперь все могут радоваться — появились сразу два преступника. Людям приходится тяжело работать — надо же как-то развлечься.

— Вот как рассуждает всеми любимым Панса, за которым вечно тянется хвост просителей, длинный, как триумфальная процессия. Всегда он болтает о народе! О боги! Он

кончит тем, что станет Гракхом!

— Да, уж конечно, я не какой-нибудь высокомерный патриций, — сказал Панса снисходительно.

— Ну, — заметил Лепид, — быть милосердным накануне игр опасно. Хотя я и коренной римлянин, но если мне когда-нибудь придется предстать перед судом, молю Юпитера, чтобы или не было зверей в виварии, или же оказалось побольше преступников в тюрьме.

— А скажите на милость, — спросил один из гостей, — что случилось с той несчастной девушкой, на которой Главк должен был жениться? Овдоветь, не успев выйти замуж, — тяжкая доля!

— Ей ничто не грозит, — ответил Клодий. — Она под покровительством своего опекуна Арбака. Вполне понятно, что она переехала к нему, когда потеряла сразу и жениха и брата.

— Клянусь Венерой, Главк пользовался успехом у женщин! Говорят, Юлия, дочь богача, была влюблена в него.

— Это все враки, мой друг, — сказал Клодий самодовольно. — Я видел ее сегодня. Если она и испытывала подобные чувства, то я льщу себя надеждой, что утешил ее.

— Слушайте, друзья! — сказал Панса. — Знаете ли вы, что Клодий хочет возжечь свадебный факел в доме Диомеда? Огонь уже занялся и вскоре ярко засверкает на алтаре Гименея.

— Вот как! — сказал Лепид. — Неужели Клодий женится? Фу!

— Будь спокоен, — отвечал Клодий. — Старому Диомеду лестно выдать дочь за благородного, и он не пожалеет сестерциев. Вы увидите, что я не запру их ватрии. Счастливым будет день для веселых друзей Клодия, когда он женится на богатой наследнице.

— Ну, раз так, — воскликнул Лепид, — выпьем по полной чаше за здоровье прекрасной Юлии!

Пока в богатом триклинии шел этот разговор, молодого афинянина окружала совсем иная обстановка.

После того как был вынесен приговор, ему не позволили больше оставаться в доме доброго Саллюстия, единственного друга, не покинувшего его в несчастье. Его повели под стражей через форум и приказали остановиться у боковой дверки в стене храма Юпитера. Это место можно видеть и сейчас. Дверка открывалась довольно своеобразно: она поворачивалась на стержнях посередине, вроде современного турникета, и открывала только половину проема. Сквозь это узкое отверстие арестованного втолкнули внутрь, оставили ему хлеб и кувшин с водой, после чего покинули его в темноте и, как он думал, в одиночестве. Так внезапно повернулось колесо фортуны, швырнувшей его с высоты наслаждений молодости и счастливой любви в бездну позора и кровавой смерти, что Главку казалось, будто это какой-то кошмарный сон. Его могучий организм справился с действием снадобья, большую часть которого он, к счастью, не успел выпить. Он вновь обрел рассудок, но его душа все еще была тяжело угнетена...

Он громко застонал. Чей-то голос откликнулся из темноты на его стон:

— Кто мой товарищ в этот ужасный час? Не ты ли, афинянин Главк?

— Да, так звали меня в счастливые времена — теперь же, наверно, зовут иначе. А ты кто, незнакомец?

— Я Олинф. Нас вместе судили и бросили в одну темницу.

— А, ты тот, кого называют безбожником? Скажи, это людская несправедливость научила тебя отрицать промысел богов?

— Увы! — отвечал Олинф. — Ты, а не я настоящий безбожник, ибо ты отрицаешь единственного истинного бога, а я знаю своего бога. Он со мной в этот тяжкий час. Его улыбка проникает сквозь тьму. На пороге смерти сердце мое шепчет о бессмертии, и я покину иемлю лишь для того, чтобы моя измученная душа вознеслась к небесам. .

— Скажи мне, — перебил его Главк, — кажется, на суде твое имя упоминали вместе с именем Апекида. Ты веришь, что я виновен?

— Только бог может читать в сердцах! Но я подозреваю не тебя.

— А кого же?

— Твоего обвинителя — Арбака.

— О! Ты ободряешь меня. Но почему же?

— Потому, что я знаю злобную душу этого человека. К тому же у него была причина бояться покойного Апекида.

И Олинф рассказал Главку во всех подробностях то, что читатель уже знает, — как Апекид, приняв крещение, решился разоблачить уловки египетских жрецов и Арбака.

— Поэтому, — заключил Олинф, — если Апекид встретился с Арбаком, назвал его обманщиком, грозил разоблачением, египтянин мог, воспользовавшись поздним часом и пустынностью рощи, в злобе нанести роковой удар.

— Я уверен, что так и было! — воскликнул Главк с радостью. — Какое счастье!

— Бедняга, что толку тебе от этого? Приговор вынесен. Ты обречен и погибнешь, хоть ты и невиновен.

— Зато теперь я твердо уверен в своей невинности, тогда как раньше меня в моем странном безумии иногда посещали сомнения...

ГЛАВА XV

Перемена в судьбе Главка

После того как Нидию снова посадили под замок, время текло для нее мучительно медленно.

Сосий, видимо боясь, как бы девушка снова его не перехитрила, пришел к ней только на другой день, поставил корзинку с едой и вином, поскорей запер дверь и ушел. Проходили часы, Нидия томилась в неволе, в темнице, в тот самый день, когда должны были вынести приговор Главку, а ведь она, если бы убежала, могла избавить его от смерти. И хотя побег казался невозможным, эта девушка, хрупкая, но смелая и сообразительная, зная, что единственная возможность спасти Главка у нее в руках, решила не поддаваться отчаянию и ловить малейшую возможность, какая только представится. Рассудок ее готов был помрачиться от горьких мыслей, но она овладела собой, даже поела и выпила вина, чтобы подкрепить силы и быть наготове.

Она перебрала множество планов побега и вынуждена была отказаться от всех. Сосий по-прежнему оставался единственной ее надеждой, единственным орудием, которое она могла использовать. Она знала, что он суеверен и жаждет узнать, удастся ли ему когда-нибудь выкупиться на волю. О благословенные боги! А нельзя ли его подкупить, пообещав ему свободу? Разве она недостаточно богата для этого? На ее тонких руках были браслеты, подарки Ионы, а на шее висела золотая цепь, подаренная Главком, которую она поклялась носить всегда. Она с нетерпением дожидалась Сосия. Но время шло, а его все не было, и она страдала, терзаемая нетерпением. Бедняжка дрожала; она не могла больше выносить одиночества, она стонала, кричала, билась о дверь. Ее крики отдавались эхом в атриум, и Сосий, сердито ворча, пошел посмотреть, в чем дело.

— Эй! Эй! Что такое? — спросил он грубо. — Перестань орать, девчонка, не то придется снова заткнуть тебе рот. Если хозяин тебя услышит, моей спине не поздоровится.

— Добрый Сосий, не брани меня, я не могу так долго быть одна, — отвечала Нидия. — Мне страшно. Посиди со мной немного. Не бойся, я не убегу; ты сядешь у самой двери и не

будешь спускать с меня глаз, а я не двинусь с места.

Сосий, который сам любил поболтать, согласился исполнить ее просьбу. Он пожалел девушку, которой не с кем поговорить — ему ведь и самому было скучно, — пожалел и заодно решил сам развлечься. Послушавшись Нидии, он поставил скамеечку у порога, прислонился к двери спиной и сказал:

— Я вовсе не хочу быть жестоким и не прочь поболтать с тобой. Но помни, больше никаких хитростей, никаких уловок!

— Нет, нет. Скажи мне, добрый Сосий, который час?

— Уже вечер — стадо коз возвращается домой.

— О боги! Чем кончился суд?

— Оба приговорены к смерти.

Нидия подавила крик.

— Ах, я так и думала! Когда же их казнят?

— Завтра на арене. Если б не ты, несчастная, мне тоже позволили бы пойти посмотреть.

Нидия прислонилась к стене. Она не выдержала — ей стало дурно. Но Сосий не заметил этого, потому что уже смеркалось и к тому же он был поглощен собственными заботами. Он продолжал жаловаться, что лишился такого интересного зрелища, и сетовал на несправедливость. Арбака, который из всех рабов выбрал в тюремщики именно его; но, прежде чем он высказал половину своих жалоб, Нидия с глубоким вздохом пришла в себя.

— Ты вздыхаешь, тебе жаль меня! Что ж, это все-таки утешение. Раз ты понимаешь, сколько из-за тебя неприятностей, я постараюсь не ворчать. Тяжело, когда с тобой плохо обращаются и никто тебя не жалеет.

— Сосий, сколько тебе нужно, чтобы выкупиться на свободу?

— Сколько? Ну, скажем, тысячи две сестерциев.

— Благодарение богам! Не больше? Видишь эти браслеты и цепь? Они стоят вдвое дороже. Я отдам их тебе, если ты...

— Не искушай меня. Я не могу тебя отпустить. Арбак жесток и беспощаден. Он бросит меня в Сарн на съедение рыбам. Увы! Тогда все сестерции в мире не оживят меня. Лучше уж я буду жить, как пес, чем умру, как лев.

— Сосий, подумай, ты будешь свободен. Подумай хорошенько... Отпусти меня только на один час! Я уйду в полночь и вернусь еще до рассвета. Ты можешь даже пойти со мной.

— Нет, — сказал Сосий твердо. — Один раб ослушался Арбака и исчез без следа.

— Но по закону хозяин не властен над жизнью раба.

— Закон этот хорош, да толку от него мало. Уж я-то знаю, законы всегда на стороне Арбака. И, кроме того, когда меня убьют, какой закон сможет вернуть мне жизнь?

Нидия ломала руки.

— Значит, нет никакой надежды? — сказала она в отчаянии.

— Никакой, куда сам Арбак тебя не отпустит.

— Если так, — сказала Нидия быстро, — может быть, ты, по крайней мере, снесешь мое письмо. За это хозяин тебя не убьет.

— А кому?

— Претору.

— Претору? Ни за что! Я знаю, меня тогда заставят давать показания на суде. А рабов допрашивают под пыткой.

— Прости, я не то хотела сказать, слово «претор» вырвалось у меня случайно, я имела в виду совсем другого — веселого Саллюстия.

— А! Зачем он тебе понадобился?

— Главк был моим господином; он купил меня у жестокого хозяина. Он единственный был добр ко мне. А теперь он должен умереть. Я никогда не буду счастлива, если не смогу в этот час испытания подать Главку весть, что хоть одно сердце ему благодарно. Саллюстий его друг. Он передаст мое письмо.

— Я уверен, что он этого не сделает. Главку есть о чем подумать до завтра, и ты, слепая

девушка, напрасно хочешь его побеспокоить.

— Послушай, — сказала Нидия, вставая, — хочешь ты стать свободным? Это зависит от тебя. Завтра будет уже поздно. Никогда свобода не покупалась такой дешевой ценой. Тебе ничего не стоит уйти из дома незаметно. Меньше чем за полчаса ты успеешь вернуться. И ты не хочешь сделать такой пустяк, чтобы получить свободу?

Сосий был взволнован. Правда, просьба показалась ему на редкость глупой, но ему-то что за дело? Тем лучше. Можно крепко запереть Нидию, а если Арбак и узнает о его отсутствии, то это не такой уж страшный проступок, он отделается выговором. Если же Нидия напишет в своем письме больше, чем она говорит, если напишет, что она под замком — о чем хитрый Сосий сразу догадался, — не страшно! Арбак не узнает, что письмо отнес Сосий. Словом, награда была огромна, риск невелик, соблазн неодолим. Сосий больше не колебался.

— Давай сюда свои побрякушки, я снесу письмо... Или нет, погоди — ты ведь рабыня, и эти украшения принадлежат не тебе, а твоему хозяину.

— Главк подарил их мне, а он мой хозяин. Да и как может он теперь их потребовать? Кто еще знает, что они у меня?

— Ну ладно, сейчас я принесу тебе папирус.

— Нет, не папирус, а табличку и стиль.

Нидия, как читатель вскоре увидит, была дочерью благородных родителей. Они делали все, чтобы облегчить ее несчастье, а ее острый ум быстро схватывал знания. Поэтому, несмотря на свою слепоту, она еще ребенком, хоть и не в совершенстве, выучилась ошупью писать острым стилем на навощенной табличке. Когда Сосий принес ей табличку, она нацарапала несколько строк по-гречески, на языке своего детства, который знал почти каждый италиец из высшего сословия. Потом она тщательно перевязала письмо ниткой и запечатала воском. Прежде чем отдать его Сосию, она сказала ему:

— Сосий, я слепа и сижу взаперти. Быть может, тебе вздумается обмануть меня, не выполнить поручения, а лишь сделать вид, будто ты отнес письмо. Но тогда я торжественно обрекаю твою голову Немесиде, твою душу — адским силам. Дай мне правую руку и повторяй за мной: «Клянусь землей, по которой хожу, стихиями, которые властны над жизнью и смертью, клянусь Орком-мстителем и всевидящим Юпитером Олимпийским, что я честно выполню свое обещание и передам это письмо в собственные руки Саллюстия! А если я нарушу клятву, пускай все проклятия неба и ада падут на меня!» Довольно. Я верю тебе — вот твоя награда. Уже темно, не теряй же времени.

— Ты странная девушка и здорово напугала меня. Но я тебя понимаю. И если только я сумею найти Саллюстия, то отдам ему письмо, как поклялся. За мной, конечно, водятся небольшие грешки, но нарушить клятву — ни за что! Это пускай благородные делают.

Сосий ушел, тщательно задвинув тяжелый засов на двери и замкнув его на замок. Он повесил ключ на пояс, сходил в свою каморку, закутался с головы до ног в широкий плащ и незаметно выскользнул через заднюю дверь.

Улицы были пустынные. Вскоре он добрался до дома Саллюстия. Привратник велел ему оставить письмо и уйти, потому что Саллюстий оплакивает Главка и его ни под каким видом нельзя беспокоить.

— Но я поклялся передать ему письмо в собственные руки и сделаю это!

И Сосий, по опыту зная, что всякий Цербер любит, чтобы его задобрили, сунул привратнику несколько монет.

— Ну ладно, — сказал тот, смягчившись. — Входи, если хочешь. Но, сказать тебе правду, Саллюстий решил потопить горе в вине. Он всегда так делает, когда случается какая-нибудь неприятность: велит подать роскошный ужин с лучшим вином и пирует, пока в голове у него, кроме винных паров, ничего не останется.

— Замечательный способ! Эх, хорошо быть богачом! На месте Саллюстия у меня бы каждый день бывали какие-нибудь неприятности. Но замолви за меня словечко домоправителю, вон он идет.

Саллюстий был слишком опечален, чтобы принимать гостей, но и пить в одиночестве ему было грустно. Поэтому он, по своему обыкновению, позвал любимого вольноотпущенника, и странный пир начался. Добрый эпикуреец то и дело вздыхал, стонал, плакал, а потом с удвоенным рвением брался за новое блюдо или полную чашу.

— Мой друг, — сказал он вольноотпущеннику, — это ужасный приговор... ох!.. неплохой козленок! Бедный мой Главк, какие ужасные клыки у этого льва! Ой, ой, ой!

Саллюстий зарыдал, после чего на него напала икота.

— Выпей вина, — сказал вольноотпущенник.

— Оно холодновато. Но как сейчас должно быть холодно Главку! Запри завтра утром все двери, пусть ни одного из моих рабов не будет в этом проклятом амфитеатре. Ни в коем случае!

— Отведай фалернского — ты так расстроен. Клянусь богами, ты слишком печалишься! Закуси-ка булочкой.

В этот благоприятный миг Сосия допустили к безутешному эпикурейцу.

— Эй! Ты кто такой?

— Я посланный к Саллюстию. Мне нужно передать ему это письмо от молодой женщины. Ответа она не велела дожидаться. Можно мне уйти?

Так сказал благоразумный Сосий, изменив голос и прикрывая лицо плащом, чтобы его не узнали.

— Клянусь богами, это сводник! Бесчувственный негодяй! Разве ты не видишь, в каком я горе? Убирайся! И да исполнится над тобой проклятие, павшее на Пандарея.

Сосий поспешил уйти.

— Ты прочтешь письмо, Саллюстий? — спросил вольноотпущенник.

— Письмо? Какое письмо? — сказал эпикуреец. В глазах у него уже двоилось. — Разве я такой человек, чтобы думать... их!.. об удовольствиях, когда моего друга должен растерзать лев?

— Съешь еще пирожок.

— Нет, нет! Я убит горем.

— Уложите его спать, — сказал вольноотпущенник.

У Саллюстия голова уже склонилась на грудь. Его отнесли в спальню, а он жалел несчастного Главка и проклинал Сосия.

Сосий тем временем шагал домой, охваченный возмущением.

— Сводник, скажите на милость! — бормотал он. — Что за мерзкий язык у этого Саллюстия! Если б он еще назвал меня плутом или вором, я простил бы его, а то — сводник! Тьфу! От такого слова кого хочешь стошнит. Плут плутует ради своего удовольствия, вор ворует ради поживы. Есть даже что-то почтенное и мудрое в дурных поступках, которые совершаешь ради самого себя: чувствуется широта души, размах. Иное дело сводник — он как горшок, который ставят на огонь, чтобы сварить похлебку для другого, как салфетка, о которую вытирают руки гости и даже последний поваренок. Лучше б он назвал меня отцеубийцей! Но он был пьян и не соображал, что говорит. К тому же я прикрывался плащом. Если б он видел, кто с ним разговаривает, он, без сомнения, назвал бы меня «честным Сосием» и «достойным человеком». Ну, как бы там ни было, утешение у меня есть — я без всякого труда заработал эти безделушки. О богиня Ферония, я скоро буду свободен! И тогда поглядим, позволю ли я кому-нибудь назвать меня сводником... Разве только за большие деньги.

Возмущенно бормоча, он шел по узкой улице в сторону амфитеатра и примыкавших к нему дворцов. Свернув за угол, он вдруг очутился в большой толпе. Мужчины, женщины и дети, смеясь, болтая, оживленно размахивая руками, куда-то спешили; и, прежде чем достойный Сосий успел опомниться, его уже захватил этот шумный поток.

— В чем дело? — спросил он у соседа, молодого ремесленника. — Куда бегут эти люди? Может быть, какой-нибудь богач устроил раздачу денег или мяса?

— Нет, нас ждет кое-что получше, — отвечал ремесленник. — Благородный Панса,

друг народа, разрешил всем посмотреть на зверей в виварии. Клянусь Геркулесом, завтра от них кое-кому не поздоровится!

— Это интересно! — сказал раб, не противясь толпе, которая увлекала его вперед. — Завтра я, наверно, не смогу пойти на игры, так погляжу хоть на зверей.

— И хорошо сделаешь, — сказал его новый знакомый, — в Помпеях не каждый день можно увидеть льва и тигра...

Наконец они добрались до места. Но виварий был очень маленький и тесный, толпа стала напирать сильнее. Два стража, стоявшие у входа, поступали очень разумно, раздавая за один раз лишь небольшое число билетов и не впуская новых зрителей, пока предыдущие не удовлетворят своего любопытства. Сосий, который был довольно силен и не отличался робостью и чрезмерной вежливостью, протолкался вперед.

Толпа разлучила его с новым знакомым, и вскоре он очутился в узком помещении, где стояла удушающая жара; здесь ярко пылало несколько факелов.

Зверей, которых обычно держали в различных вивариях, теперь, чтобы потешить публику, поместили в один, отделив их друг от друга крепкими железными решетками.

Они сидели в клетках, эти свирепые бродяги пустынь, которым теперь предстоит стать чуть ли не главными героями нашей книги. Льва, у которого был менее лютый нрав, чем у тигра, дольше не кормили, чтобы разъярить его, и он беспокойно метался по тесной клетке; глаза его сверкали злобным и голодным блеском; когда же он время от времени останавливался и озирался вокруг, зрители в страхе пятились и дрожали. Тигр лежал, растянувшись во всю длину, и только изредка бил хвостом или долго, нетерпеливо зевал — больше он никак не выражал свое отношение к неволе и к восхищенным зрителям.

— Никогда еще не видел такого свирепого зверя даже в римском амфитеатре! — сказал мускулистый гигант, стоявший справа от Сосия.

— Я чувствую себя букашкой, когда гляжу на его лапы, — отозвался слева человек поменьше ростом и помоложе, который стоял, скрестив руки на груди.

Раб посмотрел сперва на одного, потом на другого.

— Золотая середина лучше всего, — пробормотал юн про себя. — Хорошие у тебя соседи, Сосий: с каждой стороны по гладиатору.

— Отлично сказано, Лидон! — заметил гигант. — Я чувствую то же.

— И подумать только, — продолжал Лидон с волнением, — что благородный грек, которого мы видели всего несколько дней назад молодым, здоровым и веселым, будет брошен на растерзание этим чудовищам!

— А отчего бы и нет? — свирепо проворчал Нигер. — Император принуждал к таким поединкам многих честных гладиаторов, так почему бы закону не принудить богатого преступника?

Лидон вздохнул, пожал плечами и промолчал. Зрители слушали их разговор разинув рот: гладиаторы интересовали всех не меньше, чем хищники, для них это были звери той же породы, и толпа, перешептываясь, смотрела то на тех, то на других и с нетерпением ждала завтрашнего дня.

— Что ж, — сказал Лидон, отворачиваясь, — благодарю богов, что мне придется сражаться не со львом и не с тигром; даже ты, Нигер, не такой свирепый противник, как они.

— Но не менее опасный, — сказал гладиатор со зловещим смехом.

И зрители, восхищаясь его сильными руками и свирепым лицом, тоже засмеялись.

— Возможно, — сказал Лидон небрежно и, расталкивая толпу, пошел к двери.

«Пойду-ка и я за ним, тогда мне меньше бока намнут, — подумал благоразумный Сосий, торопясь вслед за Лидоном. — Толпа всегда расступается перед и Радиатором, заодно и мне будет свободнее».

Сын старика Медона быстро шел сквозь толпу, и которой многие узнавали его.

— Это храбрец Лидон, завтра он выступит на арене, — сказал один.

— Я поставил на него, — сказал другой. — Смотрите, как уверенно он идет!

— Успеха тебе, Лидон! — напутствовал его третий.

— Лидон, сердце мое с тобой, — прошептала хорошенькая женщина из среднего сословия. — Если ты победишь, то мы еще встретимся.

— Красавец, клянусь Венерой! — воскликнула девочка лет тринадцати.

— Благодарю вас, — отвечал Сосий, всерьез приняв это на свой счет.

Хотя у Лидона были самые чистые помыслы и он никогда не занялся бы этим кровавым ремеслом, если б не надежда выкупить отца на свободу, его все же не оставили равнодушным эти замечания. Он не думал о том, что те же голоса, которые сейчас его расхваливают, завтра, возможно, будут приветствовать его предсмертные муки. Он был великодушен и добр, но вместе с тем горяч и безрассуден, воображал, будто презирает свою профессию и начал гордиться ею. Теперь он видел, что сделался знаменитостью; его шаги стали еще легче, лицо оживилось.

— Нигер, — сказал он, выбравшись из толпы, и резко повернулся, — мы часто ссорились; нам не придется сражаться друг против друга, но вполне возможно, что один из нас завтра умрет. Дай же мне руку.

— С превеликим удовольствием, — сказал Сосий, протягивая руку.

— А! Это что за дурак? Я думал, здесь Нигер!

— Прощаю тебе твою ошибку, — сказал Сосий снисходительно. — Ничего. Ошибиться нетрудно — мы с Нигером почти одинакового сложения.

— Ха-ха! Вот здорово! Да Нигер придушил бы тебя, если б это услышал!

— У вас, гладиаторов, очень неприятная привычка разговаривать, — сказал Сосий. — Поговорим лучше о чем-нибудь другом.

— Ступай прочь, — сказал Лидон с нетерпением. — Мне не до тебя!

— Еще бы, — согласился раб. — Тебе есть о чем подумать: завтра ты в первый раз выйдешь на арену. Я уверен, что ты умрешь храбро!

— Да падут твои слова на твою же голову! — сказал суеверный Лидон, потому что ему вовсе не по душе пришлось напутствие Сосия. — Умру! Нет, я верю, что мой час еще не пробил.

— Кто играет со смертью, должен быть готов к проигрышу, — сказал Сосий зловеще. — Но ты крепкий малый, и я желаю тебе удачи. Прощай!

С этими словами раб повернулся и пошел домой.

— Надеюсь, он не накарал беду, — сказал Лидон задумчиво. — Я мечтаю освободить отца и полагаюсь на свою силу, а о смерти вовсе и не думаю. Бедныймой отец! Я у него единственный сын. И если я умру...

Гладиатор прибавил шагу, как вдруг на другой стороне улицы он увидел того, кто занимал его мысли. Опираясь на палку, согнутый заботами и годами, понутив голову, седовласый Медон неверными шагами медленно приближался к гладиатору. Лидон на миг остановился: он сразу понял, что привело сюда старика в столь поздний час.

«Он, конечно, ищет меня, — подумал гладиатор. — Приговор, который вынесли Олинфу, привел его в ужас, он больше прежнего возненавидел арену и хочет убедить меня отказаться от поединка. Мне нельзя с ним сейчас видеться — как вынесу я его мольбы и слезы!»

Все эти мысли, которые мы здесь излагаем так пространно, промелькнули в голове Лидона как молния. Он резко повернулся и быстро пошел назад. Он не останавливался до тех пор, пока, запыхавшись, не поднялся на невысокий холм, откуда был виден самый веселый и блестящий квартал города. Он окинул взглядом притихшие улицы, сверкавшие в свете луны, которая только что взошла и живописно освещала шумную толпу у амфитеатра, и это зрелище поразило его, хотя по природе он был груб и не впечатлителен. Он присел отдохнуть на ступени пустынного портика и почувствовал, что тишина успокаивает его и вливает в него новые силы. Перед ним сиял огнями дворец, где хозяин давал пир. Двери были открыты ради прохлады, и гладиатор видел множество гостей за столами в атриии; в глубине, перед длинной анфиладой ярко освещенных комнат, искрились в лунном свете струи фонтана. Колонны были украшены гирляндами, всюду сверкали передвижные

мраморные статуи, и вдруг среди взрывов веселого смеха зазвучала песня:

Довольно сказок про Аид!
Нам лгут жрецы для устрашенья,
Забыв про совесть и про стыд.
И нет нам, бедным, утешенья!

Но Зевсу тоже свет не мил.
Нелегко, братцы, божий жребий:
Зевс про дела свои забыл,
Разглядывая смертных с неба.

Нас Эпикур великий спас.
Был предречен конец нам лютой:
Замуровать хотели нас
В Аид, а он разрезал путы.

И, если есть на свете Зевс,
Сердиться он на нас не будет:
Ведь мы и сами боги здесь,
Под небом, хоть душою — люди.

Мы пьем вино, веселый пляс
Нам греет души, будит ноги...
Богам небесным не до нас,
А на земле мы сами — боги.

Когда Лидон (который, хоть и был не слишком благочестив, но все же испугался, услышав эту песню, воплощавшую модную философию того времени) оправился от испуга, мимо прошла кучка людей, судя по их простой одежде — из среднего сословия. Они о чем-то разговаривали и, видимо, не заметили гладиатора.

— Какой ужас! — сказал один. — Олинфа отняли у нас! Мы лишились своей правой руки. Когда же Христос сойдет на землю, чтобы защитить нас?

— Неслыханное злодейство! — сказал другой. — Приговорить невинного к той же казни, что и убийцу! Но не будем отчаиваться. Гром с Синая еще прогремит, и бог спасет Олинфа...

Лидон посидел немного и встал, чтобы идти домой.

Как безмятежно спал в звездном свете чудесный город! Как тихи были его украшенные колоннадами улицы! Как мягко пробегали темно-зеленые волны по купам дальних роц! Каким высоким, безоблачным и синим было спящее небо Кампании! И все же это была последняя ночь веселых Помпеи, колонии древних халдеев, легендарного города Геракла, излюбленного приюта веселых римлян.⁸¹ Век проходил за веком, не задевая, не разрушая его, а теперь последний луч трепетал на циферблате его судьбы! Гладиатор услышал позади себя чьи-то легкие шаги — несколько женщин возвращались от амфитеатра домой. Обернувшись, он увидел странный призрак. Над вершиной Везувия, едва видимой вдали, струился бледный, призрачный, мертвенный свет — мгновение он мерцал на небе, потом

⁸¹ По одной из легенд, Помпеи были основаны Гераклом, который здесь праздновал свои многочисленные победы.

исчез. И в тот же миг весело и пронзительно зазвучал голос молодой женщины:

— Эй, эй! Веселья сладок зов!

КНИГА ПЯТАЯ

ГЛАВА I

Сон Арбака. Неожиданная гостья предостерегает его

Грозная ночь накануне кровавых игр на арене амфитеатра миновала, и за- брезжил серый рассвет последнего дня Помпеи. Воздух был недвижим, стояла духота, редкий и хмурый туман стлался по низинам широких полей Кампании. Но рыбаки, рано вышедшие на лов, с удивлением увидели, что, несмотря на полное безветрие, море волнуется и словно в тревоге убегает от берегов, а голубой и спокойный Сарн, широкое древнее русло которого напрасно стал бы теперь искать путешественник, мрачно ропщет, струясь мимо улыбающихся полей и красивых богатых вилл. Над низко стлавшимся туманом поднимались старинные, источенные временем башни древнего города, красные черепичные кровли домов, колонны бесчисленных, храмов, увенчанные статуями порталы форума и триумфальные арки. А вдали, над клубами тумана, высились вершины гор, окружавших долину, растворяясь в изменчивых красках утреннего неба. Туча, так долго стоявшая над Везувием, вдруг исчезла, и его гордое, величественное чело смотрело не хмурясь на прекрасный пейзаж.

Несмотря на ранний час, городские ворота были уже открыты. Всадник за всадником, экипаж за экипажем быстро въезжали в город, и голоса бесчисленных празднично одетых пешеходов звучали громко и радостно. На улицах было полно горожан и людей, прибывших из соседних селений; шумно, быстро, беспорядочно устремлялись бесчисленные живые потоки к месту рокового зрелища.

Несмотря на огромные размеры амфитеатра, где могло поместиться чуть ли не все население города, стечение народа со всех концов Кампании бывало по торжественным случаям так велико, что уже за несколько часов до начала игр у амфитеатра огромной толпой собирались люди, которым по их положению не отводили заранее мест. А жгучее любопытство, которое вызвал суд и смертный приговор двоим преступникам, собрало в тот день неслыханную толпу.

Пока простолюдины с живостью, присущей южанам, проталкивались, протискивались, рвались вперед, при всем своем нетерпении соблюдая, как и нынешние итальянцы в подобных случаях, удивительный порядок, странная гостья пробиралась к уединенному дому Арбака. Видя ее диковинную одежду, нелепую походку и резкие движения, встречные подталкивали друг друга и улыбались; но, взглянув ей в лицо, они сразу теряли охоту веселиться, потому что оно было как мертвое. При виде ее мертвенного лица и ветхих одежд казалось, что покойник, давным-давно погребенный, встал из могилы. Молча, с опаской люди сторонились ее, а она все шла и вскоре добралась до двери египтянина.

Чернокожий привратник, который, как и весь город, уже встал в этот неурочный час, вздрогнул, открывая ей двери.

Египтянин спал в эту ночь удивительно крепко, но под утро его начали мучить страшные и беспокойные сны. Он проснулся в холодном поту, огляделся и увидел, что сквозь узкое, но высокое окно уже пробивается свет. Близилось утро. Он ободрился, с улыбкой отвел глаза от окна и вдруг увидел перед собой ужасное лицо, мертвые глаза и безжизненные губы ведьмы с Везувия.

— А! — вскрикнул он, закрывая лицо руками, чтобы не видеть этого омерзительного зрелища. — Неужели я еще сплю?

— Нет, могучий Гермес! Разве ты не узнаешь своего друга и верную рабу?

Наступило долгое молчание.

— Ну, говори. Зачем ты явилась?

— Предупредить тебя, — отвечал замогильный голос колдуньи.

— Предупредить! О чем?

— Слушай. Несчастье нависло над этим обреченным городом. Беги отсюда, пока не поздно. Ты знаешь, я живу на горе, под которой, как гласит старое предание, еще течет огненная река Флегетон. В моей пещере есть большая трещина, и в последнее время я часто видела, как из глубины медленно ползет вверх тусклый красный поток, слышала грохот и шипение. А сегодня ночью я снова заглянула в трещину и увидела, что поток уже не тусклый, он слепит глаза. Пока я смотрела, моя лисица, которая жалась ко мне, громко завывала, упала на землю и издохла, и вся морда у нее была в пене. Я поспешила назад в пещеру. Но всю ночь я слышала, как дрожали скалы, и, хотя воздух был неподвижен, под землей, словно несмазанные колеса, свистели и скрежетали запертые ветры, стремясь вырваться на волю. А когда на заре я снова заглянула в трещину, то увидела, что сверкающий поток несет черные камни и сам он стал шире, бурливее, краснее, чем накануне. Тогда я поднялась на вершину. Там появилась огромная дыра, которой раньше не было, и оттуда клубился дым, такой едкий, что я чуть не задохнулась. Я поскорей вернулась в пещеру, взяла золото и снадобья, а потом покинула свое жилище, где прожила столько лет, потому что вспомнила древнее этрусское пророчество: «Когда гора разверзнется, город погибнет, когда дым оденет опаленную вершину, будет горе и плач в домах детей моря». Всесильный учитель, прежде чем уйти отсюда, я пришла к тебе. Чует мое сердце, что землетрясение, которое шестнадцать лет назад разрушило этот город до основания, было лишь предвестием бедствия еще более ужасного. Эти стены возведены над царством мертвых, над реками недремлющего ада. Ты предупрежден — спасайся!

— Благодарю тебя, колдунья, я не останусь в долгу. Вон на том столе стоит золотая чаша, возьми ее. Не думал я, что кто-нибудь пожелает спасти Арбака, разве что один из жрецов Исиды. Эти знамения, которые ты видела в глубине потухшего вулкана, — продолжал он задумчиво, — наверняка предвещают какую-то опасность, грозящую городу; возможно, будет еще одно землетрясение, гораздо сильнее прежнего. Как бы то ни было, мне нужно поскорей уехать отсюда. Завтра все будет готово к отъезду. А ты, дочь Этрурии, куда держишь путь?

— Я сегодня же отправлюсь в Геркуланум, а оттуда — дальше по берегу моря искать себе новое жилище. У меня нет никого на свете; оба мои друга, лисица и змея, издохли. Великий Гермес, ты обещал мне еще двадцать лет жизни.

— Да, обещал, — сказал египтянин. — Но объясни, колдунья, — спросил он, приподнимаясь на локте и с любопытством разглядывая ее лицо, — для чего тебе жить? Какое удовольствие находишь ты в жизни?

— Не жизнь сладка, а смерть страшна, — отвечала ведьма резким голосом.

И сердце тщеславного звездочета сжалось. Он вздрогнул, потому что эти слова попали точно в цель, и, желая отделаться от неприятной гостьи, сказал:

— Время не ждет. Мне нужно подготовиться к сегодняшним зрелищам. Прощай, сестра! Наслаждайся как можешь над пеплом жизни.

Ведьма, спрятав под одеждой драгоценный подарок, встала, чтобы уйти. В дверях она обернулась и сказала:

— Быть может, мы в последний раз видимся на земле. Но куда девается пламя, оставив после себя пепел? Как болотный туман, оно блуждает и дрожит над топями преисподней. Ведьма и чародей, ученица и учитель, презренная и великий могут встретиться там снова. Прощай!

— Убирайся, старая ворона! — пробормотал Арбак, когда дверь за ведьмой затворилась, и, озабоченный, поспешил позвать рабов.

Отправляясь в амфитеатр, принято было надевать праздничные одежды, и Арбак в этот день наряжался особенно тщательно. Туника его сияла белизной; многочисленные застежки

сверкали драгоценностями; поверх туники он надел восточный наряд — нечто среднее между халатом и плащом из лучшего тирского пурпура; сандалии, ремни которых оплетали ноги до колен, были усеяны драгоценными камнями и отделаны золотом. Обманывая людей в храме, Арбак всегда старался по торжественным случаям ослепить и восхитить толпу своей внешностью, а в этот день, когда, погубив Главка, он навсегда должен был освободиться от соперника и страха перед разоблачением, он одевался словно для триумфа или свадебного пира.

Обычно знатных людей сопровождали к амфитеатру их рабы и вольноотпущенники. Многочисленные «домочадцы» Арбака уже выстроились, чтобы следовать за носилками своего господина.

Только рабыни, прислуживавшие Ионе, и достойный Сосий, тюремщик Нидии, к великому своему огорчению, вынуждены были остаться дома.

— Каллий, — сказал Арбак вольноотпущеннику, который застегивал на нем пояс, — мне надоел этот город. Я хочу отплыть через три дня, если будет попутный ветер. Ты знаешь судно, принадлежавшее Нарсу из Александрии? Оно стоит в гавани. Я купил его. Послезавтра начнем переносить туда вещи.

— Так скоро! Хорошо, будет сделано. Слово Арбака — закон. А как же его подопечная, Иона?

— Она поедет со мной. Ну, все готово! Как погода?

— Душно и облачно. Наверно, к полудню будет сильная жара.

— Бедные гладиаторы! А преступникам придется еще хуже. Ступай вниз и вели рабам выходить.

Оставшись один, Арбак прошел в свой кабинет, а оттуда через портик на улицу. Он увидел, как густые толпы людей спешат к амфитеатру, услышал крики и шум — это растягивали на канатах огромный тент, чтобы зрители могли нежиться в благодатной тени, глядя на страдания своих собратьев. Вдруг раздался какой-то короткий, страшный, непривычный звук — это был львиный рык. Толпа притихла. Но вскоре зазвучал веселый смех — всех радовало голодное нетерпение царя зверей.

— Скоты! — пробормотал Арбак с презрением. — Разве вы не такие же убийцы, как я? Я убил, защищаясь, а вы делаете из убийства зрелище.

И он с беспокойством поглядел в сторону Везувия. Виноградники на его склоне ярко зеленели, могучая гора, спокойная, как вечность, вырисовывалась на безмятежном небе.

«У меня есть еще время, прежде чем начнется землетрясение», — подумал Арбак и отвернулся. Проходя мимо стола, на котором лежали таинственные папирусы и халдейские гороскопы, он подумал: «Высокое искусство? Я ни разу не прибежал к тебе с тех пор, как сбылось пророчество и миновала опасность. К чему? Я и так знаю, что отныне мой путь ясен и чист. Разве это уже не подтвердилось? Прочь сомнения, прочь, жалость! В моем сердце останутся только два стремления — власть и Иона!»

ГЛАВА II

Амфитеатр

Нидия, которую Сосий заверил, что ее письмо в руках Саллюстия, была полна надежд. Саллюстий, конечно, не станет мешкать и поспешит к претору, они придут в дом египтянина, освободят ее, взломают дверь темницы Калена. Сегодня же ночью Главк будет свободен.

Но, увы, ночь прошла, наступил рассвет, а она не слышала ничего, кроме торопливых шагов и голосов в атриии и перистиле, — это рабы готовились к празднику. Потом до нее донесся повелительный голос Арбака, заиграла веселая музыка, и длинная процессия потянулась к амфитеатру, чтобы посмотреть на смертные муки афинянина.

Процессия с Арбаком во главе двигалась медленно и торжественно. Египтянин, прибыв на то место, где все выходили из носилок и экипажей, прошел ко входу для самых знатных

зрителей. Рабы его смешались с толпой, и служитель, отобрав у них билеты, совсем как в нашем современном оперном театре, пропустил их на места, отведенные для простолудинов. Арбак сел и оглядел нетерпеливую толпу, заполнявшую громадный амфитеатр.

В верхнем ярусе, отдельно от мужчин, сидели женщины в ярких одеждах, и ярус этот был похож на пеструю клумбу; незачем и говорить, что они были самой болтливой частью зрителей; на них было направлено много взглядов, особенно со скамей, где сидели молодые холостяки. На нижних скамьях разместились богатые и благородные, городские власти, сенаторы и всадники. Крепкая загородка по краям проходов, которые вели на арену, не позволяла зверям вырваться на волю, и они попадали прямо на овальную, посыпанную песком площадку, где их ждала жертва. Окружавшая арену стенка, от которой полого поднимались скамьи, была украшена фресками с изображением зрелищ, для которых и было предназначено это место. По всему амфитеатру были проложены невидимые трубы, из которых в самую жаркую пору дня били прохладные и ароматные струйки, окропляя зрителей. Служители все еще натягивали огромный тент, или веларий, покрывавший весь амфитеатр. Это удобное изобретение жители Кампании приписывали себе. Веларий был соткан из белоснежной апулийской шерсти и украшен широкими алыми полосами. То ли по неопытности служителей, то ли по неисправности подъемных приспособлений, веларий в тот день не удалось натянуть как следует. Это всегда давалось нелегко и требовало большого искусства — тент был так велик, что его редко отваживались натягивать в ветреную погоду. Но день был необычайно тихий, служители ничем не могли оправдать свою неловкость; и когда над амфитеатром осталось большое отверстие, потому что края полотнища никак не смыкались, раздался недовольный ропот.

Эдил Панса, устраивавший эти зрелища за свой счет, больше всех был раздосадован неудачей и клялся жестоко наказать старшего служителя, который волновался, пыхтел, потел, тщетно отдавая распоряжения и рассыпая угрозы.

Вдруг гул смолк, служители прекратили работу, и тент был забыт, потому что на арену под громкие и воинственные звуки труб вышли гладиаторы. Они шли по овальной арене медленно и неторопливо, чтобы зрители могли полюбоваться их спокойствием, их мускулами и оружием, а также договориться в этот волнующий миг о последних ставках.

— Ах! — воскликнула вдова Фульвия, обращаясь к жене Пансы, и обе они наклонились вперед. — Видишь вон того высокого гладиатора? Как смешно он одет!

— Да, — отозвалась жена эдила самодовольно, потому что знала имена и достоинства всех участников игр. — Это ретиарий. Как видишь, он вооружен трезубцем и сетью, на нем нет никаких доспехов, только туника и повязка на голове. Он очень силен и будет сражаться со Спором, вон тем огромным гладиатором с круглым щитом и мечом, но без панциря. На нем сейчас нет шлема, чтобы все могли видеть, какое бесстрашное у него лицо, но сражаться он будет с опущенным забралом.

— Да ведь сетка и трезубец — плохое оружие против щита и меча.

— До чего ж ты наивна, моя дорогая Фульвия! Как раз ретиарий обычно бывает в выгодном положении.

— А кто тот красивый гладиатор, почти голый, просто до неприличия? Но, клянусь Венерой, сложен он великолепно!

— Это молодой Лидон, новичок на арене. Он имел дерзость принять вызов вон того гладиатора, одетого или, вернее, раздетого так же, как он, — Тетраида. Сначала они будут биться, по греческому обычаю, на цестах, а потом наденут доспехи и возьмут мечи и щиты.

— Он настоящий мужчина, этот Лидон! Все женщины, конечно, уверены в его победе.

— Зато опытные люди думают иначе: Клодий ставит на его противника три к одному.

— О Юпитер! Как красиво! — воскликнула вдова, когда два гладиатора в полном вооружении объехали арену на быстрых и стройных конях.

Они были вооружены копьями и круглыми щитами, какие позднее носили средневековые рыцари; доспехи их были хитроумно сплетены из металлических полосок, но

покрывали только бедра и правую руку; короткие, не достававшие до колен плащи были живописны и изящны; обнаженные ноги были обуты в сандалии, завязанные ремешками чуть повыше щиколоток.

— Как красиво! Кто это? — спросила вдова.

— Одного зовут Бербикс, он победил в двенадцати поединках, у другого звучное имя Нобилиор. Оба они галлы.

Пока женщины разговаривали, торжественное открытие игр закончилось. Начались поединки на деревянных мечях между гладиаторами, которым предстояло потом сражаться всерьез. Зрителям больше всего понравилось искусство двух гладиаторов из Рима, специально приглашенных для этого случая. После них лучшим был Лидон. Эти упражнения длились не более часа и заинтересовали только знатоков, которые предпочитали искусство грубому азарту; большинство зрителей были рады, когда упражнения кончились.

Толпа замерла. Участники выстроились парами, как было намечено заранее; судьи осмотрели их оружие, и среди гробовой тишины, нарушаемой лишь звуками воинственной музыки, гладиаторы начали сражаться всерьез.

Нередко игры начинались с самого жестокого зрелища, чтобы первой жертвой пал бестиарий, растерзанный хищниками. Но на этот раз опытный Панса счел за лучшее, чтобы напряжение жестокой драмы нарастало, а не ослабевало, поэтому казнь Олинфа и Главка приберегли на конец. Было решено, что первыми выступят два конных гладиатора, за ними, в произвольном порядке, пешие бойцы, после чего разыграют кровавую сцену Главк и лев, а тигр и назареянин выйдут на арену последними. Читатель, хорошо знающий римскую историю, не должен ждать слишком многого от зрелищ в Помпеях, где не было той ужасной массовой резни, какой Нерон или Калигула угощали граждан великого города. В римских зрелищах участвовали самые знаменитые гладиаторы и множество зверей, привезенных издалека, а в маленьких городах Римской империи игры на арене амфитеатра были сравнительно редкими и не такими жестокими; в этом, как и в других отношениях, Помпеи были лишь миниатюрной копией Рима. Но все же это было ужасное и волнующее зрелище, с которым в наше время, к счастью, нечего сравнить. Огромный амфитеатр, поднимавшийся кверху ряд за рядом и вмещавший от пятнадцати до восемнадцати тысяч человек, с нетерпением ожидал не представления, не трагедии на сцене, и настоящих поединков, желал торжества жизни или ужаса смерти всякому, кто выходил на арену!

Два всадника остановились в противоположных концах арены. По сигналу Пансы они ринулись друг на друга, выставив круглые щиты и подняв легкие, но крепкие копья; однако ровно в трех шагах от противника конь Бербикса вдруг остановился, повернулся, и, когда Нобилиор проскакал мимо, его противник нанес ему удар. Нобилиор искусно отразил щитом этот удар, который мог бы стать роковым.

— Молодец, Нобилиор! — крикнул претор, первый выразив волнение, охватившее всех зрителей.

— Отличный удар, Бербикс! — воскликнул Клодий со своего места.

И грозный рокот, перекрываемый громкими криками, прокатился по всему амфитеатру.

Забрала обоих всадников были опущены (как у рыцарей в более поздние времена), но большинство ударов приходилось на голову, и Нобилиор, теперь сражавшийся с не меньшей ловкостью, чем его противник, направил копьё в его шлем. Бербикс поднял щит, чтобы прикрыться, но тут Нобилиор, быстро опустив копьё, пронзил ему грудь. Бербикс пошатнулся и упал.

— Нобилиор! Нобилиор! — закричали зрители.

— Я потерял десять тысяч сестерциев, — сказал Клодий сквозь зубы.

— Готов! — воскликнул Панса.

Зрители, которые еще не успели ожесточиться, подали знак милосердия, но, когда служители подошли, они увидели, что милосердие запоздало: копьё пронзило галлу сердце, и он был мертв. Жизнь ушла из него вместе с кровью, которая темной лужей расползлась по песку и опилкам, усыпавшим арену.

— Бой так быстро кончился, даже поволноваться не довелось как следует! — сказала вдова Фульвия.

— Да. Мне ничуть не жаль Бербикса. Всякому было видно, что Нобилиор сделал ложный выпад. Гляди, они зацепили тело крюком и тащат его в сполиарий, а арену посыпают свежим песком. Панса больше всего жалеет, что он недостаточно богат, чтобы усыпать арену киноварью, как делал Нерон.

— Да, поединок был короткий. Но вон на арене уже новые бойцы. Гляди, вышел красавчик Лидон и ретиарий и вон те с мечами. Просто прелесть!

На арене теперь было шесть гладиаторов: Нигер с сеткой, сражавшийся против Спора, вооруженного щитом и коротким мечом; Лидон с Тетраидом, совсем нагие, не считая повязок на бедрах, вооруженные лишь тяжелыми греческими цестами, и два римских гладиатора с головы до ног в стальной броне, оба с огромными щитами и остроконечными мечами в руках.

Поскольку поединок на цестах между Лидоном и Тетраидом обещал быть наименее жестоким, остальные бойцы, едва они вышли на середину арены, словно по уговору, отступили назад и ждали конца этого поединка, чтобы только потом начать бой более грозным оружием. Они стояли в стороне, опираясь на мечи, и, хотя зрелище не было настолько кровавым, чтобы восхитить зрителей, оно все же восхищало многих, потому что этот вид состязаний был заимствован из Греции, страны их предков.

На первый взгляд силы казались неравными. Тетраид, хоть и был не выше Лидона, весил значительно больше; из-за его толщины мускулы гладиатора казались зрителям еще мощнее; и, так как считалось, что сражаться на цестах легче всего тому, у кого больше веса, Тетраид, который не был худ от природы, постарался растолстеть еще больше. Плечи у него были широкие, ноги толстые, сильные и немного кривые, — это хоть и некрасиво, зато дает преимущество в бою. Лидон, стройный, худощавый, был красивого и даже хрупкого сложения; опытный глаз легко мог заметить, что мускулы у него хотя не такие чудовищные, как у его противника, зато упругие и твердые, как железо. И, если ему недоставало веса, зато он был удивительно ловок; гордая улыбка на его решительном лице, которое так выгодно отличалось от грубого лица Тетраида, подкупала зрителей, они верили в его победу, а в случае поражения были расположены к милосердию. Поэтому, несмотря на явное неравенство сил, зрители подбадрывали Лидона почти так же громко, как и Тетраида.

Всякий, кто знает наш современный бокс, кто видел сокрушительные удары, искусно наносимые человеческими кулаками, легко поймет, до какого совершенства это искусство можно довести, обмотав руку по самый локоть кожаной лентой с железной пластиной или же свинчаткой у кисти. Однако интереснее поединок от этого отнюдь не становился — наоборот, он быстро приходил к концу. Нескольких ударов, удачно и умело нанесенных, было достаточно для победы; поэтому противникам не часто удавалось показать всю свою силу, упорство и ловкость, благодаря которой слабый нередко побеждает сильного и своей отвагой вызывает бурное сочувствие зрителей.

— Берегись! — проворчал Тетраид, подступая все ближе к противнику, который вертелся вокруг него, но не бежал.

Лидон ответил ему лишь презрительным взглядом. Тетраид нанес удар, сокрушительный, словно удар кузнечного молота; Лидон быстро упал на одно колено, и удар пришелся у него над головой. Он не остался в долгу: мгновенно вскочив на ноги, он ударил прямо в широкую грудь противника. Тетраид пошатнулся, и зрители громко закричали.

— Не везет тебе сегодня, — сказал Лепид Клодию. — Ты проиграл одну ставку, проиграешь и вторую.

— Клянусь богами, придется мне тогда продать мои бронзовые статуи! Я поставил на Тетраида не меньше сотни тысяч сестерциев. Но гляди, он нападает! Какой точный удар! Он разбил Лидону плечо. Тетраид! Тетраид!

— Лидон тоже не падает духом. Клянусь Поллуксом, он хорошо владеет собой! Погляди, до чего ловко он увертывается от этих кулаков, ужасных, как молоты! Отскакивает

то в одну сторону, то в другую, прыгает вокруг противника... Ах, бедный Лидон! Снова удар!

— Три против одного на Тетраида! Что скажешь, Лепид?

— Идет — девять тысяч сестерциев против трех!

— Как! Опять? Лидон остановился, тяжело дышит. О боги, он упал! Нет, вот он уже снова на ногах. Молодец, Лидон! Но и Тетраид ободрился, смеется, бросился на него...

— Дурак, успех его ослепил, а нужно быть начеку. У Лидона глаза как у рыси, — пробормотал Клодий.

— Ага, Клодий, видал? Твой гладиатор шатается! Еще удар, и он падает, падает!

— Но земля влила в него силы. Он снова вскочил, хотя все лицо у него в крови.

— Клянусь Юпитером-громовержцем, Лидон победит! Гляди, как он насаждает! Этот удар в висок свалил бы быка! Тетраид упал. Вот он упал снова, не может встать — готов, готов!

— Готов, — повторил Панса. — Уведите их, пусть наденут доспехи и возьмут мечи.

— Благородный эдитор, — сказали служители, — мы боимся, что Тетраид не сможет оправиться. Но мы постараемся привести его в себя.

— Ступайте.

Через несколько минут служители, которые унесли оглушенного и бесчувственного гладиатора, вернулись с неприятной вестью. Они опасались за жизнь Тетраида: он был решительно не способен вернуться на арену.

— В таком случае, пусть Лидон будет запасным, — сказал Панса. — Он займет место первого павшего гладиатора и сразится с победителем.

Зрители криками выразили свое одобрение, потом снова притихли. Громко заиграла труба. Четверо гладиаторов встали друг против друга, суровые, готовые к бою.

— Ты знаешь этих римлян, мой милый Клодий? Они знаменитые гладиаторы или какие-нибудь неважные?

— Эвмолп хороший фехтовальщик, но не из числа самых первых, милый Лепид. А Непима, того, что пониже ростом, я и сам вижу в первый раз. Но он сын одного из императорских гладиаторов и обучался в хорошем гимнасии; без сомнения, они покажут ловкость. Но я потерял вкус к игре — мне уж не отыграть мои деньги, я разорен. Будь проклят этот Лидон! Кто бы мог подумать, что он так ловок или так удачлив?

— Ну, Клодий, ладно уж, пожалею тебя, поставлю на одного из этих римлян столько, сколько ты сам скажешь.

— Десять тысяч против десяти на Эвмолпа?

— Как! Ведь Непим в первый раз на арене! Нет, нет, это уж слишком.

— Ну, десять против восьми?

— Идет.

В это самое время на одной из верхних скамей сидел человек, который следил за поединком с мучительным волнением. Старый отец Лидона, несмотря на свой благочестивый страх, не мог в отчаянной тревоге на сына не прийти взглянуть, как он будет сражаться. Один среди чужих, жестоких людей, среди грубой толпы, он ничего вокруг не замечал, никого не видел, кроме своего храброго сына. Он не издал ни звука, когда тот два раза упал, только бледнел и весь дрожал. Но когда он увидел победу Лидона, то громко вскрикнул, не зная, что эта победа лишь начало и предстоит еще более страшный бой.

— Мой храбрый мальчик! — сказал он, утирая слезы.

— Это твой сын? — спросил здоровенный детина, сидевший справа от него. — Он хорошо дрался. Посмотрим, что будет дальше. Слышишь, он должен сразиться с первым же победителем. Ну, старик, моли богов, чтобы ему не пришлось драться с кем-нибудь из римлян или с этим великаном Нигером.

Медон сел и закрыл лицо руками. Сейчас зрелища его не интересовали — Лидон в них не участвовал. Но тут же у него мелькнула мысль, что это тоже важно: ведь место первого, кто падет, займет Лидон. Старик вздрогнул и, подавшись вперед и стиснув руки, стал во все

глаза смотреть на арену.

Сначала общее внимание привлек поединок между Нигером и Спором — зрители особенно любили такие бои, потому что они требовали большого искусства и обычно имели роковой исход.

Гладиаторы стали довольно далеко друг от друга. Лицо Спора было скрыто под забралом, зато свирепое и сосредоточенное лицо Нигера приковывало все взгляды. Они постояли несколько мгновений, глядя друг на друга, а потом Спор, нацелив меч в грудь противника, как современный фехтовальщик — шпагу, начал медленно и осторожно подходить к нему. Нигер отступал, собирая правой рукой сеть и не сводя со Спора маленьких блестящих глаз. Когда Спор подошел почти на длину руки, ретиарий прыгнул вперед и бросил сеть. Быстро пригнувшись, гладиатор спасся от нее. Он издал яростный торжествующий крик и бросился на Нигера, но Нигер уже отдернул сеть назад, закинул ее за плечи и побежал вокруг арены с такой быстротой, что Спор напрасно пытался его догнать. Зрители громко смеялись и кричали, видя напрасные старания плечистого гладиатора настичь гиганта, но в этот миг их внимание привлек поединок между римлянами.

Вначале они сошлись близко, но были так осторожны, что бой шел вяло и зрители могли сосредоточить свое внимание на схватке между Спором и его противником, но теперь римляне, расвирепев, начали драться всерьез — они наседали друг на друга, отступали, снова наступали, каждый с той незаметной осторожностью, которая свойственна опытным бойцам, если силы равны. Но вот старший из них, Эвмолп, ранил Непима в бок. Зрители закричали. Лепид побледнел.

— Ага! — сказал Клодий. — Бой почти кончен. Если Эвмолп будет теперь драться осторожно, его противник постепенно истечет кровью.

— Но, благодарение богам, он неосторожен. Он наедает на Непима. Клянусь Марсом, Непим нанес ему удар! Вот опять звякнул шлем! Клодий, я выиграю!

— Лучше уж мне играть в кости, — пробормотал Клодий. — Какая жалость, что в амфитеатре невозможно плутовать!

— Спор! Спор! — закричали зрители, когда Нигер, внезапно остановившись, во второй раз бросил сеть и снова безуспешно.

На этот раз он отступил недостаточно быстро — меч Спора глубоко ранил его в правую ногу; бежать он теперь не мог, и Спор бросился на него. Однако огромный вес и длинные руки все еще давали Нигеру преимущество: крепко держа трезубец, он с успехом оборонялся несколько минут. Спор попытался быстро обойти противника, который теперь двигался медленно и с трудом. Но при этом он потерял осторожность и очутился слишком близко к гиганту; Спор занес уже руку для удара, но тут трезубец вонзился ему в грудь. Он упал на колени. Еще мгновение, и роковая сеть опутала его. Напрасно пытался он освободиться, извиваясь под ударами трезубца. Кровь текла сквозь сеть на песок. Опустив руки, он сдался.

Победитель снял с него сеть и, опершись на трезубец, посмотрел на зрителей, ожидая их решения. Победенный мутным и отчаянным взглядом тоже обвел амфитеатр. Но из всех рядов, со всех скамей на него смотрели лишь жестокие, неумолимые глаза.

Рев стих, его сменил тихий ропот. Потом воцарилась тишина, но тишина, ужасная своей беспощадностью. Ни одна рука, даже женская, не подала знака милосердия. Спора не любили; эта схватка возбудила публику только потому, что Нигер был ранен. Зрителям надоела притворная игра, они жаждали крови, требовали первой жертвы.

Гладиатор понял, что участь его решена: у него не вырвалось ни мольбы, ни стоны. Публика требовала его смерти. Покорно склонил он голову, чтобы принять роковой удар. И поскольку трезубец ретиария не мог причинить мгновенную и верную смерть, на арену вышел угрюмый человек с опущенным забралом, размахивая коротким острым мечом. Медленными, размеренными шагами этот мрачный палач подошел к гладиатору, все еще

стоявшему на коленях, положил левую руку на его склоненную голову, занес меч, оглядел зрителей — на случай, если в последний миг они смягчатся, но все пальцы по-прежнему были опущены вниз; меч сверкнул в воздухе, опустился, гладиатор упал на песок, вздрогнул и замер — он был мертв.

Его тело тут же уволокли с арены через Ворота мертвых и бросили в мрачную каморку, которую называли сполиарием. Тем временем решился исход поединка между римлянами. Эвмолп нанес смертельную рану своему менее опытному сопернику, и новая жертва очутилась в печальном приюте для мертвых.

Теперь вся огромная толпа зашевелилась; все удовлетворенно вздохнули и уселись поудобнее. Освежающие фонтаны забили из невидимых труб. Наслаждаясь прохладой, люди обменивались впечатлениями. Эвмолп снял шлем и вытер лоб; его курчавые волосы, короткая борода, благородное римское лицо и темные блестящие глаза вызывали всеобщее восхищение. Он был свеж, невредим, полон сил.

Эдитор, помолчав, объявил, что, поскольку Нигер ранен и не может снова выйти на арену, Лидон займет место убитого Непима и будет сражаться с Эвмолпом.

— Но если ты, Лидон, — добавил он, — не хочешь биться с этим римлянином, уже показавшим свою храбрость, то можешь отказаться. Эвмолп не был назначен тебе в противники. Решай, можешь ли ты с ним соперничать. Если ты будешь побежден, тебя ждет славная смерть, а если победишь, я из своих средств удваиваю награду.

Со скамей раздались одобрительные крики. Лидон, стоя на арене, окинул взглядом амфитеатр; высоко наверху он увидел бледное лицо отца. Мгновение он колебался. Нет! Победы на цестах было мало — он еще не завоевал награды, его отец еще раб!

— Благородный эдил, — сказал он твердо, — я готов сражаться. Я хочу поддержать честь нашего города — воспитанник нашего славного ланисты должен помериться силами с этим римлянином.

Зрители закричали еще громче.

— Ставлю четыре против одного, Лидон будет побежден, — сказал Клодий Лепиду.

— Не согласен даже на двадцать против одного: ведь Эвмолп настоящий Ахилл, а этот несчастный всего только новичок.

Эвмолп с усмешкой посмотрел на Лидона, едва слышно вздохнув при этом, — он пожалел противника, но, привычный к сражениям, тут же ожесточился.

И теперь, готовые к последнему поединку, после которого на арену должны были выйти звери, оба гладиатора, опустив забрала и обнажив мечи, встали друг против друга.

В этот миг один из служителей подал претору запечатанную табличку. Претор распечатал ее, прочел, и на лице его отразилось недоумение. Он снова перечитал письмо и, пробормотав: «Это невозможно! Должно быть, он пьян с утра, если мог такое выдумать!» — небрежно отложил табличку и снова внимательно стал следить за поединком.

Зрители затаили дыхание. Эвмолп им нравился, но мужество Лидона и гордые слова о чести помпейского ланисты высоко подняли его в их глазах.

— Эй, старик! — сказал Медону его сосед. — Твоему сыну трудненько тягаться с этим римлянином! Но не робей — эдитор не даст его убить, да и публика тоже: ведь он такой храбрец. А! Вот славный удар. Но он ловко увернулся, клянусь Поллуксом! Давай, давай, Лидон! Они остановились перевести дух. Что ты там бормочешь, старик?

— Молитвы, — отвечал Медон с надеждой; теперь он был спокойнее.

— Молитвы — что за вздор! Прошло то время, когда боги уносили людей с поля битвы, закутав в облако. О Юпитер, какой удар! Сбоку, он заходит сбоку, берегись, Лидон!

Зрители вздрогнули. Получив сильный удар по голове, Лидон упал на колени.

— Готов! — крикнул пронзительный женский голос.

Это был голос той молодой женщины, которая так жаждала, чтобы звери растерзали какого-нибудь преступника.

— Молчи, глупая! — Сказала жена Пансы. — Он не ранен!

— А жаль, это досадило бы старому ворчуну Медону, — пробормотала девушка.

Лидон, который до сих пор защищался с большим искусством и храбростью, начал слабеть под яростными ударами опытного римлянина; его рука отяжелела, глаза помутнились, он дышал тяжело и с трудом. Противники на мгновение остановились перевести дух.

— Юноша, — сказал ему Эвмолп тихо, — сдайся. Я легко раню тебя, а ты опусти оружие. Эдитор и зрители на твоей стороне, ты с честью выйдешь из боя и сохранишь жизнь.

— А мой отец останется рабом! — пробормотал Лидон. — Нет! Я умру или добуду ему свободу.

Понимая, что силы неравны и все зависит теперь от внезапного и отчаянного натиска, Лидон яростно бросился на Эвмолпа. Римлянин осторожно отступил, Лидон снова бросился вперед, но Эвмолп увернулся, меч скользнул по его доспехам, и в тот миг, когда грудь Лидона была открыта, римлянин вонзил меч между щитками панциря. Он не хотел нанести глубокую рану, но Лидон, ослабевший и измученный, сам упал вперед; острие вонзалось в его тело все глубже. Эвмолп выдернул меч. Лидон попытался выпрямиться, выронил меч, с размаху ударил гладиатора безоружной рукой и упал ничком на арену. Зрители и эдитор все, как один, подали знак пощады. Служители подбежали к Лидону и сняли с него шлем. Он еще дышал; его яростный взгляд обратился к врагу. Ремесло гладиатора уже наложило на него свой отпечаток, и ненависть застыла на этом лице, омраченном тенью смерти. Потом с судорожным стоном, вздрогнув, он поднял глаза кверху. Они остановились не на лице эдитора и не на лицах зрителей, пощадивших его. Он их не видел — его словно окружала огромная пустота. Только одно бледное, искаженное страданием лицо он узнал один горестный крик услышал среди гула толпы. Свирепость исчезла с его лица: мягкое и нежное выражение сыновней любви осветило его черты, потом и оно помутнело, стерлось. Вдруг его лицо стало ожесточенным и твердым, как раньше. Он уронил голову на песок.

— Унесите его, — сказал эдил. — Он исполнил свой долг.

Служители унесли Лидона в сполитарий.

— Вот всегдашний удел славы! — пробормотал Арбак, и взгляд, которым он окинул амфитеатр, был полон такого презрения, что у всякого, кто встречался с этим взглядом, перехватывало дыхание и одно чувство заглушало все остальные — суеверный страх.

Снова забили благовонные фонтаны; служители посыпали арену свежим песком.

— Выпустите льва и приведите афинянина Главка, — сказал эдитор.

И в амфитеатре воцарилась мертвая тишина. Все замерли в напряженном ожидании, охваченные глубочайшим ужасом, который, странное дело, был приятен этим людям!

ГЛАВА III

Саллюстий и письмо Нидии

Трижды просыпался Саллюстий в то утро и всякий раз, вспомнив, что сегодня его друг должен умереть, снова с глубоким вздохом впадал в целительный сон. Единственной его целью в жизни было оградить себя от неприятностей, а если это было невозможно, он, по крайней мере, старался забытья.

Наконец он приподнялся и, как всегда, увидел у своего ложа любимого вольноотпущенника. Саллюстий, у которого была благородная страсть к изящной словесности, привык по утрам читать час-другой, прежде чем встать.

— Сегодня не надо чтения! Не надо Тибулла! Не надо Пиндара! Пиндар! Увы! Увы! Одно его имя напоминает мне про игры — ведь их унаследовала наша жестокая арена. Там уже началось?

— Давно, Саллюстий! Разве ты не слышал звуки труб и топот толпы?

— Да, да, но, благодарение богам, я дремал, и стоило мне перевернуться на другой бок, как я снова уснул.

— Гладиаторы, наверно, давно уже на арене.

— Бедняги! Никто из моих рабов туда не пошел?

— Конечно, нет: ведь ты им строго запретил.
— Хорошо. Скорей бы кончился день! А что это за письмо вон там, на столе?
— Это? А, его принесли тебе поздно ночью, когда ты был слишком... слишком...
— ...пьян, чтобы его прочесть? Неважно, оно наверняка не срочное.
— Распечатать его, Саллюстий?
— Да, может быть, это меня развлечет. Бедный Главк!
Вольноотпущенник взял письмо.

— Написано по-гречески, — сказал он. — Наверно, от какой-нибудь образованной дамы. — Он пробежал письмо глазами, но не сразу разобрал кривые строчки, нацарапанные слепой девушкой. Потом на лице его отразилось волнение. — Всемогущие боги! Благородный Саллюстий! Что мы наделали! Слушай! «От рабыни Нидии Саллюстию, другу Главка. Меня держат под замком в доме Арбака. Спешу к претору. Добейся моего освобождения, и мы еще успеем спасти Главка от клыков льва. Здесь есть один узник, его показания могут оправдать афинянина. Он был свидетелем преступления и готов доказать, что убийца на свободе и этого негодяя никто не подозревает. Не теряй ни минуты! Приведи с собой вооруженных людей, потому что можно ожидать сопротивления, и хорошего кузнеца, чтобы взломать дверь темницы. Ради всего святого, ради праха твоего отца, не теряй ни секунды!»

— Великий Юпитер! — воскликнул Саллюстий, вздрагивая. — И в этот день, быть может даже в этот самый час, он умирает. Что же делать? Скорей к претору!

— Это бессмысленно. И претор, и эдил Панса, устроитель игр, — плоть от плоти толпы! А толпа и слышать не захочет об отсрочке. Теперь уж их не остановить. Кроме того, если действовать открыто, хитрый египтянин будет предупрежден. А он явно заинтересован скрыть все это! Нет! К счастью, все твои рабы дома...

— Я понял, — перебил его Саллюстий. — Немедленно вооружи рабов. На улицах никого нет. Мы поспешим в дом Арбака и освободим узников. Скорей, скорей! Эй, Дав! Одежду и сандалии, папирус и тростинку: я напишу претору, чтобы он задержал казнь Главка, а через час мы, быть может, докажем его невиновность. . Так, готово. Беги, Дав, отнеси это в амфитеатр претору. Смотри, чтобы письмо передали ему в руки. А теперь, о боги, чье провидение отрицал Эпикур, помогите мне, и я объявлю Эпикура лжецом!

ГЛАВА IV

Снова амфитеатр

Главка и Олинфа бросили в мрачную и тесную темницу, где обычно томились преступники, ожидая последней страшной схватки. Привыкнув к темноте, они теперь различали лица друг друга, и бледность, которая их покрывала, казалась здесь еще более мертвенной и ужасной. Но оба они сохраняли твердость, губы их были плотно сжаты. Вера одного, гордость другого, сознание своей невиновности и, быть может, взаимная поддержка делали их не жертвами, а героями.

Наконец дверь со скрипом отворилась, и на стены упал отблеск копий.

— Афинянин Главк, выходи, твой час настал, — сказал громкий голос. — Лев ждет тебя.

— Я готов, — отвечал афинянин. — Брат и товарищ, обнимемся! Благослови меня и прощай!

Христианин прижал молодого язычника к груди, поцеловал его в лоб и щеки, зарыдал, и его горячие слезы покатались по лицу нового друга...

Главк пошел к двери. Хотя солнца не было, стояла духота, и афинянин, еще не совсем оправившийся от действия зелья, чуть не упал, выйдя на воздух. Служители поддержали его.

— Смелее! — сказал один. — Ты молод и силен. Тебе дадут оружие. Не отчаивайся, ты еще можешь победить.

Главк не ответил, но, стыдясь своей слабости, сделал отчаянное усилие и овладел собой. На нем не было ничего, кроме набедренной повязки. Его натерли мазью, дали ему стиль (жалкое оружие!) и вывели на арену.

Когда грек увидел глаза десятков тысяч людей, устремленные на него, он уже не думал о смерти. Страх исчез без следа. Его бледное лицо покрылось румянцем, он выпрямился во весь рост. Упругая красота тела, напряженное, но не злобное лицо, презрение и неукротимость, сквозившие в каждом его движении, в глазах, в изгибе губ, делали Главка живым воплощением мужества своей родины и ее религии — это был герой и бог в одном лице!

Когда его вывели на арену, раздался ропот, полный негодования и ужаса перед его преступлением, но вслед за тем сразу же воцарилось почти сочувственное молчание; все зрители, как один человек, устремили взгляды на большой решетчатый ящик посреди арены. Это была клетка со львом.

— Клянусь Венерой, сегодня ужасная жара! — сказала Фульвия. — А солнца нет. Хоть бы эти дураки как следует натянули тент.

— Да, жарко. Мне дурно, я сейчас упаду в обморок, — сказала жена Пансы; даже она дрогнула в ожидании борьбы, которая должна была начаться.

Льва не кормили целые сутки, и все утро он метался по клетке в беспокойстве, которое надсмотрщик приписал мукам голода. Однако вид у него был не свирепый, а, скорее, испуганный; он тоскливо завыл, понурил голову, понюхал воздух сквозь прутья, лег, потом снова вскочил и издал дикий рев, который разнесся далеко вокруг. Теперь он молча лежал в клетке, просунув нос сквозь прутья, ноздри его раздувались, дыхание взметало песок на арене.

Панса побледнел, губы его задрожали; он тревожно оглянулся, помедлил. Зрители уже начали выказывать нетерпение. Он подал знак. Надсмотрщик, стоявший позади клетки, осторожно открыл дверцу, и лев с грозным рычанием выскочил на свободу. Надсмотрщик поспешил уйти с арены через зарешеченный коридор, оставив царя зверей перед его добычей. Главк присел, готовясь встретить льва, и занес свое маленькое сверкающее оружие в слабой надежде, что один точный удар в глаз (он знал, что второй удар нанести уже не успеет) может поразить мозг его свирепого врага.

Но, к общему удивлению, лев как будто не замечал преступника.

Он резко остановился посреди арены, встал на дыбы и нетерпеливо начал принохиваться; потом прыгнул вперед, но не на афинянина. Он рысцой обежал арену, беспокойно озираясь, словно искал пути к бегству; раз или два он пытался перепрыгнуть через стенку, отделявшую его от зрителей, и, когда это ему не удалось, вместо могучего царственного рева испустил жалобный вой. Он не проявлял никаких признаков злобы или голода; хвост его волочился по песку, вместо того чтобы хлестать по бокам, а когда на глаза ему попадался Главк, он равнодушно отворачивался. Наконец, видимо отчаявшись убежать, он, скуля, заполз обратно в клетку и лег.

Зрители, сначала пораженные безразличием льва, теперь возмутились его трусостью. Жалость к Главку сразу была забыта.

Панса подозвал надсмотрщика.

— Что это? Возьми копье, выгони его из клетки и закрой дверцу.

Надсмотрщик, испуганный, но еще больше удивленный, приготовился повиноваться, но тут у одного из входов раздался громкий крик. Поднялась суeta, смятение, раздались протестующие возгласы, и вдруг все смолкло, когда прозвучал громкий голос, объяснивший, в чем дело. Глаза зрителей с недоумением устремились в ту сторону, толпа расступилась, и вдруг около сенаторских мест появился Саллюстий, растрепанный, задыхающийся, потный, выбившийся из сил.

Он быстро окинул взглядом арену.

— Уведите афинянина! — крикнул он. — Скорей, иначе умрет невинный! Арестуйте

египтянина Арбака — это он убийца Апекида!

— Ты с ума сошел, Саллюстий! — сказал претор, вставая. — Что означает этот бред?

— Прикажи увести афинянина! Скорей, иначе кровь его падет на твою голову! Претор, ты своей жизнью ответишь за это императору! Я привел свидетеля смерти жреца Апекида. Дорогу! Посторонитесь! Люди, взгляните на Арбака — вон он! Дорогу жрецу Калену!

Бледный, осунувшийся, только что вырванный из когтей голода и смерти, с ввалившимися щеками и мутными глазами, отощавший Кален, поддерживаемый под руки рабами, прошел к тому ряду, где сидел Арбак. Освободители успели накормить его по дороге, к тому же его силы поддерживала мысль о мщении.

— Жрец Кален! Кален! — кричала толпа. — Неужели это он? Нет, это мертвец!

— Да, это жрец Кален, — сказал претор сурово. — Говори, Кален.

— Египтянин Арбак — убийца жреца Апекида. Я своими глазами видел, как он нанес удар. Боги избавили меня от темницы, куда он меня бросил, от мрака и от ужаса голодной смерти, чтобы я рассказал об этом! Освободите афинянина — он невиновен.

— Вот почему лев его не тронул! Чудо! — закричал Панса.

— Чудо! Чудо! — подхватила толпа. — Уведите афинянина! Арбака на арену!

Этот крик отдался эхом по окрестностям и долетел до самого моря.

— Арбака на арену!

— Уведите Главка, но держите его под стражей, — сказал претор. — Боги щедро изливают на нас чудеса. Кален, жрец Исиды, ты обвиняешь Арбака в убийстве Апекида?

— Да.

— Ты видел, как было совершено убийство?

— Претор, я видел своими глазами...

— Пока довольно — подробности расскажешь в суде. Египтянин Арбак, ты слышал обвинение. Что же ты молчишь? Отвечай!

Все взгляды давно уже были устремлены на Арбака, но он успел скрыть замешательство, охватившее его, когда появились Саллюстий и Кален. Услышав крики: «Арбака на арену!» — он задрожал, и его смуглые щеки снова побледнели. Однако он быстро обрел самообладание. Гордо оглядевшись вокруг, он отвечал претору спокойно и властно, как всегда:

— Претор, это обвинение настолько нелепо, что едва ли заслуживает ответа. Первый мой обвинитель, Саллюстий, — близкий друг Главка, второй — жрец! Я уважаю его одеяние и сан, но вы знаете Калена. Он так жаден, что жадность его вошла в поговорку. Такого человека легко подкупить. Претор, я не признаю себя виновным.

— Саллюстий, — сказал судья, — где нашел ты Калена?

— В подземелье у Арбака.

— Египтянин, — сказал претор, нахмурившись, — значит, ты осмелился бросить жреца в подземелье? За что?

— Выслушай меня, — отвечал Арбак, вставая. Он произнес это спокойно, хотя на лице у него были заметны признаки волнения. — Этот человек пришел ко мне и грозил выступить с обвинением, которое вы сейчас слышали, если я не отдам ему половину своего богатства. Я пытался усовестить его, но он настаивал... Тише, не позволяйте жрецу перебивать меня! Благородный претор и вы, граждане города! Я здесь чужеземец, и, хотя совесть моя чиста, свидетельство жреца могло меня погубить. Я испугался и, пообещав отвести этого человека в сокровищницу, заманил его в темницу, где его и нашли. Я решил продержат его там до тех пор, пока не будет приведен в исполнение приговор над истинным преступником и угрозы Калена не станут бессильны. Вот и все. Быть может, я поступил опрометчиво, но кто здесь станет отрицать право самозащиты? Если я виновен, отчего этот жрец молчал на суде? В то время он был еще на свободе. Почему он не изблжил меня сразу же после того, как я обвинил Главка? Претор, пусть он ответит на это! Во всем остальном я отдаю себя в руки закона и прошу защиты. Уведите обвинителя и обвиняемого, я охотно подчинюсь решению законного суда. А здесь не место для споров.

— Он прав, — сказал претор. — Эй, стража, увести Арбака и следить за Каленом! Саллюстий, ты отвечаешь за свое обвинение. Возобновим игры.

— Как! — воскликнул Кален, обращаясь к толпе. — Неужели Исиде будет нанесено такое оскорбление? Неужели кровь Апекида будет по-прежнему взывать о мщении? Неужели правосудие не свершится теперь же и преступнику удастся ускользнуть? Неужели у льва отнимут его законную добычу? Богиня! Я чувствую, что моими устами вещает богиня! На арену, на арену Арбака!

Ослабевший, он изнемог от ярости, и в судорогах упал на землю; на губах его выступила пена, он и в самом деле был похож на человека, которым овладела сверхъестественная сила. Глядя на него, зрители содрогнулись.

— Богиня вдохновила его! На арену египтянина!

Тысячи людей вскочили, хлынули вниз. Они устремились к египтянину. Тщетно выкрикивал приказы эдил, тщетно надрывался претор, требуя уважения к закону. Зрители обезумели, они уже были опьянены кровью и жаждали еще крови; жестокость подхлестывала суеверие. При виде своих жертв они забыли о подчинении властям. Это была невежественная толпа, состоявшая наполовину из свободных, наполовину из рабов, очень характерная для римских провинций. Власть претора была словно тростинка под натиском урагана; и все же по его приказу стражники протиснулись в проход, отделявший нижние скамьи, где сидела знать, от верхних, занятых чернью. Людская волна остановилась на миг перед этим шатким заграждением, и Арбак мог в последний раз взглянуть в лицо судьбе. В отчаянии и ужасе он забыл свою гордость, он смотрел на бушующую толпу, и вдруг прямо над головой, сквозь широкое отверстие в тенте, он увидел нечто такое, что вернуло ему самообладание.

Он поднял руку. На его надменном лице появилось повелительное и торжествующее выражение.

— Смотрите! — крикнул он громовым голосом, перекрывая рев толпы. — Смотрите, боги вступились за невинного! Молнии мстителя Орка испепелят лжесвидетелей!

Толпа посмотрела вверх и с ужасом увидела, что над вершиной Везувия поднимается облако в форме гигантской пинии; ствол ее был черный, а ветви огненные, и этот огонь менял цвет каждое мгновение: он становился то ослепительно ярким, то темно-красным, то снова ослеплял нестерпимым блеском.

Наступила мертвая тишина, которую вдруг разорвал рев льва, подхваченный в виварии тигром. Они возвещали неистовый гнев стихий.

Женщины подняли визг, мужчины молча смотрели друг на друга. В тот же миг все почувствовали, что земля трясется у них под ногами, стены амфитеатра задрожали, вдали послышался грохот обрушивающихся крыш, а еще через мгновение облако, стоявшее над горой, стремительно понеслось прямо на город, извергая из своей утробы град пепла, смешанного с раскаленными камнями. На сожженные виноградники, на пустые улицы, на самый амфитеатр, на море, вздымая фонтаны воды, — повсюду падал этот ужасный град. Толпа сразу забыла про Арбака, каждый думал лишь о своем спасении. Люди бросились бежать, заметались, тесня, толкая друг друга. Огромная толпа, топча упавших, среди стонов, проклятий, молитв и воплей хлынула через многочисленные выходы. Но куда бежать? Некоторые, ожидая нового землетрясения, спешили домой, чтобы взять свое добро и покинуть город, пока не поздно; другие, боясь града камней и пепла, который сделался чаще, попрятались куда попало — в ближайшие дома, храмы, портики, только бы не оставаться под открытым небом. Но все темней, огромней, зловещей сгушалось над ними облако. Словно мрачная ночь вторглась внезапно в царство дня.

ГЛАВА V

Главк выходит из темницы

Стражники отведи Главка, оглушенного, еще не верящего своему счастью, в маленькую нишу в стене амфитеатра и накинули на него легкую одежду. Вокруг толпились люди, поздравляли его, удивлялись. Снаружи послышался нетерпеливый крик, толпа расступилась, и слепая девушка, которую вела чья-то добрая рука, бросилась к ногам Главка.

— Я спасла тебя! — рыдала она. — А теперь дай мне умереть!

Но эта трогательная сцена была прервана бедствием, описанным выше.

— Вулкан! Землетрясение! — слышалось отовсюду.

Стражники бежали вместе со всеми, предоставив Главку и Нидии спасаться самим.

Поняв опасность, благородный афинянин сразу вспомнил про Олинфа. Значит, и его боги избавили от тигра. Неужели же ему суждено погибнуть не менее мучительной смертью здесь, в темнице? Схватив Нидию за руку, Главк по внутренним коридорам быстро добрался до темницы христианина. Олинф молился, стоя на коленях.

— Вставай, друг! — крикнул Главк. — Беги, спасайся! Видишь — сама природа освободила тебя.

Он вытащил удивленного христианина из темницы и указал на тучу, которая приближалась, становясь все темнее и обрушивая на землю град камней. Повсюду слышались крики и топот бегущей толпы.

— Это рука божия! Хвала господу! — сказал Олинф с благоговением.

— Беги! Ищи своих и спасайся вместе с ними. Прощай!

И Главк вместе с Нидией быстро побегал по городу, где на каждом шагу им грозила смертельная опасность. Афинянин узнал от девушки, что Иона все еще в доме Арбака. И он спешил туда, чтобы спасти ее. Немногочисленные рабы, которых египтянин оставил дома, отправившись в амфитеатр, не могли оказать сопротивления вооруженному отряду Саллюстия, а когда началось извержение вулкана, они, оглушенные и перепуганные, забились в самые дальние закоулки дома. Даже гигант эфиоп покинул свое место у двери. Главк, оставив Нидию у входа, пробежал через атрий, не встретив никого, кто мог бы указать ему комнату Ионы. Тьма сгущалась так быстро, что он с трудом находил дорогу. Украшенные гирляндами колонны дрожали и шатались; пепел с каждой секундой все гуще сыпался в открытый перистиль. Главк взбежал по лестнице и, задыхаясь, стал громко звать Иону. В самом конце галереи он услышал ее голос. Броситься вперед, выбить дверь, схватить Иону на руки и выбежать с ней из дому было для него делом одной минуты. Едва добрался он до того места, где оставил Нидию, как услышал шаги и узнал голос Арбака, который вернулся, чтобы забрать свои богатства и вместе с Ионой бежать из обреченного города. Но было уже так темно, что враги не видели друг друга, хотя были совсем рядом, и Главк лишь смутно различил белые одежды египтянина.

Главк, Иона и Нидия поспешили вперед. Куда?

Теперь ничего не было видно и в двух шагах, мрак стал непроглядным. Их окружала ужасная неизвестность, и смерть, которой Главк только что избег, казалось, лишь изменила облик и жаждала новых жертв.

ГЛАВА VI

Кален и Бурдон. Диомед и Клодий. Женщина из амфитеатра и Юлия

Внезапная катастрофа, которая поистине потрясла самые устои общества, освободила и узника и тюремщика. Она избавила Калена от стражников, которым его поручил претор. И когда толпа и темнота разлучили жреца с его спутниками, он неверными шагами поспешил к храму своей богини. По пути, прежде чем стало совсем темно, кто-то вдруг схватил его за одежду, и хриплый голос проговорил у него над ухом:

— Тс! Кален! Какой ужасный час!

— Да, клянусь головой моего отца! Но кто ты? Я плохо вижу твое лицо, а голос незнакомый.

— Ты не узнал Бурдона? Стыдись!

— О боги! Тьма сгущается! Гляди, как сверкают молнии над этой ужасной горой. Они так и пляшут. Аид вырвался на волю.

— Вздор! Ты же не веришь в эти глупости, Кален! Сейчас нам самое время разбогатеть.

— Как так?

— Слушай! В твоём храме полным-полно золота и всяких драгоценных побрякушек. Давай заберем их, а потом скорей к морю — на корабль. Сегодня что хочешь можно делать, все с рук сойдет.

— Правда твоя, Бурдон. Тс! Иди за мной. Кто теперь станет разбираться, жрец ты или нет. Мы всё поделим пополам.

Во дворе храма вокруг алтарей столпились жрецы; они плакали, молились, падали ниц. Они морочили других, пока им ничто не грозило, а в минуту опасности сами стали суеверны. Кален прошел мимо них в пристройку, которую и сейчас можно видеть в южной части двора. Бурдон не отставал от него. Жрец зажег светильник. На столе были вино и яства — остатки жертвенного пира.

— Кто не ел двое суток, у того даже в такой день зверский аппетит, — пробормотал Кален и с жадностью накинулся на еду.

Трудно представить себе что-либо ужаснее и чудовищнее, чем низкое корыстолюбие этих негодяев, ибо нет ничего отвратительней смелости, которую порождает жадность. Хищение и святотатство, когда сотрясаются самые основы мира! Насколько ужаснее делают стихийное бедствие человеческие пороки!

— Да перестань же наконец! — сказал Бурдон нетерпеливо. — Ты весь красный, и глаза у тебя уже на лоб повылазили.

— Не каждый день случается так проголодаться. О Юпитер! Что за звук? Это шипит вода! Неужели эта туча изрыгает не только огонь, но и кипяток? А! Я слышу крики. А теперь стало тихо. Погляди, что там.

Могучая гора выбрасывала теперь потоки кипящей воды. Смешанная с раскаленным пеплом, она то и дело низвергалась на улицы. На двор, где только что жались к алтарям жрецы Исиды, тщетно пытаясь воскурить фимиам, обрушился могучий каскад воды вместе с огромными каменными глыбами. Он упал на склоненные головы жрецов, и крики их были предсмертными, а молчание — вечным. Пепел и черная жижа облепили алтари, покрыли землю и погребли трупы.

— Они мертвы, — сказал Бурдон. Охваченный страхом, он бросился назад, под крышу. — Не думал я, что опасность так близка.

Два негодяя стояли, глядя друг на друга, и слышно было, как колотятся их сердца. Кален, более жадный и трусливый, чем его родич, опомнился первым.

— Нужно поскорей кончать дело и бежать, — сказал он шепотом, страшась даже звука собственного голоса.

Он переступил порог, помедлил, потом прошел по горячей земле мимо трупов своих собратьев в святилище и позвал Бурдона. Но бывший гладиатор задрожал и попятился.

«Тем лучше, — подумал Кален. — Мне больше достанется».

Он торопливо схватил сокровища, какие мог унести, и, не думая больше о своем товарище, поспешил прочь. При внезапной вспышке молнии Бурдон, неподвижно стоявший на пороге, увидел, что жрец убегает, согнувшись под тяжестью добычи. Он набрался смелости и бросился вслед за ним, но тут целый каскад пепла низвергся с неба прямо на храм. Он снова отступил. Его окружала тьма. А пепел все падал и падал; кучи его росли, от них поднимались зловонные, удушливые испарения. Бурдон начал задыхаться. В отчаянии он хотел бежать, но тут пепел завалил вход — негодяй вскрикнул и отскочил от кипящей жижи. Как спастись?

Он не мог выбраться на открытое место, но, даже будь это возможно, все равно страх сковывал его движения. Значит, лучше всего оставаться на месте: здесь, по крайней мере, сверху его защищает крыша. Он сел и стиснул зубы. Постепенно ядовитые пары наполнили

помещение. Он начал задыхаться. Озираясь, Бурдон увидел жертвенный топор, оставленный здесь каким-то жрецом. Схватив его, он в отчаянии попытался прорубить стену.

Улицы тем временем почти опустели, люди поспешили укрыться в домах. Низины начали заполняться пеплом, но тут и там все еще слышались усталые шаги беглецов, и бледные, измученные лица их мелькали при голубых вспышках молнии или неверном свете факелов, которыми они пытались осветить себе путь. Но то и дело кипящая вода, пепел или порывы ветра, которые непостижимым образом налетали и тут же пропадали, гасили эти огни и с ними последнюю надежду людей.

По улице, которая вела к Геркуланумским воротам, сгорбившись, неверными шагами пробирался Клодий. «Только бы выбраться из города, — думал он, — там, за воротами, конечно, есть экипажи, а до Геркуланума недалеко. Благодарение Меркурию, мне нечего терять, все мое при мне».

— Э-эй! Помогите! Помогите! — закричал чей-то испуганный голос. — Я упал, мой факел погас, рабы меня покинули! Я Диомед, богат Диомед. Десять тысяч сестерциев тому, кто мне поможет!

В тот же миг Клодий почувствовал, как кто-то схватил его за ногу.

— Пусти, дурак, чтоб ты провалился! — крикнул он.

— Помоги, помоги! Протяни мне руку!

— Ну вот, вставай.

— Это ты, Клодий? Я узнал твой голос. Куда ты?

— В Геркуланум.

— Хвала богам! Я пойду с тобой до ворот. А почему бы нам не укрыться в моей вилле? Ты знаешь, там глубокие подвалы, туда никакой дождь не проникнет.

— Верно, — сказал Клодий, подумав. — Надо запастись едой, тогда мы сможем отсидеться несколько дней, если эта странная буря не утихнет раньше.

— Будь благословен тот, кто придумал городские ворота! — воскликнул Диомед. — Смотри! Вон под аркой горит свет. Он указывает нам путь.

Ветер ненадолго стих; фонарь на воротах был виден издалека. Беглецы вскоре добрались до ворот и прошли мимо часового; молния осветила его блестящий шлем и застывшее лицо, которого не коснулся страх. Он стоял на своем посту, прямой и неподвижный. Даже в такой час эта бездушная машина, порождение жестокого величия Рима, не ожила, не превратилась в разумного и мыслящего человека. Он стоял среди бушующих стихий, потому что не получил приказа покинуть свой пост.

Диомед и его спутник бросились дальше, но вдруг дорогу им преградила женщина, та самая, которая так часто и весело распевала: «Эй, эй! Веселья сладок зов!»

— О Диомед! — воскликнула она. — Помоги! Ты видишь этого малыша? — Она прижимала к груди ребенка. — Это мой сын. Он незаконнорожденный. До сих пор он был у чужих людей, но теперь я вспомнила, что я мать! Я взяла его из колыбели в доме кормилицы — она убежала. Кто мог подумать в такой час о ребенке, кроме той, которая родила его! Спаси нас! Спаси!

— Чего визжишь как зарезанная! Убирайся прочь! — буркнул Клодий сквозь зубы.

— Ладно, женщина, — сказал более человеколюбивый Диомед. — Иди с нами, если хочешь. Спустимся в подвал.

Они прибавили шагу, добрались до дома Диомеда и вошли в дверь, счастливые, думая, что опасность позади.

Диомед велел рабам отнести в подземную галерею большой запас еды и масла для светильников, после чего там укрылись Юлия, Клодий, женщина с ребенком, многие из рабов и несколько перепуганных гостей и клиентов Диомеда.

ГЛАВА VII

Разрушение продолжается

Облако, затмившее свет дня, теперь сгустилось в плотную, черную тучу. Это не было похоже даже на самую темную ночь — мрак был душный и слепой, как в тесной комнате. А молнии над Везувием сверкали все чаще и ослепительней. Исполненные жуткой красоты, они переливались невиданными цветами, ни одна радуга не могла бы сравниться с ними в разнообразии и яркости красок. То синие, как бездонное южное небо, то мертвенно-зеленые, они металась по небу, извиваясь, как огромные змеи, рассекая столбы дыма и озаряя весь город от ворот до ворот, вспыхивая нестерпимым алым блеском и тут же призрачно бледнея.

Когда пепел переставал сыпаться с неба, слышно было, как содрогается земля и тоскливо стонет море; а те, кто в страхе прислушивался к каждому звуку, слышали далекий свист и шипение газов, вырывавшихся наружу сквозь трещины в горе. Иногда туча раскалывалась и при свете молний приобретала форму огромных людей или чудовищ, бегущих во мраке; они налетали друг на друга и мгновенно исчезали в кипящей бездне тьмы. Перепуганным людям эти призраки казались исполинскими врагами и вселяли в них смертельный ужас.

Все бежали вслепую, в полном беспорядке. Во многих местах пепла навалило уже по колено, а кипящая грязь, которую изрыгал вулкан, затекла в дома, испуская удушливые пары. Огромные каменные глыбы, обрушиваясь на крыши, оставляли на месте домов кучи развалин, и с каждым часом передвигаться по улицам становилось все труднее. Время шло, земля тряслась сильнее, почва уходила из-под ног, и экипажи или носилки не могли удержаться даже на ровном месте.

Иногда глыбы, столкнувшись в воздухе, раскалывались на множество обломков, из них сыпались искры, которые вызывали пожары; это ужасное зарево рассеивало тьму за городскими стенами, где пылали не только дома, но и виноградники. В самом городе, у портиков храмов, у входов на форум, жители пытались установить ряды факелов, но эти огни горели недолго; дождь и ветер гасили их, едва они успевали загореться, и вокруг снова сгущался мрак, вдвойне ужасный, потому что он доказывал тщетность человеческих надежд.

Время от времени при свете этих гаснущих факелов встречались группы беглецов — одни спешили к морю, другие возвращались оттуда назад, потому что вода отступила от берегов, всюду царилась кромешная тьма, и на стонущие, мечущиеся волны низвергалась целая буря пепла и камней, а укрыться было негде. Обезумевшие, измученные, терзаемые суеверным ужасом, эти люди, встречаясь, не могли даже поговорить, посоветоваться, потому что пепел и камни сыпались все чаще, почти непрерывно, гася факелы, на миг вырывавшие из темноты мертвенные лица, и беглецы спешили спрятаться под ближайшей кровлей. Общественный порядок рухнул. То и дело при тусклом, мерцающем свете можно было увидеть, как вор, нагруженный добычей, бежит на глазах у блюстителей закона и дико хохочет. Темнота разлучала мужей с женами, детей — с родителями, и нечего было надеяться найти друг друга. Все бежали вслепую, в полном беспорядке. Ничего не осталось от разнообразного и сложного механизма общественной жизни, кроме примитивного закона самосохранения.

Через этот хаос пробирався афинянин с Ионой и Нидией. Вдруг на них нахлынула тысячная толпа, бежавшая к морю. Эта толпа мгновенно поглотила Нидию, а Главка с Ионой увлекла вперед; и, когда наконец толпа (отдельных людей они не видели, такой густой был мрак) схлынула, Нидия исчезла. Главк стал звать ее. Ответа не было. Они вернулись назад — напрасно. Найти слепую девушку не удалось — как видно, людской поток увлек ее в другую сторону. Они потеряли друга и спасительницу. Ведь до сих пор их вела Нидия. Слепая, она одна могла найти дорогу в темноте. Привыкнув ходить по городу в вечном мраке, она безошибочно указывала им дорогу к морю, где они решили искать спасения. А теперь — в

какую сторону идти? Это был лабиринт без путеводной нити. Измученные, подавленные, растерянные, они все же продолжали пробираться вперед, а пепел падал им на головы, и каменные осколки высекали искры у самых их ног.

— Увы! Увы! — шептала Иона. — Я не могу идти дальше. Я проваливаюсь в горячий пепел. Беги, милый! Предоставь меня моей судьбе!

— Не говори этого, моя любимая, моя невеста! Умереть с тобой лучше, чем жить без тебя! Но куда идти нам в этой тьме? Мне кажется, мы сделали круги теперь опять на том же месте, где были час назад.

— О боги! Смотри, огромная глыба проломила крышу дома! На улицах смертельно опасно.

— Благословенная молния! Гляди, Иона, гляди! Это портик храма Фортуны. Укроемся под ним; он защитит нас от камней и пепла.

Подхватив Иону на руки, он с трудом добрался до храма. Он отнес девушку в дальний, самый надежный уголок портика и склонился над ней, прикрывая ее своим телом от молний и камней. Красота и самопожертвование любви освятили даже этот ужасный час.

— Кто тут? — спросил глухой, дрожащий голос того, кто укрылся здесь еще до них. — Но не все ли равно? В этом светопредставлении нет ни друзей, ни врагов.

Иона обернулась на голос и со слабым криком снова спрятала лицо на груди у Главка. Взглянув в ту сторону, он увидел причину ее страха. Во тьме сверкали два горящих глаза. Молния, вспыхнув, повисла над храмом, и Главк увидел меж колоннами льва, который должен был его растерзать. А рядом, не зная об этом, лежал человек, который их окликнул, — раненый гладиатор Нигер.

Молния осветила зверя и человека, но ни один не испытывал вражды к другому. Наоборот, лев подползал все ближе к гладиатору, словно чувствовал в нем товарища, и гладиатор не боялся его. Страшная катастрофа поглотила все мелкие страхи, и привычные отношения нарушились.

Мимо храма прошла группа мужчин и женщин с факелами. Это была община назареев. Как и все ранние христиане, они в своем заблуждении верили, что скоро должен наступить конец света, и теперь решили, что час пробил.

— Горе! Горе! — кричали они пронзительными голосами. — Смотрите! Это бог нисходит на землю для страшного суда! Он явил людям огонь небесный! Горе! Горе вам, сильные мира сего! Горе тем, кто окружен ликторами и облачен в пурпур! Горе идолопоклонникам и тем, кто поклоняется скоту! Горе тем, кто проливает кровь святых и радуется смертным мукам сынов божиих! Горе! Горе! Горе!

Назареев медленно прошли мимо. Некоторое время их факелы еще мерцали в темноте, предостерегающие голоса звучали грозно и торжественно, а потом замерли, и мрачная тишина воцарилась снова.

Пепел ненадолго перестал сыпаться с неба, и Главк, ободряя Иону, решил идти дальше. Когда они в нерешительности стояли на нижней ступени портика, мимо тяжело пробежал старик с сумкой в руке, опираясь на плечо юноши. Юноша нес факел. Это были отец и сын.

— Отец, — сказал юноша, — если ты не будешь бежать быстрее, я тебя брошу, не то мы оба погибнем.

— Что ж, беги, брось отца.

— Но я умру с голоду! Отдай мне золото. — И юноша схватился за сумку.

— Негодяй! Ты хочешь ограбить отца?

— Кто станет думать о сострадании в такой час? Пропадай ты, скряга!

Юноша сбил старика с ног, вырвал сумку из его ослабевшей руки и с криком побежал дальше.

— О боги! — воскликнул Главк. — Вы, верно, слепы или это мрак вас ослепил? Такое злодейство может погубить всех, и правого и виноватого. Пойдем, Иона! Пойдем!

ГЛАВА VIII

Арбак встречает Главка и Иону

Пробираясь ощупью, словно в темном подземелье, Иона и Главк неуверенно продолжали путь. Когда вулканические молнии повисали над городом, при их мертвенном свете можно было кое-как находить дорогу, но то, что они видели вокруг, мало их ободряло. Там, где пепел был сух и не залит кипящими потоками, которые то и дело выбрасывал вулкан, земля сияла прозрачной белизной. В других местах груды громоздились камни, из-под которых торчали руки или ноги раздавленных людей. Стоны умирающих прерывались отчаянными женскими криками, которые раздавались то вдалеке, то совсем близко и лишь увеличивали чувство беспомощности в этой крошечной тьме, но весь этот шум перекрывал грозный рев вулкана. Свистел и выл ветер, шипела вода, иногда землю сотрясали могучие взрывы. Ветер, с ревом проносясь по улице, нес раскаленную пыль и такие зловонные, ядовитые испарения, что люди задыхались, теряли сознание, а когда приходили в себя, то всем существом своим предчувствовали близкую и мучительную смерть.

— Главк, любимый мой! Обними меня в последний раз! Дай мне прильнуть к тебе и умереть, у меня больше нет сил.

— Ради меня, ради моей жизни мужайся, милая Иона! Я не могу жить без тебя. Смотри — факелы! Скорей! Ветер их не погасил. Эти люди идут к морю, мы пойдем с ними.

И, словно смилостивившись над ними, ветер упал, и пепел перестал сыпаться с неба. Стало очень тихо, гора словно решила отдохнуть, собираясь с силами для нового извержения. Факельщики быстро двигались вперед.

— Море уже близко, — спокойно сказал шедший впереди. — Я дарую свободу и богатство каждому рабу, который вместе со мною переживет этот день. Смелей! Говорю вам, сами боги обещали мне спасение. Вперед!

Красный огонь факелов ослепил глаза Главка и Ионы, которая, дрожа, прильнула к его груди. Несколько рабов несли вслед за факельщиками тяжелые ящики и сундуки, а впереди, с обнаженным мечом в руке, шел Арбак.

— Клянусь прахом моих предков, — закричал он, — судьба улыбается мне даже в этот ужасный час — среди горя и смерти она сулит мне счастье и любовь! Прочь, грек! Я требую свою воспитанницу!

— Предатель и убийца! — воскликнул Главк, сверкнув глазами. — Сама Немесида привела тебя сюда, чтобы я мог тебе отомстить! Это будет справедливая жертва теням Аида, которые вырвались на землю. Попробуй только коснуться Ионы, и твой меч превратится в тростинку. Я разорву тебя на куски!

Вдруг все вокруг залил ослепительный свет. В крошечной тьме, окружавшей ее, как стены ада, ярко сверкнула огромная огнедышащая гора. Ее вершина, казалось, раскололась надвое, или, вернее, над ней воздвиглись две чудовищные фигуры, которые накнулись друг на друга, словно демоны, борющиеся за господство над миром.

Алые, как кровь, они озарили землю и небо далеко окрест, но склоны горы были по-прежнему темными, светились лишь три потока раскаленной лавы, которые ползли вниз, извиваясь как змеи. Темно-красные, они медленно текли в своих черных берегах прямо к обреченному городу. Над самым широким из них словно простерлась огромная арка, сквозь которую, как сквозь врата ада, хлынул Флегетон. Все притихло, только грохотали камни, которые, сшибаясь, катились вниз, попадая в поток лавы; они усеивали его на миг черными точками, но, плывя по нему, растворялись в огненных волнах.

Рабы громко вскрикнули и закрыли руками лица. Сам египтянин стоял, словно пригвожденный к месту, весь залитый светом, ярко озарившим его надменное лицо и богатые одежды. Над ним, на высоком постаменте, стояла бронзовая статуя Августа, и казалось, эта статуя тоже была отлита из огня.

Обнимая левой рукой Иону, Главк правой угрожающе поднял стиль, который, к счастью, не бросил во время бегства, — с этим стилем он должен был встретить на арене льва; он стоял перед египтянином, нахмурясь, ощерив зубы, угрожая, — живое воплощение гнева и ярости.

Арбак уже не смотрел на вулкан, он устремил глаза на Главка. Мгновение он молчал.

— И отчего я колеблюсь? — пробормотал он. — Разве звезды не предсказали мне лишь одну неминуемую опасность? И разве эта опасность не позади?. Дух сильнее стихий и несуществующих богов! — продолжал он громким голосом. — Сила духа поможет мне победить! Вперед, рабы! Афинянин, защищайся, и да падет твоя кровь на твою же голову! Иона будет моей!

Он сделал шаг вперед, и это был последний его шаг на земле. Она задрожала под ним, ее судорога потрясла все вокруг. По городу прокатился грохот — это обрушилось множество крыш и колонн, и молния, словно прибитая к небу, на мгновение повисла над статуей императора. А потом статуя покачнулась и рухнула вместе с цоколем, дробя мостовую. Пророчество звезд сбылось.

На несколько мгновений грохот оглушил афинянина. Когда он опомнился, вокруг было еще светло и земля дрожала под ногами. Иона без чувств лежала рядом, но он не видел ее — глаза его были прикованы к ужасной голове без туловища, которая торчала из-под обломков рухнувшей колонны, — на лице были написаны нестерпимая мука и отчаяние. Глаза быстро моргали и, казалось, еще хранили осмысленное выражение, губы кривились, потом вдруг внезапное спокойствие и тьма легли на это ужасное лицо, которое невозможно было забыть.

Так погиб мудрый чародей, великий Арбак, Гермес, Властитель Огненного пояса, последний потомок египетских фараонов.

ГЛАВА IX

Отчаяние влюбленных. Бедствия жителей города

Главк отвернулся, смиренно благодаря богов, подхватил Иону на руки и побежал по улице, которая все еще была ярко освещена. Но вдруг снова стало темно. Главк невольно взглянул в сторону горы, и что он увидел! Одна из двух гигантских вершин закачалась, обрушилась с грохотом, который не описать никакими словами, и огненной лавиной покатила по склонам. В тот же миг небо, землю и море застлал черный дым.

Снова, снова и снова все гуще сыпались пепел и камни, причиняя разрушения. Тьма, как покрывалом, окутала город. Главк, чье смелое сердце наконец переполнилось отчаянием, укрылся под какой-то аркой и, прижимая к груди Иону, приготовился к смерти.

Тем временем Нидия тщетно искала Главка и Иону, с которыми ее разлучила толпа. Напрасно пыталась она кричать: ее жалобный крик терялся среди тысячи других голосов — всякий стремился спасти себя. Снова и снова возвращалась она на то место, где их разделили, хватала за одежды всех встречных и спрашивала про Главка, но ее грубо отталкивали, людям было не до нее. Кто в этот час думал о ближнем? Быть может, самое страшное в зрелище всеобщего ужаса — это порождаемое им чудовищное себялюбие. Наконец Нидия подумала, что вернее всего она найдет своих друзей у моря, раз они решили искать там спасения. Нащупывая дорогу палкой, с которой она никогда не расставалась, и обходя кучи обломков, загромождавших улицы, девушка безошибочно находила ближайший путь к морю, благословляя слепоту, которая всегда была ее несчастьем.

— Постой! — раздался вдруг чей-то голос. — Да ведь это храбрая слепая девушка! Клянусь Вакхом, я не брошу ее здесь на погибель. Пойдем, моя фессалийка! Ты не ранена? Прекрасно! Пошли с нами. Мы идем к морю.

— Саллюстий! Я узнаю твой голос. Благодарение богам! А где Главк? Ты не видел его?

— Нет. Он, конечно, уже за стенами города. Боги, которые спасли его от льва, спасут и от огнедышащей горы.

И, ободрив Нидию, добрый эпикуреец увлек ее за собой.

Внезапный свет, извержение лавы и землетрясение, описанные выше, произошли, когда Саллюстий со своими спутниками уже выбрался на прямую дорогу, которая вела в порт. Дальнейший путь им преградила толпа — здесь собралась чуть ли не половина населения города. Огромное поле заполнили тысячи и тысячи людей, не знавших, куда бежать. Море отхлынуло, и те, кому удалось добраться до него, испуганные неистовством этой стихии, неслыханно далеко ушедшей от берега, увидев задыхающихся рыб и неуклюжих морских животных, оставшихся на песке, и испугавшись каменных глыб, которые с плеском обрушивались в воду, повернули назад, выбрав из двух зол меньшее. Так встретились два людских потока: один катился к морю, другой — от моря; и, чувствуя себя уверенней все вместе, они остановились в сомнениях.

— Миру суждено погибнуть от огня, — сказал один старик в длинных свободных одеждах, который был философом-стоиком. — Мудрость стоиков и эпикурейцев предсказала это, и вот час настал!

— Да, час настал! — подхватил чей-то громкий голос печально, но без страха.

Все в ужасе начали озираться. Голос доносился откуда-то сверху. Это был Олинф. Окруженный другими христианами, он стоял на крутом холме, где греческие колонисты воздвигли некогда храм Аполлона, ныне обветшавший и полуразрушенный.

В этот миг вспыхнуло сияние, возвестившее о гибели Арбака, люди съежились, дрогнули, затрепетали — никогда еще не видел мир таких страдальческих лиц, такой печали, испуга и благоговейного ужаса в толпе смертных, и никогда не увидит, пока не прозвучит трубный глас. Над толпой возвышался Олинф, простирая руки, с лицом пророка, озаренный дрожащими огнями. И люди узнали его, того, кто был обречен на растерзание, — недавняя жертва, он теперь предостерегал их, и в тишине снова прозвучал его зловещий голос:

— Час настал!

Христиане подхватили этот крик. И он пронесся по толпе из конца в конец, мужчины и женщины, старики и дети тихо повторяли:

— Час настал!

Вдруг раздался дикий рев, и обезумевший тигр, который мчался сам не зная куда, прыгнул прямо в толпу. Люди обратились в бегство. Тем временем началось землетрясение, и все снова погрузилось в мрак.

Толпа прибывала. Схватив сокровища, уже не принадлежавшие их господину, рабы Арбака присоединились к остальным. Теперь у них горел только один факел, который нес Сосий. Свет упал на лицо Нидии, и раб узнал ее.

— Ну что, слепая, много ли мне теперь толку от свободы? — сказал он.

— Кто ты? Не видел ли ты Главка?

— Видел несколько минут назад.

— Да благословят тебя боги! Где же он?

— Лежит под аркой на форуме, мертвый или умирающий. Отправился вслед за Арбаком, которого уже нет на свете.

Нидия, не сказав больше ни слова, проскользнула мимо Саллюстия, пробилась сквозь толпу и пошла назад, в город. Она добралась до арки на форуме, нагнулась, шаря руками по земле, и позвала Главка.

Ей ответил слабый голос:

— Кто зовет меня? Тени Аида? Что ж, я готов!

— Встань! Вот моя рука! Пойдем, Главк, я тебя спасу.

Удивленный, Главк встал, и в душе его снова затеплилась надежда.

— Нидия! Ты жива?

Радость, прозвучавшая в его голосе, ободрила бедную девушку, — значит, он не забыл о ней!

Подхватив на руки Иону, Главк последовал за Нидией. Она с удивительной предусмотрительностью избегала улиц, которые были запружены толпой, и шла к морю

другой дорогой.

Много раз приходилось им останавливаться, и лишь с огромным трудом добрались они до моря, где присоединились к кучке смельчаков, которые решились лучше лицом к лицу встретить любую опасность, чем оставаться и дальше в ужасной неизвестности. Они отчалили в полной темноте и, когда отплыли подальше, увидели огненные потоки, отбрасывавшие на воду красные блики.

Иона, вконец обессилевшая, уснула, склонив голову на грудь Главку, а Нидия легла у его ног. Пепел, все еще взлетающий к небу падал на воду и, словно снег, покрывал палубу. Ветер разносил его над морем; он выпадал в далеких странах, удивляя чернокожих африканцев, и ветер развеивал его по древним землям Сирии и Египта.

ГЛАВА X

На другое утро. Судьба Нидии

Кроткая, тихая и прекрасная взошла наконец заря над трепещущим морем. Ветер улегся, пена исчезла со сверкавшей синевой глади. На востоке редкая мгла порозовела, возвещая утро. Свет готовился вновь обрести власть над миром. Но вдали, темные и зловещие, висели клочья ужасного облака, и из них еще вылетали, постепенно тускнея, красные полосы — последние молнии огнедышащей горы. Белые дома и красивые, светлые колоннады, украшавшие берега, исчезли. Берег, где еще недавно стояли города Геркуланум и Помпеи, был теперь мрачным и пустынным. Дети голубой стихии погибли, вырванные из ее объятий. Век за веком будет их могучая мать протягивать свои голубые руки и, не находя детей своих, стонать над их могилами.

Когда взошла заря, мореплаватели не приветствовали ее криками — она занялась незаметно, а они были слишком измучены, чтобы бурно изъявлять радость, и по палубе прокатился лишь тихий благодарный шепот. Все посмотрели друг на друга с улыбкой, все воспрянули духом, снова почувствовали, что есть земля вокруг и небо над головой. И, уверившись, что самое страшное позади, измученные люди заснули крепким сном. Под светлеющим небом после бурной ночи воцарилась тишина. Судно тихо плыло к порту. Вдали виднелось еще несколько судов, которые казались недвижимыми, но тоже скользили вперед. Их стройные мачты и белые паруса рассеивали чувство одиночества, вселяя в сердце надежду и спокойствие. Но скольких друзей недосчитался каждый, кого они несли теперь к берегу, навстречу спасению!

Когда все заснули, Нидия тихо встала. Она склонилась над Главком, ощутила на своем лице его ровное сонное дыхание, робко и печально поцеловала его в лоб, в губы; нашла его руку, которая сжимала руку Ионы, глубоко вздохнула, и лицо ее омрачилось. Она снова поцеловала его в лоб и своими мягкими волосами стерла с его лица ночную росу.

— Да благословят тебя боги! — прошептала она. — Будь счастлив со своей любимой. Вспоминай иногда Нидию. Увы! Ей больше нечего делать на земле!

С этими словами она отвернулась. Неслышно пройдя вдоль скамей для гребцов на корму, она остановилась там, склонившись над водой; холодные брызги окропляли ее горящее лицо.

— Это поцелуй смерти, — сказала она. — Привет тебе!

Благоуханный ветерок играл ее длинными волосами, она откинула их с лица и подняла нежные, но незрячие глаза к небу, чей ласковый лик она никогда не видела.

— Нет, нет! — сказала она вполголоса, задумчиво. — Я не могу этого вынести: эта ревнивая иссушающая любовь сводит меня с ума. А вдруг я снова причиню ему зло! Я спасла его, спасла дважды, эта мысль делает меня счастливой, — отчего же мне не умереть счастливой? Это последняя радостная мысль, которая мне суждена. О священное море! Я слышу твой ласковый зов. Говорят, что твои объятия губительны для души, что твои жертвы не переплывут рокового Стикса, — да будет так! Я не хочу встретиться с ним в царстве

теней, потому что и там он будет с нею. Покой, покой! Для моего сердца нет иного блаженства.

Моряк, дремавший на палубе, услышал легкий всплеск. Он сонно поднял голову, поглядел за корму, и ему почудилось в волнах что-то белое, но в тот же миг все исчезло. Он отвернулся и стал думать о своем доме и детях.

Когда Главк и Иона проснулись, первая их мысль была друг о друге, а вторая — о Нидии. Но ее нигде не было, и никто не видел ее в то утро. Они обшарили все судно и не нашли никаких следов. Слепая девушка исчезла навсегда. Все молча раздумывали о ее судьбе. И Главк с Ионой, прижавшись друг к другу (ведь они были друг для друга дороже всего на свете) и забыв о себе, оплакивали ее, как сестру.

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА,

которой все кончается. Письмо от Главка Саллюстию через десять лет после разрушения Помпеи

Афины.

Главк шлет своему дорогому другу Саллюстию привет и пожелания здоровья!

Ты зовешь меня в Рим — нет, Саллюстий, лучше ты приезжай сюда, в Афины. Я отказался от столицы империи, от ее шума и суетных радостей. До конца своих дней я буду жить на родине. Призрак нашего бывшего величия мне дороже, чем вся ваша роскошь и веселье. Для меня есть неповторимая прелесть в портиках, освященных памятью славных и почитаемых людей. В оливковых рощах на берегах Иласса я еще слышу голос поэзии, а сумрачные облака над Филой кажутся мне саваном погибшей свободы и вестником — да, вестником — грядущего! Ты улыбаешься моим восторгам, Саллюстий! Но лучше сохранять надежду на свободу, чем радоваться блеску цепей. Ты пишешь, что, на твой взгляд, нельзя наслаждаться жизнью на руинах падшего величия. Ты с восторгом говоришь о блеске Рима, о роскоши императорского двора. Милый Саллюстий, я уже не тот, что прежде. Жизнь охладила мою кровь. Мое здоровье, подорванное тяжелой болезнью и заточением в сырой темнице, все еще не восстановилось. Я не могу забыть мрак последнего дня Помпеи, ужас, отчаяние и нашу любимую, незабвенную Нидию! Я воздвиг гробницу ее тени и часто смотрю на нее из окна. Она будит во мне нежные воспоминания и радостную грусть, и я отдаю заслуженную дань верности и безвременной смерти бедной слепой девушки. Иона собирает цветы, и я каждый день украшаю ими гробницу. Она достойна гробницы в Афинах...

Иона — сердце мое бьется сильнее при этом имени — сидит сейчас рядом со мной. Я поднимаю глаза, и она мне улыбается. Солнце освещает склоны Гиметта, в саду гудят пчелы. Ты спрашиваешь, счастлив ли я. Что может дать мне Рим по сравнению с тем, что есть у меня в Афинах? Здесь все пробуждает душу и рождает любовь. Деревья, вода, горы, небо — все здесь афинское! Этот город прекрасен, хоть и печален, он — мать поэзии и мудрости мира. У меня в атриум стоят мраморные статуи моих предков. В Керамике я вижу их могилы. На улицах перед моими глазами труды рук Фидия и гения Перикла. Гармодий, Аристоклитон бессмертны в наших сердцах или, по крайней мере, в моем. Только одно может заставить меня забыть, что я, афинянин, не свободен, — это нежная, живая, неугасимая любовь Ионы, любовь, которую ни один из наших поэтов, как ни прекрасны их стихи, не сумел по-настоящему воспеть... Такова, Саллюстий, моя жизнь. Я радуюсь ей и коротаю свой век. Ну, а ты, веселый и добрый последователь Эпикура? Приезжай сюда, и ты увидишь, как мы наслаждаемся, какими надеждами живем, и ни блеск придворных пиров, ни шумный, переполненный цирк, ни людный форум, ни сверкающий театр, ни великолепные сады, ни роскошные термы Рима уже не дадут тебе житейского и безмятежного счастья, составляющего участь афинянина Главка, о которой ты так

напрасно сожалеешь. Прощай!

Почти семнадцать столетий пролежали под пеплом Помпеи, прежде чем были извлечены из своей немой могилы; их стены словно только вчера выкрашены, красивые мозаичные полы ничуть не поблекли, на форуме еще стоят недостроенные колонны, так, как их оставили мастера, в садах сохранились жертвенные треножники, в залах — сундуки для драгоценностей, в банях — щетки, в театрах — хитроумные устройства при входе, в атриях — мебель и светильники, в триклиниях — остатки последнего пира, в спальнях — благовония и румяна давно истлевших красавиц, и всюду — кости и скелеты людей, когда-то приводивших в движение этот небольшой, но блестящий механизм роскоши и самой жизни.

В глубоких подвалах дома Диомеда возле двери были найдены двадцать скелетов, в том числе один детский, засыпанный мелким пеплом, который ветер, видимо, постепенно заносил сквозь щели, пока не завалил все подземелье. Там же оказались драгоценности, монеты, светильники, вино, которое могло лишь продлить предсмертные муки и засохло в амфорах. Мокрый пепел, затвердев, принял форму человеческих фигур; до сих пор можно увидеть отпечаток женской шеи и юной округлой груди — это все, что осталось от красавицы Юлии. Вероятно, воздух постепенно отравляли сернистые испарения; все бросились к двери подвала, но она была завалена снаружи пеплом, и, не в силах открыть ее, люди задохнулись.

В саду нашли скелет, костлявая рука которого сжимала ключ, а рядом — сумку с монетами. Предполагают, что это хозяин дома, злополучный Диомед, который, возможно, пытался спастись через сад и либо задохнулся, либо был убит осколком камня. Тут же лежали серебряные сосуды и другой скелет, вероятно раба.

Дома Саллюстия и Пансы, так же как и храм Исиды с его статуями, в которых спрятаны хитроумные приспособления для вещания священных оракулов, теперь открыты любознательному взгляду. В одной из пристроек нашли огромный скелет, а рядом с ним — топор; две стены были прорублены, но выбраться наружу жертве так и не удалось. Посреди города нашли другой скелет, а рядом с ним — кучу монет и множество священных украшений из храма Исиды. Смерть настигла жадного вора, и Кален умер одновременно с Бурдоном. Когда были расчищены горы обломков, на одной из улиц нашли скелет человека, буквально расколотый надвое упавшей статуей; череп его имел удивительную форму и был отмечен печатью злобного и гибкого ума. Прошло много столетий, но и теперь еще можно видеть просторный дом, в причудливых галереях и великолепных покоях которого когда-то жил, мечтал и творил зло египтянин Арбак.

Глядя на все эти реликвии общественного строя, который навеки исчез с лица земли, пришелец с того далекого варварского острова, при имени которого римляне содрогались, здесь, среди красот дивной Кампании, написал эту книгу.